

Памяти
Л. Э. Разгона



Лев Эммануилович РАЗГОН
(1908–1999) – писатель, публицист, литературный критик, многолетний узник сталинских лагерей.

Имя Льва Разгона стало известно стране в годы перестройки, когда увидела свет его книга «Непридуманное» – одна из вершин лагерной мемуаристики.

В последние десятилетия своей жизни Лев Разгон много времени и сил отдавал общественной работе – был членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ, стоял у истоков создания Общества «Мемориал» и, несмотря на преклонный возраст, самым активным образом участвовал в «мемориальной» работе.

На похоронах Льва Эммануиловича мы решили, что книга, составленная из его текстов и из воспоминаний знавших и любивших его людей, – это тот минимальный долг, который «Мемориал» обязан отдать его памяти.

Правление Общества
«Мемориал»

ПЛЕННИК ЭПОХИ

ПЛЕННИК ЭПОХИ

Памяти
Л. Э. Разгона

ПЛЕННИК ЭПОХИ



«ЗВЕНЬЯ»
МОСКВА
2002

**ББК 83.3(2Рос=Рус)6
ПЗ8**

Составитель М. М. Кораллов

Издательская программа Общества «Мемориал»

Редакционная коллегия:

**А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова,
Т.И.Касаткина, М.М.Кораллов, Н.Г.Охотин,
Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский (председатель)**

**Издание осуществлено при поддержке Ассоциации
«Дорога свободы»**

**Редакция приносит благодарность за помощь в подготовке
издания сотрудников Общества «Мемориал»
А.Ю.Даниэлю и Н.А.Малыхиной**

ISBN 5-7870-0056-0

**© Общество «Мемориал», 2002
© М.М.Кораллов, составление,
вступительная статья, 2002
© Д.А.Сенчагов, оформление, 2002**

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вступив в третье тысячелетие, отчетливо сознаешь, что поколения лагерников предвоенных наборов исчерпаны до конца. Вроде бы вчера на Ваганьковском хоронили Анастасию Цветаеву. Вслед за ней на Троекуровском – Олега Волкова. В Санкт-Петербурге – Дмитрия Лихачева. Теперь на Востряковском, рядом с женою, тоже старой эчкой, покоится Лев Эммануилович Разгон. Один из патриархов, осиливших трагическое столетие.

В дни прощания казалось, что составить сборник и включить его в серию «мемориальных» изданий особого труда не составит. Первая наша встреча выпадает на осень 1955-го, на девятый вал нежданного «реабилитанса»; место встречи – квартира (само собой, коммунальная) Евгения Гнедина в Петроверигском переулке, рядом с «Историчкой». Солагерник Разгона, узник Сухановской тюрьмы, а до Лубянки и Сухановки заведующий отделом печати в литвиновском МИДе, Евгений Гнедин обрел московскую свободу одновременно с нами, с десятками из миллионов, сложивших кости в ГУЛАГе. Значит, жизнь Разгона на протяжении почти полувека перед глазами – и для сборника нет преград? Как бы не так.

Первая осечка случилась в РГАЛИ – в Российском государственном архиве литературы и искусства. Незадолго до смерти Разгон сдал туда ящики рукописей, корреспонденцию. По характеру своего дарования и мотивам цензурным писатель, как и многие из его собратьев по цеху, чувствовал себя в эпистолярном жанре раскованней, чем в текстах, предназначенных для печати. Но ящики с архивом Разгона по сей день не разобраны, и когда до них дойдет очередь – дело темное. Сотрудников в РГАЛИ недостает, зарплата жалкая. А до того счастливого часа, когда архив проведет научную обработку, материалы его

не подлежат публикации. Так что первоначальный замысел книги пришлось круто менять.

Вторая осечка – в Бутырках. Года за два до смерти Разгон подарил родному узилищу часть библиотеки. Возможно – с пометками на полях прочитанного. Добросовестному биографу не грех бы и полистать, если только бдительный цензор не углядел в пометках крамолы. Однако многие книги находятся на руках. И тащиться в Бутырки добровольно? Ходить по инстанциям да хлопотать о санкциях? Слуга покорный.

В третьей – и самой неожиданной – осечке повинны мемуаристы. Среди обширнейшего круга знакомых Разгона сколько угодно умеющих держать перышко. И, на мой взгляд, обязанных почтить память усопшего... Обещания давали все, кому дозволился. Но одно дело – широко известный Разгон, который бывал интересен, приятен, полезен, и совсем другое – ушедший в небытие. Быстрое забвение стало у нас законом.

Признаюсь, иным звонил повторно, и в третий, а кому-то в четвертый раз. Но – в пятый? Разгон бы тоже не вымалывал подаяния.

Так вот, академически подготовленный сборник – дело историков литературы, редко склонных спешить. Дело будущего, боюсь, весьма отдаленного. А наша посильная задача скромна: наметить контуры личности, обозначить – пунктиром – жизненный путь писателя.

Осенью 2000 года Рада Полищук издала небольшую книжку – «С Разгоном о Разгоне. Беседы, раздумья, воспоминания». Книжка подошла к первой годовщине смерти, что, естественно, наложило на нее особую печать. Выход книги в Минске, в Белоруссии, – факт отчаянный. Разгон вовсе не был избалован московскими изданиями. Запад проявлял к писателю больше внимания, чем отечество, слишком быстро уставшее перелистывать трагические страницы своего прошлого.

Знакомство Рады Полищук с героем книги состоялось за восемь лет до его смерти, когда над Разгоном и патриархами ГУЛАГа уже проглядывал ореол мучеников. Поздняя встреча оказалась в некотором смысле и к лучшему: собеседница знакомилась с итогами осознанного опыта. Ее отношение к Учителю, к Мудрецу коленопреклоненно.

Есть ли грех в том, что мужской взгляд построже?

При знакомстве много лет назад у Евгения Гнедина Разгон предстал передо мной вовсе не как высший авторитет. Его родство с Глебом Бокием, определившее до ареста круг общения, его дружба с Андреем Свердловым, учинявшим безжалостные допросы Анне Лари-

ной (Бухариной), в ту пору ореола вокруг Разгона не создавали. Кроме того, люди, отбывавшие полный срок не в конторе нормировщика, а по бурам и карцерам, по закрыткам и штрафнякам, в памяти моего сердца занимали больше места. Да и московский дебют Разгона после возвращения не мог не обрести конформистской окраски: реабилитация предполагала восстановление в партии, что давало пропуск к штатным должностям, торило дорогу к вступлению в Союз писателей, облегчало получение литературных заказов.

Но ведь подобное можно сказать почти о каждом из той плеяды «старых могикиан» ГУЛАГа, что не только сами по себе, но и своими мемуарами, повестями, рассказами, ходившими в списках и тайком передававшимися из рук в руки (а чуть позже возвращавшимися на родину под глянцевыми обложками зарубежных изданий), определяли в 1960–1980-е годы для читающей и думающей Москвы образ ушедшего Архипелага.

Долагерное прошлое? Близость с революционной братией, превратившейся в сталинскую элиту (перемолотую, впрочем, самим же Сталиным)? Непосредственная причастность к этой элите? Лагерная карьера «придурка»? Осмотрительность, которую Разгон проявлял, делая первые глотки московской свободы?

Кому бросать камни в зятя Бокия? Советскому журналисту и номенклатурному дипломату 1930-х годов Евгению Александровичу Гнедину, чей отец, А.Л.Парвус, играл видную роль в первой русской революции и, как считают многие, финансировал большевистский переворот? Евгении Семеновне Гинзбург, в 1930-е – молодой жене казанского мэра и члена ЦК державной компартии Павла Аксенова? «Мишке» – Вильгельмине Германовне Славуцкой, чей муж, крупный немецкий коммунист Курт Мюллер, перед арестом состоял кандидатом в члены Исполкома Коминтерна? Антону Владимировичу Антонову-Овсеенко, железному сыну железного прокурора? Этот, впрочем, как раз не упустил своего шанса запустить булжжик – скорее всего, из-за тесной дружбы Разгона с ненавидимым Антоном Владимировичем «Мемориалом».

Карьера нормировщика? Бывали, конечно, такие зэки, которые принципиально отказывались от «придурочных» должностей, принципиально оставались на общих работах. Честь им и хвала. Но хвала и Разгону, который с помощью Великой Туфты, липовых сведений, подаваемых «наверх», умно и упорно спасал голодных рабов ГУЛАГа от перевода на штрафную пайку, от безумия системы, разработанной для добывания труженников.

Опытный зэк, даже отрубивший, в отличие от члена труппы арестантско-вольного театра в Абези Антонова-Овсеенко, на «общих» от звонка до звонка, не клеймит априори каждого «придурка», а тщательно взвешивает: когда и где он сидел, как сидел, чем оплачивал блатное местечко в хлебозерке, санчасти, самодеятельности.

То же относится к возвращенному и принятому партбилету... Кого во второй половине 1950-х годов хватило на то, чтобы с презрением отвергнуть так называемую партийную реабилитацию? Быть может, литераторов Льва Копелева или Евгению Гинзбург (положим, это два разных случая: тезка Льва Разгона в то время еще искренне верил в «марксизм-ленинизм», а Евгения Семеновна еще в лагере до конца излечилась от большевизма и даже тайно перешла в католичество)? Понадобились десятилетия и издание (с предисловием Сахарова) в Амстердаме тюремно-лагерных мемуаров Гнедина «Катастрофа и второе рождение», чтобы сын заклеянного ренегата Парвуса отказался от своего партбилета.

А тогда, сразу после лагерных сроков, сделать подобный эффектный жест было куда как не просто. Тем более, что партийная реабилитация рассматривалась всеми (ну, почти всеми) как естественное продолжение реабилитации юридической: повинная партия возвращает прокаженным равноправие. Само чудо реабилитации показывало: перемены возможны в рамках системы. И согласие на восстановление в КПСС не объяснялось лишь осторожно-шкурными соображениями, – оно приоткрывало бывшим зэкам двери в те запретные сферы, где они могли теперь осуществляться как полноправные личности.

Лев Разгон не делал карьеру для того, чтобы восстановить свое положение в обойме, на сей раз литературно-публицистической. Он просто работал в литературе. Нет, пожалуй, «просто работал» – выражение неподходящее.

Передо мною перечень публикаций Разгона, по доброте души показанный сотрудниками РГАЛИ. Листая его, я убеждался, что на пороге шестидесятых и в более поздние годы знал лишь надводную часть айсберга. Семь восьмых оставались под водой. Истовый труженик, Разгон не позволял себе перекуров. Об этом свидетельствуют не только его статьи, брошюры, предисловия, рецензии, но и творческие заявки, трудовые соглашения, выписки из постановлений секретариата Союза писателей, блокноты с набросками, машинописные копии рукописей с исправлениями, добавлениями.

Не буду какой-либо частью многостраничной рукописи отяжелять предисловие, коль скоро сами тексты остаются недоступными

и надежда разве что на будущих диссертантов. Не исключаю, что у них когда-нибудь найдется время, чтобы оценить, к примеру, статью «Волшебство популяризатора», очерки об академиках Ферсмани, Тимирязеве, об историческом романисте Яне, о писателях Дубове и Коринце, а также многочисленные рецензии – на книги Б.Агапова, А.Аграновского, В.Бианки, Л.Кассиля, Л.Квитко, Н.Носова, А.Рубакина, А.Шарова...

Если бы сегодня отыскался энтузиаст, которому предоставили возможность дельно прокомментировать и выпустить в свет переписку Разгона с Александрой Бруштейн, Марком Галлаем, Василием Гроссманом, Евгением Шварцем, Борисом Слуцким, Иммануилом Казакевичем, Виктором Некрасовым, Самуилом Маршаком, Юрием Болдыревым, Леонидом Лиходеевым, Ефимом Эткиндо, Лидией Чуковской... то, полагаю, книга завоевала бы успех.

Впрочем, сколь откровенной ни показалась бы такая книга читателю, он, проницательный, вряд ли избавился бы от подозрения, что старый зек в письмах своих не «раскалывался» до конца. Уроки пройденных «за колючкой» университетов добросовестные ученики не забывали, а насчет тайны переписки даже в эпоху гласности Разгон едва ли заблуждался. Между тем время стремительно и жадно. Избалованное, оно уже требует не только правды, но непременно *всей* правды. А вот накось, сердечное, выкуси.

Начитавшись мемуаристов, без зазрения совести излагающих свои разговоры с «друзьями» так, будто они, разговоры эти, велись под стенограмму и стенограмма, спустя полвека, сохранилась, я предпочитаю воспоминания без устных цитат, без приписок.

Так вот, крупных, принципиальных, идейных расхождений между нами припомнить не могу. Да и о чем могла идти полемика? О том, что развенчание культа личности, сначала робкое, но открывшее путь на волю миллионам, явилось одновременно важнейшим шагом к спасению экономически, политически задыхавшейся в сталинских тисках России? Где же тут предмет для полемики? Аксиома. Не могло возникнуть разногласий и в том, что, оставаясь сталинистом по хватке-ухватке, Хрущев вел жесткую борьбу с Молотовым, Маленковым, Кагановичем и примкнувшим к ним Шепиловым. Что сумел наломать дров в искусстве, в реформе армии, в сельском хозяйстве, доведя его до тотальной кукурузы.

После восшествия на трон Брежнева и начавшихся упорных, однако оглядчивых попыток отбелить Сталина антикультовая позиция Льва Разгона – так же, как большинства людей, мыслящих и по-

мнящих про «великие переломы», – стала цементироваться. Обретать новую жесткость – вместе с тревогой и гневом.

Дойдя до публицистических и мемуарных страниц сборника, внимательный читатель, очевидно, заметит, с каким постоянством возникает на них сакраментальная дата – 5 марта. Настойчиво, упорно, боюсь сказать, декларативно, обещает Разгон приятелям: не пропущу 5 марта. И опять заявляет: 5-го напьюсь обязательно.

Как правило, мартовские встречи устраивались на Профсоюзной у вышеупомянутой Мишки, солагерницы Разгона, которую другой эзк – Наум Славуцкий, начинавший свой срок еще в СЛОНе (в Соловецких лагерях особого назначения), – спас когда-то от общих работ: вырастил как нормировщика. На Профсоюзной проверялось на всхожесть лагерное ядро Разгона. Пусть не ядро, а зернышко, в морозоустойчивость которого на первых порах не каждый верил. Постепенно не веривших становилось меньше, потому что зернышко проросло. Зернышко наливалось и осенью и зимой в поездках по стране, в командировках от Союза писателей, различных журналов. Зернышко потому давало всходы, что, куда бы Разгона ни заносило попутным ветром, «пепел Клааса» стучал ему в грудь.

Из творческого подполья Лев Разгон вышел, когда в «Огоньке» появился его рассказ «Жена президента». Счастливый тот денек впору назвать главным днем рождения. Потом – интервью, рассказы, книги, отклики на злобу дня – в «Известиях», «Московских новостях», «Литературной газете», «Новом времени», «Юности», в периодике закордонной...

И все же 5 марта – главное главного. Появление Разгона на свет божий 1 апреля – факт биографии, событие семейное, а 5 марта – дата судьбы народной. Символ Жизни.

Фатально сужавшийся круг бывших эзков, которые в этот день поднимали на Профсоюзной стаканы, чтобы сделать глоток свободы, оставался для всех нас почвой под ногами, точкой опоры. Без этой точки опоры и воззрения Разгона куда труднее складывались бы в систему, определяющую достоинства его лагерной прозы.

Наивно и неверно было бы приписывать «системе» Разгона и воззрениям прослойки бывших сидельцев целостность и безупречную стройность. «Проклятых вопросов» хватало по горло. И они хватали за горло. Отличие старичья, которое выжило, продержавшись десятки лет на солдатско-тюремном вареве, от молодых да ранних, вкушающих разносолы последнего времени, пожалуй, в том, что старичье реже страдало безнадегой. Мысли не допускало, что от «проклятых»

можно уйти в побег. Убраться куда-нибудь за кордон. Старичье твердо знало, что по доброй воле «проклятые» с повестки дня не сходят. Еще питало надежду, что в силах решать их. Видело, что они обостряются на всех широтах.

Мемуаристы сборника пишут, как правило, о позднем Разгоне. Пишут юбилейно, когда отмечают его переход в девятый десяток. Или скорбно, откликаясь на недавний уход в мир иной. Исключая Даниила Данина, который был на пятилетку моложе близкого друга, остальные – Марк Розовский, Анатолий Приставкин, например, – попросту молодняк, несмотря на тяжелейший груз пережитого. Разгон пронес на своих плечах не одну эпоху. Но есть справедливость в том, что взгляд мемуаристов прикован именно к последней. История выбирает из булки изюминки. Разгон знал эту сермяжную правду веков, стался не спасовать.

Во вторник любые недомогания отменялись: заседала Комиссия при Президенте Российской Федерации, созданная, чтобы миловать, чтобы спасти приговоренных – от судебной жестокости, от преступных для правосудия, однако же частых и нередко сознательных искажений истины. В Комиссии, возглавляемой Анатолием Приставкиным, Разгон исполнял не взваленную на него общественную обязанность, а долг бывшего эка, гражданскую миссию.

Никогда не соглашался он со смертными приговорами – даже если спор шел о чудовищном Чикатило. Бывший зять Глеба Бокия и в тот раз скорбел, что не дано ему права вето.

В защиту максималистской своей позиции Разгон выдвигал весомые аргументы. Главный из них – карателей, не покаявшихся в содеянном, надо лишать оружия, которым они впредь продолжают издавна, с древних времен полюбившиеся им игры.

Аргумент серьезен, но, на мой взгляд, утопичен. Неукоснительно следуя заповеди «не убий», человек не подставляет левую щеку после удара по правой, – он отказывается от защиты собственной жизни, семьи, рода, общины.

Так что же, Разгон – прекраснодушный романтик, не замечавший очередного кризиса иллюзий, а на взгляд обессилевших – окончательного краха, полного банкротства Страны Советов, расколовшейся в Беловежской пуще, как чашка, выпавшая из пьяных рук? СоцUTOпист? Нет, Разгон не был утопистом, прекраснодушным романтиком. Но его отталкивала пошлость разочарованных, не знавших очарования. Пошлости он предпочел стоицизм, похоже, окрашенный глубоким трагизмом.

В душе старого зэка не зарастал след от Карабаха, Чечни, афганского пепелища, от лишенных тепла и света Чукотки, Приморья, от голодных, без зарплаты, учителей, от остающихся без крыши и надежды беженцев, долго еще обреченных скитаться, как Вечный жид, от безудержно разгулявшихся наркомании, СПИДа, туберкулеза, от того, что и сегодня в застенках погибают больше миллиона зэков, через следственное сито ежегодно проходят два миллиона, а каждая пятая особь мужского пола имеет в Российской Федерации тюремный опыт...

В скрежете столетия Разгон явственно различал эхо 37-го года и хрипловатый голос «Великого Учителя». Темнел при мысли, что ГУЛАГу помереть у нас не дано, что корни сталинизма уходят в глубь истории – к Ивану Грозному, Чингисхану, к Византии. Что они способны опять и олять давать всходы. Что под собачий лай и окрики конвоя старым зэкам, разбитым на пятерки, построенным в колонну, – Варламу Шаламову, Александру Солженицыну, Олегу Волкову, Юрию Домбровскому, Евгении Гинзбург, Анатолию Жигулину и ему, Льву Разгону, – и после смерти шагать и шагать по столбовой дороге российской прозы, по пыльным шляхам и бетонным шоссе прозы всемирной.

Марлен Кораллов

Лев Разгон

вспоминает

и размышляет

«ПЛЕН В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»

ПЕРЕД РАСКРЫТЫМИ ДЕЛАМИ...

...И вот я держу ее в руках. Эту тоненькую коричневую папочку. Ту самую. На ней еще остался бледный след от чернильницы, которую опрокинул, ударив кулаком по столу, мой следователь. Теперь я знаю, как его звали, – Лобанов была его фамилия. Сколько же прошло времени? Дай посчитаю: 52 года и 7 месяцев. Мог ли я думать тогда, когда Лобанов не спеша обминал эту новенькую коричневую папочку, что более чем через полвека я не только еще буду жив, но и с замирающим сердцем буду перебирать несколько бумаг, в ней находящихся?.. В этих бумажках жизнь моя, Оксаны, Елены – всех нас троих, исчезнувших с этого света в ночь на 18 апреля 1938 года. А вот и протокол моего, судя по делу, единственного допроса – 25 апреля. Значит, между арестом и этим допросом прошла целая неделя. Неделя, когда я еще жил мыслями о доме и верил, что дом этот существует.

А как она началась, эта неделя? Когда я кинулся к входной двери на пронзительный звонок в ночи, я уже знал, что это за звонок, я знал, что это за мной. Это был второй такой звонок в огромной многонаселенной квартире трехэтажного дома на углу Гранатного переулка. В этом доме – теперь чистеньком и приглаженном – помещается какое-то экзотическое посольство, кажется, Ганы, и до сих пор я не могу спокойно пройти мимо него, не посмотрев на те крайние окна, за которыми мы жили.

Тогда, когда раздался первый ночной звонок, голубые фуражки пришли не за мной, а за старым и тихим артистом давно уже не существующего театра «Семперанте». И, запершись

в своей комнате, мы прислушивались к топоту ног в коридоре, к негромким голосам, к последним шагам к выходной двери, слушали, как она открылась и захлопнулась... Ну а теперь, открыв дверь и увидев фуражки с голубым верхом и парочку красноармейцев с винтовками, я уже знал – это наша судьба... Фамилия, имя, отчество, дайте паспорт! – Вот вам все: и паспорт, и имя, и фамилия, и весь я. Уже не как хозяин, а временный, гость, приткнувшись на краешек стула, сижу и смотрю, как вытаскиваются из ящиков белье, как потрошат книжные полки. И думаю: а что на них есть криминального? Чудом сохранившийся номер «Нового мира» с повестью Пильняка «Повесть непогашенной луны»; зарубежное издание воспоминаний Шалапина «Маска и душа»... Но мои размышления прерывает радостный крик одного из «оперативников»:

– Товарищ начальник! Антисоветская книга: Покровский. «Мировая война»!

Начальник осторожно берет в руки найденную преступную книгу. Ну, да – ведь сейчас во всех газетах идет безудержная поносная ругань «Школки Покровского»... Начальник думает, начальник размышляет... Я не выдерживаю:

– Вы сегодня проходили по Моховой?

– Да, проходил. А что?

– На университетскую вывеску не обращали внимания?

– А что на ней?

– На ней написано «Московский государственный университет имени М.Н.Покровского».

Это был мой первый тюремно-лагерный урок: никогда не вступать в спор с начальством, а главное – никогда не поправлять его... Ответ был немедленный:

– Собирайтесь!

Оксана бросает маленькую Наташку, она лихорадочно начинает меня собирать. Нет, не лихорадочно. На улице теплая апрельская ночь, но она достает самый теплый и новый свитер, она собирает белье, укладывает пижаму, домашние туфли, еще какие-то мелочи...

– Ну, хватит! Ненадолго же едем, подержат немного и выпустят!

Но она все хлопочет, все цепляется и, уже после того как я со всеми попрощался, выбегает за мной на лестничную площадку. И по тому, как она отрывается от меня, вдруг понимаю:

она не верит, что мы когда-нибудь увидимся... Так и не увиделись больше. Попрощались навсегда.

Но я еще не способен был это понять, мои мысли все еще дома. И когда меня выводят из подъезда, ведут к «эмке», стоящей немного поодаль, меня тревожит мысль: а вдруг они запечатают одну из двух наших комнат и всем придется ютиться в первой, маленькой... Меня везет сам начальник «операции», и я обращаюсь к нему:

– Я вас очень прошу: ребенок болен, не запирайте второй комнаты.

– Да не беспокойтесь вы! Вторую комнату опечатывать не будем. Все останется по-прежнему, даю вам честное слово!

Это был первый случай, когда узнал цену «честного слова» чекиста. Он отвез меня, вернулся назад, забрал и отвез Елену, а затем еще раз вернулся и забрал Оксану... Остался еще один член семьи. Но ей был один год и три месяца, и ей предстояла не «внутренняя», не Бутырка, а тюремный «Дом младенца». Но и этого Наташа избежала. Оксана, когда за ней приехали, сказала, что не выйдет из комнаты, пока не приедет моя мать и не заберет ребенка, и что она будет бить стекла, кричать на всю улицу, драться, но без этого не пойдет никуда. И решимость этой беззащитной, двадцатидвухлетней больной женщины была столь очевидна, а устраивать скандал в глухую ночь на центральной улице оперативникам не хотелось, что, сбегав куда надо, позвонив куда надо, они вызвали по телефону маму, и она забрала у Оксаны дочь. Тоже навсегда.

А комнату запечатали. И не одну, а две. И, как я выяснил из протокола, лежащего в старой коричневой папочке, было в этих двух комнатах 29 квадратных метров. Но тогда я еще ничего этого не знал. И думал об оставшихся, пока меня ночной Москвой везли к знакомому проклятому дому и пока меня обрабатывали: обыскивали, срезали шнурки и пуговицы, фотографировали, снимали отпечатки пальцев... А потом повели по коридорам и закоулкам, подвели к двери с тюремным глазком. Со звоном, навсегда оставшимся в памяти, открылась дверь, и я с трудом протиснулся через маленькую, из нескольких человек, толпу. В камере – натертые паркетные полы, стоят в ряд четыре железные койки, покрытые серыми, специфически арестантскими одеялами. Лишь на одной лежит, закинув руки за голову, обросший рыжей щетиной еще молодой человек.

Остальные койки свободны, хотя у двери толпится человек пять-шесть. Немолодые, с вещами, запихнутыми в рубашку или кальсоны, поддерживая падающие штаны, они молча, не обмениваясь ни словом, неподвижно стоят у двери.

Я располагаюсь на свободной койке возле рыжего арестанта. Он с интересом следит, как я переодеваюсь, достаю домашние туфли.

– Что это вы так по-домашнему устраиваетесь? Вы разве сюда надолго?

– Наверное, надолго. А почему вы спрашиваете?

– Видите эту кучку идиотов у двери? Они так стоят уже часа два. Все ждут, что сейчас откроется дверь, перед ними извинятся и выпустят на волю... А тут вдруг встречаю нормального и разумного человека!

Мой рыжий сосед, по нынешним меркам, уже старый тюремный сиделец. Арестован три месяца назад в Куйбышеве, где работал помощником у нового первого секретаря обкома, опального Павла Петровича Постышева. Вместе с хозяином забрали и его. Он уже прошел первые циклы допросов у провинциальных костоломов, а теперь привезен в Москву на «курсы усовершенствования», как выразился этот не растративший ни юмора, ни иронии мой первый сокамерник.

Впервые от него я услышал о пытках. Услышал и моментально в это поверил. Ведь удивительно! За прошедший страшный год мы перебирали в уме все возможное и невозможное, что могло случиться с нашими близкими; мы ломали голову над тем, как создавались смехотворно-неуклюжие «признания» обвиняемых на открытых процессах. Но вот это объяснение, такое простое – пытки – это ни мне, ни моим друзьям не приходило в голову. Как же в нас крепко, цепко сидело «советское», если мы ни сердцем, ни сознанием не принимали этого!..

Услышал и сразу же испугался: не узнали бы об этом дома... Для меня ведь еще существовал дом на Гранатном: наши тесные комнатки, полки с книгами, старый плюшевый диван, кровать с дочкой... Но очень много думать было некогда, моя тюремная жизнь катилась по хорошо наезженной, прорезанной в граните колее. Через два дня меня из «собачника» (так у нас называлась та часть «внутренней» тюрьмы, куда привозили только что арестованных) с вещами вывели во двор, втиснули

в зеленый, весело раскрашенный фургон и повезли. В «воронке» темно, мы распаханы вплотную по маленьким клетушкам, молчим, не видя друг друга, машина крутится по уже ставшим незнакомыми улицам, останавливается, мы слышим, как открываются ворота, мы въезжаем, останавливаемся и неумело, расправляя затекшие ноги и руки, вылезаем из нашего красивого фургона. Нас ведут в красный кирпичный подъезд и заводят в огромный, похожий на вокзальный, зал. Где мы? Но в первой же тюремной анкете, которую мы заполняем, есть вопрос: «Который раз находитесь в Бутырской тюрьме?» Следовательно, все ясно – мы в знаменитых Бутырьках.

А потом... потом уже многожды описанное: душная, набитая камера, ночное пение открываемых дверей, куда выводят на допрос и откуда вносят после допроса; постоянное и почему-то нетерпеливое ожидание, когда это случится с тобой; и, наконец, та самая минута, когда, назвав твою фамилию и «инициалы полностью», тебе говорят: «Соберитесь слегка» – и выводят в широкий, не по-тюремному уютный коридор.

Первый поход по тюрьме. Впереди идет надзиратель, постукивая ключом по медной пряжке пояса – предупреждение, чтобы не встретиться с другим арестантом. Иногда команда: «Встать лицом к стене!» – значит, проводят такого же, как я... Потом лестницами – на верхний этаж, мы останавливаемся у плотных, обитых войлоком и кожей дверей, они открываются, и мы заходим в оглушающий шум и крик «следственного коридора» Бутырской тюрьмы. Никогда в жизни не был на бойне, но почему-то мне показалось, что так именно и должна звучать бойня: глухие удары, крики от боли, озверелый мат забойщиков... Меня подводят к одной из многочисленных дверей, выходящих в коридор, стучат, меня заводят в небольшую комнату, молча указывают на табуретку, стоящую у двери и прикованную к полу. Напротив меня молодой и очень уверенный человек достает из груды лежащих на столе новеньких коричневых папок одну и начинает ее разминать, дабы удобнее было заполнять бумагами.

Обо всем этом я вспоминаю сейчас, через 52 года и 7 месяцев, сидя в другом – очень уютном кабинете, раскачиваясь на модном крутящемся кресле, за огромным пустым полированным столом. Меня никто не торопит, приведший меня сюда тихий молодой человек молча сидит в углу и наблюдает за со-

блюдением мною порядка: могу читать, могу даже переписывать, что хочу, но не приведи Бог вырвать из «дела» какую-нибудь бумаженцию!

А что, собственно, вырывать? В этой тонюсенькой папочке так называемые «следственные дела» всех нас троих: меня, Оксаны и Елены. И даже то, что служит первым и главным основанием к аресту, допросам, суду, каторге или убийству – «Постановление» – оно у нас троих совершенно одинаковое.

Вот, наконец, я узнаю полный и совершенно официальный состав моего преступления. Не ленюсь переписать в приготовленную тетрадку:

«Разгон вместе с сестрами Бокий усиленно распространяет клеветнические слухи про руководство ВКП(б) и систематически ведет озлобленную контрреволюционную агитацию. Разгон утверждает, что как Москвин, так и Бокий невиновны. Говоря о картине «Петр I» и других, Разгон заявляет: «Если дела так дальше пойдут, то скоро мы услышим «Боже, царя храни» в соответствующей обработке». Разгон распространяет клеветнические слухи об арестах Шверника и Блюхера. Во время очередной выпивки с сестрами Бокий Разгон высказывал сочувствие врагам народа и провозгласил тост: «Выпьемте за наших отсутствующих друзей, которые не могут разделить с нами этот тост». На квартире часто бывают жены арестованных: жена арестованного сотрудника НКВД Гопиуса и жена Д.Осинского, также арестованного.

Разгона необходимо арестовать.

Оперуполномоченный 10 отделения 4 отдела ГУГБ, лейтенант госбезопасности Лобанов».

Наверху две подписи. Слева: «Утверждаю – Фриновский». Справа: «Согласен – Вышинский».

Удивительно! Ведь все правильно! Ничего придуманного. Но почему же так топорно мне открывают единственный источник, из которого они узнали о моем преступлении?

И об этом я также думаю, сидя в тихом кабинете, куда за плотно закрытые окна еле доносится шум Лубянской площади.

А источник этот действительно был единственным. За тем праздничным столом, где весьма скромно отмечалось мое тридцатилетие, кроме нас, соучастников «преступления», находился еще один человек. Наша близкая приятельница, че-

ловек нашей судьбы, которую мы бесконечно жалели и привечали. И было за что. Муж ее был арестован и, как мы потом узнали, к этому времени уже расстрелян. Она осталась с тремя маленькими детьми без работы, в казенной квартире. И спасения ради ей предложили в общем-то такую малость: «стучать» на нас.

Собственно, это открытие было первым моим шоком на допросе – потом их стало много больше. Через несколько лет, когда у меня началась переписка из лагеря с мамой, я в одном ее письме прочел, что наша бывшая приятельница бывает на Ордынке, приходит поиграться с Наташей и приносит ей что-нибудь сладкое... Я написал маме, что не желаю, чтобы она бывала в доме и играла с моей трехлетней дочкой. В ответном письме мама мне описала сцену:

«– Скажите, почему вас Лева не любит?

– Почему же не любит?

– Он не желает, чтобы вы бывали здесь и игрались с Наташей...

Она заплакала и, уходя, сказала:

– Напишите Леве, что я не самая плохая...»

И это тоже было правдой. Еще задолго до моего освобождения у меня прошла злость, ненависть, мстительное чувство против человека, который нас всех предал. Настолько прошло, что я сейчас, вопреки моему правилу – «ничего не скрывать», не называю ее фамилии. Наверное, ее нет в живых, но есть дети и внуки, носящие ее фамилию. Эта бедная женщина, которой бандиты приставили нож к ее горлу и горлу ее детей, была беззащитна. И, кроме того, она наивно предполагала, что может отделаться, если будет на нас «стучать». Такие безобидные вещи, как преступный тост или же разговор об августейше понравившемся фильме. А им вполне хватало и этого. В каком-то смысле она даже и спасла меня. Потому что мне можно было предъявить обвинение в попытке взрыва Кремля, и я бы под этим безоговорочно подписался и пошел бы под пулю...

Но оставим нашу бедную «стукачку». Что же в моем «деле» есть, кроме постановления с категорическим выводом «надо арестовать»?.. Ничего. Кроме протокола от 25 апреля, где слово в слово повторяется то, что я уже процитировал, и постановления «Особого совещания» от 21 июня об осуждении меня «за контрреволюционную агитацию к пяти годам ИТЛ».

Но ведь допрос 25 апреля был не единственный. Их было пять-шесть – не помню сколько. И был мой идиотский торг, что я не контрреволюционер и не вел агитации, и не распространял клеветнические слухи, что коммунист и очень, очень советский человек... Но от этих «допросов» не осталось следа в «следственном деле». И не осталось следа от тех бумажек, которые мне Лобанов показал, прежде чем быстро и решительно закончить мое дело. Это были коротенькие записочки от Оксаны Елене и от Елены Оксане.

– Да, да! – развалился в кресле Лобанов. – Они у нас тут, обе. И дают показания, и не упираются так, как вы. Так давайте поговорим по-деловому и закончим эту трехмудию. С вашей жены и ее сестры взятки гладки. Ничего не смыслящие женщины, смотрящие вам в рот. Вина их – ничтожна, да и нет у них, как у вас, никакой вины. Значит, так: сейчас вы подписываете протокол в этом виде и признаетесь в клевете и агитации. И после этого, я вам обещаю и даю вам честное слово чекиста и коммуниста, что ваши жена и свояченица будут немедленно освобождены. Конечно, в Москве мы их не оставим – этого обещать не могу. Они будут высланы. Но в свободную ссылку, и начальство уже подобрало им хороший город – Харьков. Там есть клиники, там есть инсулин, и жена ваца сможет там лечиться. Если же вы идиотски будете упираться, я сегодня же даю распоряжение лишить вашу жену инсулина.

– Так вы же убьете ее!

– Это вы ее убьете. А мы – работаем. Так как?

И я немедленно подписал тот единственный протокол от 25 апреля, как подписал бы любой, любого содержания, хотя бы в нем утверждалось, что я прорыл туннель между Лондоном и Бомбеем и перевожу по нему грузы для взрыва Кремля. А ведь меня не пытали. Кроме одной традиционной зуботычины и самого обычного мата, Лобанов со мной не делал «ничего такого». А почему же я поверил в «честное слово коммуниста»? Ну, во-первых, как я сейчас понимаю, я еще верил и в коммунизм и «честное слово коммуниста». А потом – это был шанс, ну не шанс, а только надежда. Но и этого для меня было достаточно.

Лейтенант госбезопасности Лобанов быстро закончил наши три дела. Они для него были ничтожными, мелочью. Потом я узнал, что подобные дела «родственников» у них назы-

вались «осколками». Ну, вот стекло разбито, осколки разлетелись. Я получил пять лет – более далекий осколок; Оксана и Елена – по 8 – они были ближе к разбитому стеклу. Елена отбыла свои восемь лет в Устьвымлаге, потом ссылку в Башкирии, потом дождалась эпохи реабилитации, успела вырвать из начальственного оскала справки о реабилитации отца, матери, отчима, сестры и мгновенно после этого умерла. Как будто закончила весь предназначенный ей жизненный цикл.

А Оксану отправили в этап, конечно, лишив ее лекарства, без которого она не могла жить. И она в октябре 1938 года на проклятой Богом и людьми пересылке Вогвоздино умерла, так и не начав пеший этап в коми-зырянские леса. И слава Богу! Эти страшные слова мне пришли первыми в голову, когда весной 39-го года я узнал о ее смерти, эти слова я повторяю и сейчас, держа коричневую папочку, которая слегка вздрагивает в моих руках.

А я остался один. И, как сказано в многократно мною перечитываемом стихотворении Бориса Слуцкого:

А мне еще вставать и падать.
И вновь вставать.
Еще мне не пора.

Еще мне не пора... Потому что я должен внимательно прочитать каждую бумажку в тех – главных! – делах. И понять не только историю гибели одного семейства, а нечто гораздо более мне интересное и для меня значительное: я сейчас прочитаю самое-самое секретное, я узнаю, как происходило уничтожение того верхнего слоя, тех, кто создал эту партию, произвел эту революцию, построил и руководил этим обществом... Ведь Бокий и Москвин принадлежали именно к таким людям. Мечта узнать это, мечта нереальная, не имевшая никаких шансов на осуществление, всегда маячила передо мной, как, вероятно, перед множеством других людей.

И когда мне показалось: вот настало время! – я начал добиваться проникновения в тайная тайных – в секретнейший архив КГБ, дабы взять в руки ее толстые, страшные дела, на которых начертано: «Хранить вечно». И оттуда все узнать, все понять.

И вот я получаю эти дела. Из того самого архива. Мой Вергилий по этому тихому, почти безлюдному аду, приносит

авоську – обыкновенную авоську, в которую, наверное, кладется продуктовый заказ или же попросту хлеб. Мятую, нечистую матерчатую авоську. Он достает из нее три папки – нетолстые, совершенно обычные, канцелярские. Он их отдает мне, а сам садится на свой наблюдательный пост.

И я беру в руки «Следственно-судебное дело» Глеба Ивановича Бокия.

И очень скоро понимаю, почему я через два-три месяца хлопот получил разрешение заместителя председателя КГБ Пирожкова на ознакомление с этими и другими делами. В них нет никаких секретов. Все эти грифы «сов. секретно» и пр. – ничего не стоят. Из этих дел ничего нельзя узнать. Правда, они дают то, что называется «толчком к размышлению». Известно, что опытный палеонтолог может представить себе скелет динозавра или другого такого же вымершего зверя по одной кости... Не могу себя причислить к подобным исследователям. Во всяком случае, я многое узнал. И даже то, что я не узнал, – тоже стало знанием.

Самое главное в этих делах не то, что там есть, а то, чего там нет. Постановление об аресте Бокия и Москвина подписано каким-то заместителем Ежова, комиссаром государственной безопасности 2-го ранга Л.Н.Бельским. Какой-то ранее никому не известный субъект из окружения Ежова и посаженный им в свои заместители. Но не он же принимает решение об арестах людей такого ранга, как Бокий, Москвин и им подобные? Значит, это где-то обсуждалось, и глаза того, чьи «толстые пальцы, как черви, жирны», медленно проходились по списку, где были и эти хорошо знакомые ему фамилии. Впрочем, все фамилии в этих списках были ему знакомы. Значит, есть где-то эти списки, есть пометки, а может быть, и резолюции, но они не здесь, не в этих делах, а в других, и хранятся они так же тщательно, как смерть Кашея... И там же хранятся и другие маленькие или большие, рукописные или же печатные бумажки с набросками сценария или же полным сценарием того, за какое ребро подвешивать очередную жертву.

Итак, 7 июня 1937 года Бокий был вызван к Ежову и оттуда уже не вернулся. Обыск в его кабинете производился в присутствии самого Ежова. Обыскивали, естественно, и дома. А постановление и ордер на арест не от 7 июня, а от 16-го. И в этом постановлении замнаркома Л.Н.Бельский утверждает – уже как

доказанное, – что Бокий состоял членом контрреволюционной масонской организации «Единое трудовое братство», занимавшейся шпионажем в пользу Англии. Кроме того, Бокий является руководителем антисоветского спиритического кружка, устраивавшего тайные сеансы, на которых «предсказывалось будущее».

А после постановления идет так называемое «следственное дело», состоящее всего-навсего из двух протоколов допросов.

На первом из них обвиняемый признается, что он стал масоном еще в 1909 году, вступив в ложу, где членами ордена были и академик Ольденбург, и художник Рерих (который везде именуется «английский шпион Рерих»), и скульптор Меркуров... Ложа продолжала активно существовать, от нее отделилось «Великое братство Азии», где уже начинается нечто из романов Луи Буссенара: таинственная секта исмаилитов, их легендарный и зловещий глава Ага-Хан, бродячие дервиши – шпионы... Значит, потребовалась всего какая-то неделя, чтобы Глеб Иванович без колебаний своим твердым и четким почерком подписал эту гимназическую галиматию... Что же происходило за эту неделю? Если судить по «делу», то вовсе ничего.

Дело всей семьи Бокия, Москвина и Софьи Александровны Москвиной-Бокий вел обычный следственный тандем: руководящий работник, редко пачкающий свои белые руки о физиономии арестованных, и опытный палач с мелким чином лейтенанта. У Бельского таким палачом-костоломом был Али Кутебаров, 1902 года рождения, казах. Конечно, он никогда в жизни не читал приключенческих романов, на которых, очевидно, выросла такая крупная интеллектуальная величина, как комиссар государственной безопасности 2-го ранга Вольский, и выбивал из подследственного роман, который ему диктовал руководитель следствия.

Но, очевидно, экзотическая масонско-исмаилитская версия не устраивала главных режиссеров всех этих кровавых игрищ. Не сомневаюсь, что главным из них был САМ, для которого они были главным культурным развлечением. Бокий им был нужен для более существенных дел, нежели то, что придумал недоучившийся гимназист Бельский. И здесь, очевидно, мне следует сказать немного о самом Глебе Ивановиче Бокии.

В очень для меня лестной статье «Масон, зять масона» («Литературная газета» № 52 за 1990 г.) такой авторитетнейший публицист-исследователь, как Аркадий Ваксберг, написал, что Глеб Бокий командовал «не только соловецкими лагерями «особого назначения», но и всеми другими концлагерями, не «особыми» и не «специальными». На этот раз Аркадий Ваксберг допустил ошибку. Глеб Бокий не имел за всю свою многолетнюю работу в ОГПУ–НКВД никакого отношения к ГУЛА-гу и к любым другим лагерям. Его имя оказалось связанным со знаменитым Соловецким лагерем не только благодаря названию парохода, курсировавшего между Кемью и Соловками, но и благодаря тому, что он был автором идеи создания концентрационного лагеря и первым его куратором.

Глеб Иванович Бокий принадлежал, конечно, к совершенно другой генерации чекистов, нежели Ягода, Паукер, Молчанов, Гай и другие (имена же их тебе, Господи, ведомы). Это был человек, происходивший из старинной интеллигентной семьи, хорошего воспитания, большой любитель и знаток музыки. Пишу это вовсе не для того, чтобы прибавить хоть малость беленькой краски к образу Глеба Бокия. Ни образование, ни происхождение, ни даже профессия нисколько не мешали чекистам быть обмазанными невинной кровью с головы до ног. Менжинский, как известно, был образованнейшим полиглотом и знатоком античной литературы, а по профессии – исследователем истории балета... Глеб Иванович Бокий был одним из руководителей Октябрьского переворота, после убийства Урицкого стал председателем Петроградской ЧК и в течение нескольких месяцев, до того как Зиновьев вышиб его из Петрограда, руководил «красным террором», официально объявленным после покушения на Ленина. А во время гражданской войны, с 1919 года, был начальником Особого отдела Восточного фронта, а затем и Туркестанского. Как нет необходимости объяснять характер этой деятельности, так и невозможно подсчитать количество невинных жертв на его совести.

Как мне кажется, идея создания на Соловках концентрационного лагеря для интеллигенции имела то же происхождение, что и массированная отправка за границу всего цвета русской философской мысли. Тех – за границу, а которые «пониже», не так известны, не занимаются пока политической

борьбой, но вполне к этому способны – изолировать от всей страны. Именно – изолировать. Ибо в этом лагере не должно быть и следа не только каторжных, но и каких-либо других работ для высланных. И первые годы Соловков были совершенно своеобразными, о них сохранилось много воспоминаний, в том числе и Дмитрия Сергеевича Лихачева. Запертые на острове люди могли жить совершенно свободно, жениться, разводиться, писать стихи или романы, переписываться с кем угодно, получать в любом количестве любую литературу и даже издавать собственный литературный журнал, который свободно продавался на материке в киосках «Союзпечати». Единственно, что им запрещалось делать, – заниматься какой-либо физической работой, даже снег чистить. Но ведь снег-то надобно было чистить! И дрова заготавливать, и обслуживать такую странную, но большую тюрьму. И для этой цели стали привозить на Соловки урок – обыкновенных блатных. А командирами над ними ставили людей, которые числились заключенными, но были по биографии и характеру подходящими для этого. Легко понять, что ими оказались не доктора философии и молодые историки, а люди, побывавшие на командирских должностях в белой или же Красной Армии. Знаменитый палач Соловков начальник лагеря Курилко был в прошлом белым офицером, хотя и числился одним из «изолированных» на острове. И постепенно стал превращаться идиотски задуманный идиллический лагерный рай в самый обычный, а потом уже и в необычный лагерный ад. Бокий в последний раз был на Соловках в 1929 году вместе с Максимом Горьким, когда для того, чтобы сманить Горького в Россию, ему устроили такой грандиозный балет-шоу, по сравнению с которым знаменитые мероприятия Потемкина во время путешествия Екатерины кажутся наивной детской игрой.

А сам Бокий с 1921 года и до самого своего конца был создателем и руководителем отдела, который даже не был отделом ОГПУ, а официально считался «при»... Насколько я себе представляю, он скорее был похож на то, что в США называется Агентством национальной безопасности. И занималось оно тем, что охраняло тайны своего государства и охотилось за тайнами других. И сам отдел и его руководитель были, пожалуй, самыми закрытыми во всей сложной и огромной разведывательно-полицейской машине. Один из первых пере-

бежчиков, бывший торгпред в Париже Беседовский, который прирабатывал еще и сочинением романов, написал о Бокий аж целый роман. Он назывался «Охотники за шифрами». Хотя я целых два года сам работал в этом «при», о функциях отдела Бокия я был информирован весьма скупо. Но знаю точно, что в этом отделе никого и никогда не арестовывали и не допрашивали. Наверное, это делали в других, более для этого специализированных отделах. Первого арестованного в моей жизни я увидел 18 апреля 1938 года во внутренней тюрьме.

Все это я пишу не для оправдания или же наведения некоторой бледности на образ моего бывшего тестя. Но Бокий из всех возможных и невозможных по своим обязанностям фигур вокруг сосредоточия власти был самым информированным, самым знающим, от него не могла укрыться никакая тайна. И предъявлять такому человеку полушкольное сочинение о масонах и исмаилитах было более чем глупо. И поэтому были получены от Главного режиссера другие указания. Вот почему в деле появился еще один протокол – уже не от 16 июня, а от 15 августа. И допрос тут вел не высокий интеллектualan Вольский, а его полуграмотный помогайло-костолом Али Кутебаров.

Ну вот здесь и были установлены преступления, далеко отстоящие от любительского масонства. Бокий признавался, что он всегда был троцкистом и после высылки Троцкого поддерживал с ним постоянную и тесную связь. Пока Троцкий был в Европе, то непрерывно переписывался с Бокием через своих эмиссаров, а когда очутился в Мексике, то Бокий у себя на даче установил для связи с Троцким специальную радиостанцию. А так как расстояние между радиостанциями Троцкого и Бокия было большим, то договорились с немецко-фашистской разведкой, что послания заговорщиков будут приниматься и передаваться через их специальную радиостанцию. Ну, естественно, что главной целью этих переговоров была организация убийства Сталина. Это проще всего было осуществить, взорвав к чертовой матери весь Кремль. В отделе Бокия был человек, который носился с идеей производства взрыва на расстоянии невидимыми лучами, – Женя Гопиус. И вот он и должен был осуществить эту историю. Правда, для этого нужно было завезти в Кремль подходящее количество взрывчатки, но такие детали уже не интересовали авторов этого школьного сочинения. И вот этот второй протокол, как и первый,

Бокий, как и положено, на каждой странице подписал своим четким и неколебляющимся почерком.

Теперь всего было достаточно, но такая эстрада не годилась даже для десятиминутного суда, проводимого Ульрихом. Поэтому в постановлении «Об окончании следствия», подписанном 15 ноября 1937 года Бельским и соответственно утвержденным, все эти масонско-троцкистские преступления даже не передавались суду, а подлежали решению «Особой тройки НКВД». И в тот же день – 15 ноября – эта тройка «приговаривает» Глеба Ивановича Бокия к расстрелу и в тот же день его убивают. С ним – конец.

В деле Ивана Михайловича Москвина, кроме постановления об аресте как соучастника масонско-шпионской организации, есть еще два протокола. Первый – сразу же после ареста. В нем, кроме отрицания всех фантастических обвинений, вдруг прозвучали слова, которые действительно могли принадлежать только Москвину и которые были немедленно занесены в протокол как некое полупризнание. Я выписал эти несколько слов, которые не могли выдумать ни Бельский, ни Али. «Я все больше прочувствовал, что наша жизнь окутана густой паутиной партийной лжи и фальши. Мне казалось, что в людях нет необходимого человеческого достоинства и меня угнетала мысль о том, что при всей многочисленности человеческого общества крайне редко можно встретить лицо, которое имеет право называться человеком...»

А следующий протокол – огромный, на множестве страниц, исписанный мелким и разборчивым почерком Али, подписанный всего лишь через три недели – 4 июля, – совершенно другой. В нем содержатся признания в соучастии в правой террористической организации; в нем оговариваются активнейшие работники партии (правда, к этому времени почти все арестованные). В них Москвин берет на себя все что угодно, вплоть до организующей роли в некоей антисоветской правотроцкистской организации. И, конечно, попутно выдает все тайны загадочного масонского кружка и всех их участников. И каждая страница подписана хорошо мне знакомой четкой подписью Ивана Михайловича.

Вот он не только передается суду Военной коллегии, но и на суде 27 ноября 1937 года, где председателем был Ульрих, а членами Никитченко и Горячев и который длился – как обыч-

но – 15 минут, признается в своих преступлениях, немедленно приговаривается к расстрелу и тут же убивается. Все это происходило в Лефортовской тюрьме, где находились и Боккий и Москвин и куда – рационализации ради – палаческая тройка, пародирующая суд, приезжала из своего заведения на Никольской улице. Там, в Лефортовской тюрьме, в маленьком кабинетике с отдельным сортиром, они заседали, туда приводили так называемых «подсудимых» – в большинстве своем хорошо знакомых Ульриху, там прочитывался заранее уже отпечатанный приговор, и сразу же жертву стаскивали вниз и убивали выстрелом в затылок. Поработав таким образом несколько часов, пропустив через свой суд человек этак 20–30, упыри садились в свои машины и ехали домой, где их ждал семейный уют, вкусный обед и сладкий послеобеденный сон.

А теперь – самое главное. Почему «подсудимые» так охотно и сравнительно быстро признавались в совершенно чудовищных и абсолютно неправдоподобных преступлениях? И если верить этим «следственным» делам, то делали это на первом же, максимум на втором допросе. Вопрос о «признаниях» был жгуче-непонятен и раньше, когда на открытых процессах люди, известные своей принципиальностью, храбростью, почти легендарным мужеством, – открыто, перед глазами всего мира, не моргнув, возводили на себя самую чудовищную ложь. Это было непонятно тогда, думаю, что это не стало яснее и теперь. Ибо это – столь же запретная тема, как и полвека назад. С этой страницей своей исторической биографии современный КГБ не желает расставаться и раскрыть ее, несмотря на все либеральные ужимки, вплоть до выдачи наисекретнейших дел отдельным заинтересованным лицам.

Я уже говорил, что в этих делах самым главным и интересным для историка является не то, что там имеется, а то, что там отсутствует. А отсутствуют, кроме предварительного обсуждения и решения – кого, когда и как убивать, еще и такие следы работы «суда», которые именуется, кажется, «распорядительным заседанием». Не знаю, что положено там делать, но совершенно очевидно, что шайка палачей и бандитов, изображающих Военную коллегия Верховного суда, предварительно и весьма быстро решала судьбы тех, кто еще в это время сидел в камере и не знал, что через час-другой его убьют. А решали они быстро, потому что у них уже был список, напе-

чатанный и кем-то подписанный, решивший участь людей, считавшихся «подсудимыми».

И до того времени, когда мой безвестный тихий юноша из КГБ достал из авоськи дела Бокия и Москвина, я много, очень много думал: а они признались? Я ведь хорошо знал и Глеба Ивановича и Ивана Михайловича и был совершенно уверен, что этих людей нельзя сломить угрозами и тем, что называлось деликатно «физическими методами». А они «раскололись», и так неожиданно быстро и без всякой борьбы! Почему? Вот об этом, о чем не осталось и следа в следственном деле, я и хочу поразмышлять. Опираясь не только на прочитанное, но и на свой немалый опыт человека и самого сидевшего и разговаривавшего об этом с десятками людей, пропущенными через мясорубку «карательных органов».

Из того, что в большинстве следственных дел лежит один, максимум два «протокола допроса», вовсе не следует, что допросов столько и было. Из нашей 29-й камеры Бутырок вызывались ночью на допросы одни и те же люди почти каждую ночь. Иногда они не приходили сутками, и мы знали, что они «на стойке» – стоят днем и ночью без сна, пока меняются их следователи. Иногда они приползали полуживые, с разбитым лицом, искореженными членами. Иногда их приносил конвой и кидал, как ветошь, на пол камеры. Словом, в следственных делах, в этих почему-то считающихся очень «секретных делах» не только не отражены, но и уничтожены все следы того, что происходило между одним протоколом допроса и другим, если в другом появлялась, как в случае с Бокием, надобность. Уничтожались следы пыток. И не просто пыток, а таких, о которых не знало, не имело представления не только какое-нибудь паршивенькое средневековое, но и такие мастера, как гестаповские палачи. Все эти кадры из советских детективов, где одетый в белый халат опытный, пыточных дел мастер стоит возле своего связанного клиента, позвякивая щипчиками и прочим пыточным инструментарием, – самая обыкновенная липа. А если не липа, то пустяк по сравнению с нашими «допросами без протокола».

Самой первой задачей палачей было убедить приведенного к ним без шнурков, пуговиц, поддерживающего спадающие штаны человека в том, что он – уже не человек, что он нечто, с кем можно делать и будут делать все. И делали. Начиная с три-

виальных побоев, пощечин, обещания расстрелять, имитации расстрела и пр. и пр. Действия были самые разные. И рассчитанные на конкретного и подходящего человека. Наверное, Муралова было бы смешно пугать инсценировкой расстрела. А у нас в камере очутился тихий и пышиноволосый курчавый еврей, работавший товароведом в ГУМе. Учился он в Плехановском институте и в свои студенческие времена носил кофеворотку красного цвета, почему остряки с курса звали его террористом. А в 38-м году какой-то допрашиваемый бедолага-однокурсник на вопрос следователя: кого он знал из террористов, – запинаясь ответил, что вот одного студента из-за цвета рубашки у них на курсе так звали. Наш «террорист» пришел с допроса совершенно целенький, но какой-то страшный. Он сел на нары, взял в руки клочок своей пышной шевелюры, и она отделилась так свободно, как будто ее даже и не приклеивали к черепу. Затем он повторил это и через несколько минут сидел перед нами с совершенно обнаженным блестящим черепом. Когда мы к нему кинулись, он нам начал рассказывать, как в кабинете ему объяснили, что сейчас его расстреляют, и как инсценировали этот расстрел...

Самое главное для них было не запугать даже, а унижить человека настолько, чтобы тот понял – здесь все БЕСПРЕДЕЛ! В славные времена Ивана Васильевича Грозного, да и позже, были пыточные камеры, и в них пытали – для этого там находились дыба и клещи и прочие необходимые для юстиции предметы. Но там велись «пытошные ведомости». И ведущие допросы дьяки дотошно записывали, какие применялись к подсудственному меры убеждения. И даже фиксировали, что время от времени подвергаемый пытке «впадал в изумление» – то есть терял сознание. Но то было тогда. В наше славное, социалистическое время ничего не фиксировалось, ничего не записывалось и выбор средств для уничтожения личности был совершенно беспредельный. Можно было бить по наиболее чувствительным местам тела, зажимать пальцы дверью, срывать ногти, бить по половым органам, – никаких не было ограничений, кроме возбужденной фантазии нелюдей в мундирах.

Маршал Советского Союза, уже будучи и маршалом и всенародным героем, плакал, вспоминая, как очередной лейтенант мочился на его голову. Хорошо на голову, других заставляли открыть рот и мочились ему в рот. А может ли любая

женщина вынести, когда молодой мерзавец со смехом испражняется на ее голову? У нас на первом лагпункте Устьвымылага была женщина интересной судьбы: еврейская рижанка, вышедшая замуж за архитектора и прожившая большую часть жизни в Бразилии и Париже. Потом муж приехал в Советскую Россию воздвигать величественные, достойные коммунизма здания. Загория (такая была у нее фамилия) рассказывала мне, что сидела в одной камере с одной большевичкой по фамилии Постоловская. И она была доведена до того, что каждый вечер начинала молиться Богу, чтобы ее не вызвали, как обычно, на ночной допрос.

Постоловская... Эта личность мне была известна. Большевичка из старой большевистской семьи, жена Павла Петровича Постышева. Чтобы она стала верующей, молилась?! Что же такое ее страшило в ночных допросах? Цирк. Так назывался допрос-развлечение, придуманное этими личностями. Постоловскую притаскивали в большой кабинет, где уже находилось шесть-семь молодых людей с жокейскими бичами в руках. Ее заставляли раздеться совершенно донага и бегать вокруг большого стола посредине комнаты. Она бегала, а эти ребята, годившиеся ей в сыновья, в это время подгоняли ее бичами, добродушно выкрикивая поощрительные слова. А потом предлагали лечь на стол и показывать «во всех подробностях» — «как ты лежала под Постышевым»... И так почти каждую ночь.

Я спрашивал у сокамерницы Постоловской:

— Всегда были одни и те же?

— Нет, — рассказывает, — менялись, появлялись новые...

Ну да ладно! Перестанем перечислять все разнообразие пыток, с помощью которых человека принуждали подписывать все что угодно, делать все что угодно, лишь бы наступил скорей спасительный конец. Ибо в этом случае слова «смерть-избавительница» — были совершенно точным и желанным понятием.

Но физические пытки вовсе не были пределом. Во-первых, редко, но пахотятся люди, способные вынести любые физические мучения. Кроме того, человек так физиологически устроен, что, дойдя до определенного болевого порога, он теряет сознание, а следовательно, ничего из него больше выбить нельзя. Но в распоряжении палачей были и гораздо более действенные средства: близкие, в первую очередь дети. Никто из

тех несчастных, которых на Лубянке или в Лефортове не доводили до нужных палачам «кондиций», не сомневались, что любые угрозы «сделать с детьми» – реальны. Независимо от возраста детей. Совершенно крошечных отдать в спецясли, где они почти мгновенно вымирали, постарше – в специальные детские дома, где они сначала мучились, а потом вымирали. Еще постарше – арестовать и заставить пройти по всем кругам ада.

В первой и наиболее знаменитой книге Роя Медведева приводится эпизод, когда один крупный партийный работник не подписал ничего, несмотря ни на какие пытки. Тогда в кабинет следователя привели его 16-летнюю дочь, изнасиловали на глазах отца и спокойно пригрозили: за дверью стоит взвод солдат, и сейчас они будут все насиловать девочку. И отец не выдержал – подписал. Не ради спасения дочери – спасти ее было уже невозможно, ее выпустили, она вышла и бросилась под поезд. Отец подписал требуемое, потому что это НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕНЕСТИ!

А сколько же людей – и какие люди! – соглашались на все, соглашались на участие в фарсовых «открытых процессах» в надежде спасти своего ребенка! Ведь им давали «честное слово коммуниста», им устраивали свидания, присылали подложные письма. Да, все было по Достоевскому. Для них никакого Бога не было, а следовательно, – все возможно...

Я так и не узнал и никогда не узнаю, как заставили Бокия и Москвина подписать все немыслимое, что они подписали. Как мне кажется, не только страх за близких – у Глеба Ивановича была годовалая девочка, не говоря уже о более старших. Я полагаю, что оба они несколько не сомневались в ожидающем их конце. Они были достаточно информированы и о системе, и о людях, ее осуществлявших. Они их знали, среди них были и такие, которых они сами вырастили – как Москвин Ежова. Они знали, что их убьют, и, как мне кажется, делали все, чтобы приблизить эту минуту.

И у меня к ним нет ни чувства горечи и разочарования, ни обиды, ничего, кроме самой обычной и бесконечной жалости. В своей книге я жестоко обругал генерала Горбатова за его гордое заявление, что вот другие «признались», а он-де не признался... Может быть, я был несдержан в словах, но до сих пор считаю себя правым. Никто не имеет нравственного права в

чем-либо обвинять жертвы, а следовательно, и оправдывать палачей.

По количеству информации, «следственные дела» Глеба Ивановича и Ивана Михайловича были бы совершенно ничтожными. Но к ним было приплетено так называемое «реабилитационное дело» – бумажки всякого рода, которые рассматривали как чины прокуратуры и Верховного суда, так и парткомиссии ЦК КПСС. Бумаг довольно много, включая хвалебнейшие письма о Бокии Стасовой и Калининой и кончая допросами разных людей, в один голос утверждавших, что расстрелянные Бокий и Москвин были прекрасными и бескорыстными людьми. Зачем все это понадобилось чинам государственным и партийным – понять не могу?! Даже малограмотному ежу понятно, что все это «следственное дело» – сплошная липа, что тут имеется обдуманное убийство и не требуется для этого никаких доказательств. Но, вероятно, делать бессмысленную работу за немалые деньги, хорошие пайки и персональную машину не так уж и плохо... Ну, хрен с ними!

Но в этом «реабилитационном деле» я нашел нечто, которое, казалось бы, должно было хоть как-то удовлетворить мои чувства ненависти, мести и пр. к тем, кто мучил моих близких. Знал ли комиссар государственной безопасности Бельский и его придворный палач Али, что им осталось жить всего-то лишь не более двух лет? Что уже в 39 или 40-м году они будут валяться избитыми на полу, и другие молодые люди, а может быть, и их сотруднички станут с ними проделывать все, что они проделывали с другими? Когда убрали очередного «мавра» – Ежова и новый «мавр» – Берия стал наводить свои порядки, он, естественно, поснимал и пострелял, предварительно помучив, всех тех, кого привел в свое время Ежов и которые были его опорой. Бельский и его заединщики оказались в их числе. Бельский и Али были расстреляны 5 июня 1941 года. Аминь!

Но в их делах я нашел то, что не знал, – подлинную судьбу жены И.М.Москвина Софьи Александровны. В моей короткой семейной жизни на Спиридоновке она для меня была радостным и светлым пятном. С ее добротой, щедростью, открытостью, весельем... Я был уверен, что ее постигла обычная участь жен – схлопотать статью ЧСИР – член семьи изменника родины, получить свои 8 лет и быть отправленной

в лагерь на Потьму, где собрали и изолировали десятки тысяч таких, как она. Мне даже кто-то рассказывал, что видели ее там на станции Явас. А что лагерь она не выдержит и со своим больным сердцем погибнет там через какое-то время, я не сомневался.

И вот я беру в руки последнее дело из матерчатой авоськи – дело Софьи Александровны. И не отрываясь смотрю на ее первую тюремную фотографию: расширенные от ужаса глаза и летнее платье, в котором ее 14 июня увезли в Волынское присутствовать при обыске.

– Зачем вам пальто? – сказал главный чекист. – Мы же через час вернемся. – Она уехала в одном легком платье, в нем и была снята на тюремной фотографии.

Первое упоминание о ней было в письме Бельского Ежову с предложением арестовать Москвина. Ежов наискосок накладывает резолюцию: «т. Бельскому – к исполнению», – и подписывается. И уже после подписи приписывает: «И жену тоже». Я не ожидал, что Ежов, которого Софья Александровна так опекала, заботилась о его здоровье, относилась, как к близкому человеку, может сделать какое-то исключение для нее, и был уверен, что ее постигнет участь и других жен «врагов народа». И действительно: первый допрос проводил у нее не Бельский со своим пыточным мастером Али, а некий Т.М.Дьяков, и обвиняли ее в обычных для таких преступниц делах – не могла же не знать о злодеяниях ни первого, ни второго мужа. Через три недели опытный Али довел Софью Александровну до того, что она призналась, что укрывала злодеяния своих мужей. И уже через несколько дней в деле лежала приготовленная стандартная бумага заключение, по которой Софья Александровна обвинялась в «укрывательстве», а следовательно, и шла по статье ЧСИР – ее ожидало постановление «Особого совещания», или «тройки», – черт их знает, как эти убийцы себя называли! – к 8 годам Потьмы.

Но бумага эта так и осталась лишь следом, что у Ежова в отношении своей бывшей гостеприимной хозяйки были другие планы. Ибо Софью Александровну никуда больше не двигают. А начинается у нее новый цикл «допросов», который ведет уже непосредственно один Али и довершает его протоколом от 27 ноября 1937 г. Здесь и обвинение и сценарий совсем другие. Оказывается, Софья Александровна замышляла убить

самого Ежова. А для этого привлекла в соучастники доктора Бадмаева. Я хорошо знал Николая Николаевича Бадмаева – умного, спокойного интеллигентного буряты. Приходился он племянником знаменитому дореволюционному Бадмаеву и шел по его стопам: лечил какими-то травками всю кремлевско-придворную знать. Конечно, бывал и на Спиридоновке и даже давал мне какие-то порошки от чего-то: я ими чистил свои брезентовые туфли... Так вот, Софья Александровна и угро-варивала Бадмаева отравить Ежова, который по своему положению тоже входил в число пациентов модного доктора. Но Бадмаев заявил, что он английский шпион и задаром такие поручения не выполняет. Вот если Софья Александровна согласится работать на английскую разведку, то тогда... Естественно, что Софья Александровна согласилась. И, очевидно, не сразу.

На одном из своих допросов в 1939 году арестованный Бельский показал, что уже после окончания дела Москвиной его вызвал Ежов и приказал ему добыть у Софьи Александровны показания о том, что она покушалась на его драгоценную жизнь. Бельский немедленно поручил это опытному Али. Потом Али, уже на своем собственном допросе, признался, что это было нелегким делом, ибо подследственная упиралась... Но дело мастера боится! И 27 ноября Али получил протокол с признанием, что Москвина была шпионкой и террористкой. Вот это уже совсем другое дело! Это не сладкая жизнь в женском лагере, а верная пуля. 25 декабря 1937 года пишется постановление об окончании следствия, 27 февраля 1938 года составляется обвинительное заключение, подписанное Бельским и Вышинским, а 8 апреля 1938 года Софью Александровну привозят из Бутырок, где она содержалась, в то самое здание на Никольской, где находится зловещее царство Ульриха – Военная коллегия Верховного суда. «Судят» ее даже не сам Ульрих, а его заплечные помогайлы – Кандыбин, Колпаков и Суслин. На четвертушке бумаги, где изложен протокол суда, говорится, что обвиняется Москвина-Бокий по ст.ст. 58-6 и 58-8 (шпионаж и террор), что суд длится 15 минут, что обвиняемая просит сохранить ей жизнь, что она приговаривается... Через несколько минут или час – не знаю – Софью Александровну убивают, о чем в ее деле остается небольшой клочок бумаги: «Приговор приведен в исполнение 8 апреля 1938 года,

акт о расстреле передан для хранения в 1-й Спецотдел НКВД, том 3, лист 142/».

Почему Ежов захотел обязательно убить Софью Александровну – не знаю! И никогда не узнаю. Даже предположений не могу строить – это уже дело будущих беллетристов. Но, значит, – убили ее. Расстреляли. А я ведь видел это место... В 1990 году в нашем совете «Мемориала» снова возникла мысль о том, чтобы попытаться под здание и музей «Мемориала» завладеть тем страшным, расстрельным домом, где была Военная коллегия, а сейчас находится городской Военный комиссариат. И решили поехать посмотреть этот дом... Благодаря тому, что среди нас было несколько народных депутатов, а самое главное – был Евтушенко, чьему напору и популярности не могли противостоять даже прапорщики, снующие в военкомате, мы не только проникли в этот дом, но и спустились в подвалы. Со второго этажа, где заседала эта самая «коллегия», мы закоулочком прошли к узкой лестнице, ведущей глубоко вниз. Лестницу, очевидно, никогда и не ремонтировали: покосившиеся цементные ступени, стертые от бесчисленных прикосновений узкие металлические перила. И подвалы, подвалы, разделенные на отсеки. В них навалом лежит солдатская одежда, теплые шапки, пояса – ну да это все для призывников. Когда-то, когда соседнее здание именовалось «Аптекой Феррейна», в этом доме помещалось какое-то торговое дело. И подвалы были устроены, чтобы хранить тюки с мануфактурой. А чтобы спускать их вниз и вытаскивать наверх, был устроен широкий люк с пандусом, по которому эти тюки вытаскивали наверх во внутренний дворик. Люк и пандус сохранились в безукоризненном состоянии, они очень пригодились, когда в этом доме не торговали, а убивали.

И я себе представил, как их ведут или волокут по этой узкой лестнице, как их убивают тут же или же доводя до подвала, как баграми или веревками вытаскивают через люк трупы наверх, где их грузят в залитый кровью грузовик, накрывают брезентом и отправляют в одно из многочисленных подмосковных мест, подготовленных для захоронения трупов. Вот как, значит, закончилась жизнь Софьи Александровны... Еще я узнал про нее, что она с 1904 по 1909 годы была членом партии эсеров, арестовывалась 4 раза, просидела год в тюремном заключении... Ну, все это уже не имеет значения. За свои 51 год

она прошла столько жизней, драм, радостей и горестей, только вот этот конец... А зачем они скрывают то, что никогда и нигде – в средневековье, при любом царистском правлении, при немецких фашистах, никогда не скрывалось, – дату конца жизни, дату смерти? Зачем они это делают?

Вернувшись из лагеря, Елена Бокий начала выяснять судьбу матери. О том, что отец и отчим расстреляны, она уже знала, что младшая ее сестра умерла в этапе – тоже знала. Ничего не знала о матери. И, узнав, что дело ее матери рассматривалось Военной коллегией, обратилась туда. Это было в августе 1956 года. Уже прошел XX съезд партии, уже жиденькими, но толпами, возвращались из лагерей оставшиеся в живых жертвы Сталина и его славных соратников. В деле Софьи Александровны я нашел заявление Елены, адресованное Председателю Военной коллегии, и его ответ от 14 августа 1956 года: «Сообщите Елене Глебовне Бокий, что ее мать Софья Александровна Москвина-Бокий была осуждена 8 апреля 1938 года Военной коллегией и, отбывая наказание, умерла 12 сентября 1942 года». И подписано: «Председатель Военной коллегии Верховного суда, генерал-лейтенант юстиции – А.Чепцов».

Не знаю, жив ли этот подлец Чепцов, подписавший эту гнусную лживую бумагу, снабженную официальными грифами, гербами, печатью и прочими приметами, которые должны свидетельствовать, что тут учреждение великого государства, а не банда бандитов и разбойников. Но ведь он был не один! Тысячи, десятки тысяч людей получали в этот и последующие годы из московских и других загсов стандартные, с траурной каемочкой бумаги, извещающие, что такой-то умер. Точно указывалась причина болезни (чаще всего пневмония и паралич сердечной деятельности) и абсолютно точно день, месяц и год. И никогда место смерти и захоронения. Все эти бумаги были лживыми. Лжива причина смерти (хотя, если в человека выстрелить, у него, вероятно, и происходит паралич сердечной деятельности), а главное – была лжива дата. И сочинением этих бесчестных, подлых и лживых бумаг занимался не сам генерал-лейтенант Чепцов, а сотни, тысячи, много тысяч обыкновенных работников загсов. Это им было поручено сочинять эти бумаги, это им было приказано придумывать в определенных временных пределах лживые даты смерти. И они наверняка были моложе, чем генерал Чепцов, который,

наверное, за это время успел сдохнуть. Но никто и никогда за все эти годы, включая и годы создания «Мемориала», и годы всеобщего лживого раскаянья в содеянных преступлениях, никто не делал попытки разыскать этих людей, этих загосовских чиновников и через них узнать, пройти по цепочке к тем, кто давал распоряжения скрыть от близких даже дату смерти. Это я вот узнал точную дату смерти Софьи Александровны – не 14 сентября 1942 года, а 8 апреля 1938 года. И я, и ее дочери были тогда еще, в этот день, живы, жили в Гранатном переулке и нетерпеливо ждали, когда, наконец, придет письмо из лагеря и можно будет немедленно послать посылку. С теми теплыми вещами, в которых ей отказал убийца в фуражке с синим верхом. Как в воду глядел, мерзавец, – они ей не понадобились...

Я начал говорить о тех маленьких чиновниках, которые сочиняли бумажки с лживыми датами смерти. Но что они! Ведь были и есть – живы до нашего времени не сотни, а тысячи, много тысяч тех, кто всегда звались точно и однозначно – палачами. По неопровергнутой справке МГБ, данной в 1956 году, только с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было расстреляно 7 миллионов людей. По одному миллиону в год... При Александре II в России было повешено немногим более 60 политических заключенных. Это не так уж и много, но проблемой был палач – он тогда, этот знаменитый арестант Фролов из Бутырок, был один на всю Россию. И его возили из Москвы в Шлиссельбург, в Одессу, в Вильно – всюду, где надо было «по закону» убить человека.

А сколько же палачей требовалось, чтобы ежегодно убивать миллион людей? И не так, как это делали немецкие фашисты, – почти открыто, тысячными толпами сгоня обреченных днем к готовым рвам. Нет, убивали тайно, и, чтобы это совершить, надобно было привлекать к этой работе много тысяч людей. И убивали-то ведь беспредельно жестоко. Повешение 3 апреля 1881 года пятерых цареубийц на Семеновском плацу в Петербурге кажется венцом гуманности. Разрешили написать последнее письмо к близким – и до сих пор невозможно без душевного потрясения читать предсмертное письмо Софьи Перовской к матери; и вместе привезли на Семеновский плац, и они в последний раз увидели толпы людей, ради которых сами убивали и шли на смерть; и перед смертью распрощались и расцеловались друг с другом...

В 11-м номере журнала «Известия ЦК КПСС» за 1991 год есть лаконичное описание расстрела 157 политических заключенных 11 сентября 1941 года. Все они имели судебные сроки и содержались в Орловской тюрьме. Среди них было довольно много людей с богатой политической биографией. Сталин и Берия решили их убить. Ну, убить так убить! Дело привычное, и не таких убивали и в количестве более значительном. Но «закон есть закон», и 6 сентября Сталин дает указание расстрелять 170 человек в Орловской тюрьме. 8 сентября Ульрих с подручными быстро составляют «приговор», а уже через три дня убивают 157 человек. Но как! Для этой «операции» (у немецких фашистов это называлось «акцией») из Москвы прибыла специальная большая команда палачей. Всем убиваемым специально сшитыми кляпами затыкали рты, затем связывали руки, объявляли им, что их сейчас будут расстреливать, затем усаживали в грузовики и отправляли за 11 километров в лес, где уже были выкопаны рвы для трупов. Среди расстрелянных были мужчины и женщины преклонного возраста, и надо собраться с силами, чтобы представить себе, как вбивают матерчатые сшитые кляпы Ольге Окуджаве, которой было 63 года, Ольге Каменевой – 59 лет, Марии Спиридоновой – 57 лет, Варваре Яковлевой – 56 лет... Среди мужчин было много просто стариков, Х.Г.Раковскому исполнилось 68 лет, а профессору Д.Д.Плетневу и все 69...

Да, в такой «операции» одним Фроловым из прошлого века не обойдешься! Палачей были сотни и сотни. И те, кто шил кляпы, и те, кто вбивал их в рты убиваемым, и те, кто завязывал рты и руки, и те, кто втаскивал их в смертные машины, и те, кто убивал, стаскивал трупы в ямы... И даже те, кто после этого не просто закапывал страшные могилы, а высаживал на эти места заранее приготовленные деревья... Много, множество палачей занимались своим делом. И – удивительное дело! Ни одного участника убийств найти не удалось. Прокурор В.Зыбцев, вынесший 12 апреля 1990 года «Постановление о прекращении уголовного дела», сделал вывод: «Принятыми мерами розыска участников этой акции и места погребения осужденных найти не представилось возможным». Я привел название документа «Постановление о прекращении уголовного дела». Это ж какого дела? А убийц, убийц, начиная с главных и кончая женщинами, шившими кляпы для вбивания в рты

убиваемых? Ну, этих женщин, вероятно, и найти трудно. Хотя наши доблестные чекисты на протяжении десятков лет искали и находили в самых, казалось бы, скрытных местах всех тех, кто в годы войны был в зондеркомандах, помогал немецким фашистам расстреливать и закапывать трупы. Тех – всех находили, а вот наших – ни одного!

Впрочем, главных убийц и не надо было искать, они были известны. И прокурор В.Зыбцев в так называемом «судебном решении» пишет:

«Поскольку данное судебное решение вынесено на основании постановления Государственного Комитета Обороны – высшего в тот период времени органа государственной власти, действия Ульриха В.В., Кандыбина Д.Я. и Буканова В.В. состав какого-либо преступления не содержат.

На основании изложенного, руководствуясь п.1, ст.208 и ст.209 УПК РСФСР, – ПОСТАНОВИЛ: «Уголовное дело в отношении Ульриха В.В., Кандыбина Д.Я., Буканова В.В. – прекратить на основании п.2. ст.5 УПК РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления».

Ну, вот и все! Непонятно лишь, почему, когда немецкий солдат, пойманный за убийство стариков и детей, совершенно логично отвечал: «Их бин зольдат» – это не принималось во внимание? Точно так же могли сказать и, может быть, говорили эта тройка известных палачей и тысячи палачей, оставшихся неизвестными, потому что их никто не разыскивал, а когда делали вид, что искали, то найти «не представлялось возможным».

Я привел страшное описание убийства, или, «литературно выражаясь», казни людей из Орловской тюрьмы. Но разве оно было самым страшным? Я уже писал, как у нас на штрафной командировке 1-го лагпункта Устьвымлага живых и никем, собственно, не осужденных людей связывали в круг и клали в плетеную башенку на 50-градусный мороз, пока они не превращались в оледенелый неразгибаемый труп. А как убивали в других местах? Это ведь зависело от изуверской изобретательности палачей.

Академик С.Б.Веселовский, занимавшийся историей царствования Ивана Грозного, писал, что Малюта Скуратов, специализировавшийся на уничтожении боярских родов, изобрел специальную казнь для женщин.

Несчастную сажали верхом на туго натянутую железную проволоку и водили по ней туда и назад, пока не распиливали... Маленький и очень грустный врач-грузин, с которым я встретился на 17-м лагпункте, сидел в Батумской тюрьме. Там кто-то, не менее изобретательный, чем Малюта Скуратов, придумал «мужскую казнь». Человеку на шею накидывали петлю из тонкой и прочной проволоки, затем пригибали голову вниз и другую петлю надевали на половой член. Затем ему тыкали в лицо горящую паяльную лампу. Спасаясь от огня, мученик непроизвольно отрывал себе половой член. «Смерть, как правило, наступала от потери крови», – почти медицинским термином заканчивал свой страшный рассказ батумский доктор. А были еще другие казни, и еще и еще... Я понимаю, что будущему историку надлежит все узнавать, обо всем написать, ничего не скрывать. «История должна быть злопамятной», – написал тишайший и добрейший Николай Михайлович Карамзин.

Но я не историк, я не пишу историю преступлений. И тех, кто мучил и убивал тогда, и тех, кто сейчас их сознательно укрывает. Не от уголовного суда, нет, а от суда истории, времени, совести. Ибо, как бы они ни притворялись овечками, как бы они перед экранами телевизоров и залами, заполненными приглашенными, ни уверяли, что они «другие», они – такие же... И, как звери в «Маугли», встретаясь на том свете, в адском огне, могут крикнуть друг другу: «Мы с тобой одной крови!» Ведь, глядя каждый день на маленькие фотографии в «Вечерней Москве», фотографии людей, убитых 50–60 лет назад, убитых ни за что, глядя на эти фотографии, никто из многих тысяч людей, служащих в этих огромных домах на Лубянской площади, никто из них не сошел с ума, не покончил самоубийством, никто не выступил устно или письменно со словами и слезами покаяния, ужаса, смертельной тоски... Помните, в рассказе Чехова «Припадок» студент, побывавший в своей веселой компании в публичном доме, вдруг начинает почти сходить с ума от сознания, что эти несчастные женщины – люди! Замученные, несчастливые люди! И никто из навещающих его товарищей-студентов – образованных, умных и, вероятно, добрых – не может понять, что же случилось с их коллегой.

Нет, никто из них не поймет, никому из них нет никакого дела до тех, кого убивали, никого из них не интересуют безвестные могилы, где лежат останки людей тебе близких и доро-

гих. Я никогда не узнаю и не увижу тот клочок земли в Вогвоздине, где зарыли Оксану, никогда я не узнаю, в каких ямах, в каких рвах, рощах, оврагах закопаны вместе с другими останки Глеба Ивановича, Ивана Михайловича, Софьи Александровны... И почему их одних? А моих братьев Израиля и Мерика, а моих друзей, товарищей, знакомых... Это ж надо так уметь! Миллионы людей как бы слизнули из жизни, из истории, как будто их никогда не было на свете! И не оставить от них никакого следа. Чтобы негде было встать и закрыть глаза...

Нет, я должен перестать об этом сейчас думать. Я давно уже перестал листать дела, они лежат уже больше часа или двух около меня, застывшего в кресле со своими мыслями. И присмотрщик уже начинает нетерпеливо покашливать и смотреть на часы. Пора, пора. Мне здесь уже нечего делать. Я отдаю дела, и папки снова небрежно укладываются в матерчатую авоську. Я иду вниз, по пустым коридорам, прохожу мимо часовых, которые даже документ у меня не спрашивают, и выхожу на Лубянскую площадь.

Всего только пять часов вечера, а уже почти темно, мелкий и тихий дождь идет непрерывно, отвесно, этот дом останется за мной, я стою на тротуаре возле него и не знаю, что же мне делать. Я понимаю, что что-то должен сделать, но что?! Как ужасно, что я неверующий, что я не могу зайти в какую-нибудь тихую церквушку, постоять у теплоты свеч, посмотреть в глаза Распятого и сделать, сказать то, что делают верующие, и от чего им становится легче.

Да, здесь была когда-то такая маленькая уютная церквушка – на углу Мясницкой и Лубянской площади. Крошечная церковь с маленьким кладбищем, где была могила знаменитого математика XVII века Магницкого. Но уже давно нет этой церкви, этой могилы, на этом месте воздвигнута новая громада одного из зданий КГБ.

Я стою долго, так подозрительно долго, что ко мне ближе подходит один из «некто в штатском», что дежурят у этого самого старого, самого главного, самого страшного дома. Я смотрю налево, и там, вдалеке, около Политехнического музея, различаю далекий, теряющийся в сетке дождя мигающий огонек. Да ведь это у камня! У Соловецкого камня! У скромного, неприметного памятника миллионам погибших – таких же, как и мои. Совсем недавно мы открывали его, я выступал здесь, и

на меня глядели глаза тысяч людей, которых привела сюда печаль, память, иногда отчаяние.

Я пошел к своему камню. Когда мы его торжественно открывали, это был просто камень, это был памятник, это было – пусть маленькое и скромное, но сооружение. А теперь это было другое. Под куском целлофана горела свеча, рядом с ней лежали два яблока, веточка рябины. Мокрые цветы лежали на камне, на подиуме, к которому были прислонены скромные размякшие венки. Надписи на их лентах уже нельзя было разобрать. Кто-то прислонил к камню любовно и тонко сделанный деревянный небольшой крест, кто-то положил листок со стихами. Десятка полтора людей стояли вокруг и молчали. Давно уже испарился запах ладана, следы молебствий и панихид. И теперь это был уже не памятник, это была могила. Вот такая обжитая, давным-давно обмеленная могила, какая бывает на старых, но еще действующих кладбищах.

Как и другие возле меня, я снял шапку, дождь или слезы текли по моему лицу, но я этого не замечал и думал о том, что «все души милых на высоких звездах...». И судьба снова привела меня в этот дом, чтобы прикоснуться к жизни моей и моих близких. Мне 82 года, я должен был это снова пережить, я стою у могилы десятков миллионов людей, и среди них не потеряны, не растворились лица, голоса Оксаны, Софьи Александровны... И я могу их всех вспомнить и о них рассказать. И если жизнь так распорядилась со мной, значит, так и должно быть...

Еще мне не пора.

ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА

Субботний летний вечер уже давно начался, и мне бы следовало быть в пути. На свой короткий «уик-энд» я обычно уходил в Вожаель. И уже привык к тридцатикилометровой пешей прогулке от Первого лагпункта до Комендантского. А через сутки – к такой прогулке назад. Зимой я это расстояние проходил быстро. Зимняя накатанная дорога была тверда как асфальт, воздух «бодрил», и я преодолевал почти марафонское расстояние быстро и даже без особой усталости. Летом было

намного труднее шагать по мелкому зыбучему песку, размолотому колесами грузовиков. И я пользовался любой возможностью найти какую-нибудь попутную машину.

Такая машина стояла перед вахтой и для путешественника выглядела очень соблазнительной. Это был легковой вездеходик – «козлик», сделанный по образцу американского «джипа». На этой игрушке можно до Вожаеля пролететь за час-полтора. На вездеходе несколько часов назад приехало высокое медицинское начальство: начальник нашего санотдела привез полковника – заместителя начальника санотдела ГУЛАГа. Почему бы не попробовать поехать с ними? Все же я вроде бы и вольный, а следовательно – и ихний товарищ!

Начальство вышло из вахты и направилось к своему экипажу. Я подошел к начальнику санотдела лагеря:

– Товарищ, майор! Если у вас в машине есть место, пожалуйста, подвезите меня в Вожаель.

Санотдельский майор был, в общем-то, вполне сносным и даже свойским медицинским администратором. Я на это рассчитывал, и не ошибся. Высокий полковник, с зелеными петличками и медицинской змейкой, был со мной изысканно вежлив. Я уселся позади, рядом с ним, и наш «козлик» попер по песчаным буграм. Майор и полковник продолжали беседу, начатую, очевидно, еще в зоне. В отличие от нашего майора, всю свою послеинститутскую жизнь проведшего в лагерях, полковник в нашем ведомстве был новичком. Он окончил Военно-медицинскую академию, все время служил в армии, но я, конечно, не мог уяснить из разговора двух старших офицеров, почему полковник очутился в ГУЛАГе.

Говорил больше полковник. Он рассказывал о своей фронтовой работе, об интересных встречах. Особо ему посчастливилось на одного подчиненного: он был главным хирургом той армии, где полковник состоял начальником медслужбы. Хирург был зятем Калинина. Это не только давало какие-то заметные преимущества медслужбе армии, но и дало возможность моему соседу по автомобилю познакомиться с самим Михаилом Ивановичем. С калининским зятем он поехал в командировку в Москву и там был приглашен на дачу, где запросто обедал и беседовал со знаменитым главой нашего государства.

У полковника от волнения дрожал голос, когда он рассказывал об обаянии Калинина, о его скромности, принципиаль-

ности, о великом уважении, с которым к нему относились в стране. Потом он перешел к похвалам его зятю, высказал сожаление о том, что жизнь их сейчас разделила, рассказал майору, что его бывший подчиненный сейчас является армейским хирургом в таком-то месте.

...И тут меня дернул черт!.. Я сказал полковнику, что зять Калинина сейчас является главным хирургом такого-то фронта и находится совсем в другом городе... Полковник некоторое время молчал, потом повернулся ко мне и с убийственной вежливостью спросил:

– Извините, но откуда вы это знаете?

Это было сказано так, что моя честь не могла такое стерпеть. И я совершенно спокойно ему ответил:

– Мне это говорила его жена, Лидия Михайловна. Полковник довольно долго молчал, переваривая столь неожиданную информацию, полученную от человека, чье прошлое не оставляло никаких сомнений. Потом он не выдержал:

– Вы меня еще раз извините... Но когда вам это говорила Лидия Михайловна?

...Отступать мне уже было почти некуда.

– Недели две назад...

На этот раз полковник молчал еще дольше. На лице его отражалась умственная работа. Очевидно, она ни к чему не привела, потому что, снedaемый вопросами, на которые не мог найти логического ответа, он снова обратился ко мне:

– Ради бога, извините мою назойливость... Но где вам об этом говорила Лидия Михайловна?

...Господи! Ну зачем я ввязался в эту историю?! И тут еще наш майор! И черт его знает, что еще из-за этого дурацкого разговора произойдет?! Но что я могу теперь делать?..

– Она мне об этом говорила в Вожаеле.

На этот раз реакция полковника была мгновенной:

– Нет, я ничего совершенно не понимаю! Что могла Лидия Михайловна делать здесь, в Вожаеле? Чего ради Лидия Михайловна могла приехать в Вожаель?

...Я молчал как убитый. Чего я буду отвечать? Может, этому полковнику и не положено знать, что знают здесь все?..

– Майор! Вы не можете мне ответить на этот вопрос? Что могла делать в Вожаеле Лидия Михайловна Калинина?

Майор совершенно спокойно сказал:

– А на свиданку она приезжала.

– То есть как это – на свиданку?! К кому она могла приезжать на свиданку – как вы говорите?..

– Да к матери своей. Она заключенная у нас тут на Комендантском.

При всем своем довольно богатом жизненном опыте, я редко встречал такую шоковую реакцию, какая приключилась с полковником. Он схватился руками за голову и с каким-то мычанием уткнул голову в колени. Как припадочный, он раскачивался из стороны в сторону, бессвязный, истерический поток слов из него вытекал бурной, ничем не сдерживаемой рекой...

– Боже мой! Боже мой!.. Нет, нет, это нельзя понять! Это не в состоянии вместиться в сознание! Жена Калинина! Жена «всесоюзного старосты»! Да что бы она ни совершила, какое бы преступление ни сделала, но держать жену Калинина в тюрьме, в общей тюрьме, общем лагере!!! Господи! Позор какой, несчастье какое!! Когда это? Как это? Может ли это быть?! А как же Михаил Иванович?! Нет, не могу поверить! Этого не может быть!..

Полковник вытянулся, почти привстал в машине.

– Майор! Я желаю ей представиться! Вы меня должны представить ей!..

Я был сердит на себя, что влез в этот разговор. Ни повод к полковничьей истерике, ни сама истерика не вызывали у меня особенного веселья. Но идиотские слова заместителя санотдела ГУЛАГа чуть меня не рассмешили. Я себе моментально представил, как сидит Екатерина Ивановна в своей каморке, в бане на Комендантском, и со свойственной ей скрупулезностью, стеклышком счищает гнид с серых, только что выстиранных арестантских кальсон, а в это время ей приходит почтительно «представиться» этот полковник...

В оправдание полковника следует сказать, что его бурная реакция была, в общем-то, совершенно естественной и человеческой. Даже ко всему привычное сознание с трудом примирилось, что жена главы государства, знаменитого, наиуважаемого деятеля партии, ведет жизнь обыкновенной арестантки в самом обыкновенном лагере... Шок от такого известия испытывали люди и более грамотные, нежели военный врач, недавно начавший работать в лагерях.

Нечто подобное случилось даже с Рикой. Именно от нее я и узнал, что Екатерина Ивановна находится в нашем лагере.

Однажды, когда она гостила у меня на Первом, она рассказала, что очень подружилась с одной старушкой-арестанткой. Старуха прибыла из другого лагеря, в формуляре у нее сказано, что использовать ее можно только на общих подконвойных работах, но врачи в Комендантском дали ей слабую категорию, ее удалось устроить работать в бане: счищать гнид с белья и выдавать это белье моющимся. Екатерина Ивановна живет в бельевой, она наконец-то отдыхает от многих лет, проведенных на общих тяжелых работах, и Рика после работы в конторе ежедневно к ней заходит: занести что-нибудь из «вольной еды», посидеть, поговорить с умной и славной старухой. Она нерусская, какая-то прибалтийка, но давно обрусела и мало похожа на работницу, хотя и сказала как-то, что давно-давно работала на заводе... Да и фамилия у нее вполне русская...

– А какая?

– Калинина.

– Это жена Михаила Ивановича Калинина.

...Рика не впала в истерию, подобно полковнику, но категорически отказывалась признавать за правду мои слова. Во-первых – не может быть!.. А затем – при ее отношениях с ней, она не могла бы утаить это от нее. Да и об этом не могли бы не знать!..

Но я-то был почти уверен в том, что это так. Я не был знаком с Екатериной Ивановной. Но она была в дружеских отношениях с родителями моей жены и, когда летом тридцать седьмого года вокруг нас образовалась пустота, когда исчезли все многочисленные друзья и знакомые, перестал звонить телефон, Екатерина Ивановна была одной из немногих, кто продолжал справляться о здоровье Оксаны – моей жены, и доставала ей из Кремлевской аптеки недоступные простым смертным лекарства. В конце тридцать седьмого года этот источник помощи иссяк: мы узнали, что Екатерина Ивановна арестована.

Собственно говоря, ни медицинскому полковнику, ни Рике, ни кому бы то ни было не следовало приходиться в состоянии дикого недоумения от того, что в тюрьме сидит жена члена Политбюро. В конце концов, если запросто арестовывают и расстреливают самих членов Политбюро, то почему же каким-то иммунитетом должны пользоваться их жены?..

А мы уже знали, что Сталин, при своем увлечении передовой техникой, не расстается со старыми привычками: у каждого из его соратников обязательно должны быть арестованы близкие. Кажется, среди ближайшего окружения Сталина не было ни одного человека, у которого не арестовывали более или менее близких родственников. У Кагановича одного брата расстреляли, другой предпочел застрелиться сам; у Шверника арестовали и расстреляли жившего с ним мужа его единственной дочери – Стаха Ганецкого; у Ворошилова арестовали родителей жены его сына и пытались арестовать жену Ворошилова – Екатерину Давыдовну; у Молотова, как известно, арестовали его жену, которая сама была руководящей... Этот список можно продолжить... И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина.

Ну, а считаться с Калининым перестали уже давно. Я был на воле, когда арестовали самого старого и близкого друга Калинина, его товарища еще по работе на Путиловском – Александра Васильевича Шотмана. Семья Шотмана была мне близка, я дружил с его сыном и от него узнал некоторые подробности, весьма, правда, обычные для своего времени. Шотман был не только другом Калинина, старейшим большевиком, руководителем знаменитой Обуховской обороны, человеком близким к Ленину... Он был еще и членом Президиума ЦИКа, а следовательно, формально личностью неприкосновенной, и уж во всяком случае человеком, чей арест должен был быть формально согласован с Председателем ЦИКа...

Ну так вот: пришли ночью к Шотману, спросили первое, что спрашивали у старых большевиков: «Оружие и ленинские документы есть?» – и забрали старика. Жена Шотмана, еле дождавшись утра, позвонила Калинин. Михаил Иванович обрадовался старой своей приятельнице и запел в телефон:

– Ну, наконец-то хоть ты позвонила. Уже почти неделю ни ты, ни Шуручка не звонили, это свинство оставлять меня одного сейчас, ну как у Шуручки радикулит, как дети...

Жена Шотмана прервала радостно-спокойные слова старого друга:

– Миша! Неужели тебе неизвестно, что сегодня ночью взяли Шуру?..

...Долгое-долгое молчание в телефонной трубке, и затем отчаянный крик бедного президента:

— Я ничего не знаю!.. Клянусь, я ничего не знаю!!!

Вечером того же дня жена Шотмана также была арестована. Сколько таких звонков пришлось услышать Калинину?

Рика не хотела слушать никаких моих доводов. И я тогда предложил ей при первой же встрече с Екатериной Ивановной передать ей привет от меня и спросить ее от моего имени: знает ли она что-либо о Шотмане и его жене... На другой день мне позвонили с Комендантского, и я услышал охрипший от волнения голос Рики:

— Ты был прав! Все так, как ты говорил!.. Потом Рика мне рассказывала об этой драматической сцене... Она пришла в баню к Екатерине Ивановне и, запинаясь, сказала то, что я ее просил сказать... Екатерина Ивановна, при всей своей эстонской выдержке, побелела... Тогда Рика спросила ее:

— Неужели это правда? Неужели вы?..

...И Екатерина Ивановна бросилась на шею Рике, и обе стали плакать, так как это положено всем женщинам на свете. Даже если они обладают выдержкой и опытом, какие были у жены нашего президента.

Екатерину Ивановну «взяли» довольно банально, без особого художественного спектакля. Просто ей позвонили в Кремль из ателье, где шилось ее платье, и попросили приехать на примерку. В ателье ее уже ждали...

Екатерина Ивановна, как я уже говорил, обладала эстонской неразговорчивостью, конспиративным опытом старой революционерки и жены профессионального революционера. Она не любила рассказывать о всем том, что происходило после звонка из ателье. Но мы знали, что сидела она тяжело. У нее в формуляре была чуть ли не половина Уголовного кодекса, включая и самое страшное: 58-8— террор. Формуляр ее был переkreщен, что означало – она никогда не может быть расконвоирована и должна использоваться только на общих тяжелых подконвойных работах. Из тех десяти лет, к каким она была осуждена, Екатерина Ивановна большую часть отбыла на самых тяжелых работах, на каких только использовались в лагере женщины. Но она была здоровой, с детства привыкшей к труду женщиной и все это перенесла. Только тогда, когда из другого расформированного во время войны лагеря она попала к нам, удалось ее пристроить на «блатную» работу.

Во время последнего года войны в жизни Екатерины Ивановны стали происходить благодатные изменения. Вероятно, Калинин не переставал просить за жену. Что тоже отличало его от других «ближайших соратников». Молотов никогда не заикался о своей жене, а его дочь, вступая в партию, на вопрос о родителях ответила, что отец у нее – Молотов, а матери у нее нет... Словом, в последний год войны к Екатерине Ивановне стали регулярно приезжать ее дочери – Юлия и Лидия. На время приезда в поселке выделяли комнату, обставляли ее шикарной мебелью и даже коврами – все же дочь Калинина! – и заключенной жене президента разрешали три дня жить без конвоя в комнате у своей дочери...

Когда в первый раз приехала Лида, Екатерина Ивановна передала мне через Рику приглашение «в гости». Я тогда и познакомился с ней. Сидел, пил привезенное из Москвы превосходное вино, вкус которого я давно забыл, ел невозможные и невероятные вкусности, включая традиционно-обязательную для номенклатуры – икру... И слушал рассказы человека, только что приехавшего из Москвы.

Страшновато – даже для меня – было слушать о том, как много и часто Калинин униженно, обливаясь слезами, просил Сталина пощадить его подругу жизни, освободить ее, дать ему возможность хоть перед смертью побыть с ней... Однажды, уже в победные времена, разнежившийся Сталин, которому надоели слезы старика, сказал, что ладно – черт с ним! – освободит он старуху, как только кончится война!.. И теперь Калинин и его семья ждали конца войны с еще большим, возможно, трепетным нетерпением, нежели прочие советские люди. Вот тогда-то, во время одного из таких свиданий, я услышал, где находится зять Калинина, чем и вызвал психический криз у заместителя начальника санотдела ГУЛАГа.

После трех дней свидания заключенную Калинину опять переводили на лагпункт, и она снова бралась за свое орудие производства: стеклышко для чистки гнид.

Когда будущий романист, воспевающий великую личность гениального убийцы, будет описывать чувства, охватившие Сталина, когда война была завершена, пусть он не забудет написать, что он – в своей благостыне – не забыл и о такой мелочи, как обещание, данное Михаилу Ивановичу Калинину. Почти ровно через месяц после окончания войны пришла те-

леграмма об освобождении Екатерины Ивановны. Правда, в телеграмме не было указано, на основании чего она освобождается, и администрация лагеря могла выдать ей обычный для освобождающихся собачий паспорт, лишивший ее права приехать не только в Москву, но и в еще двести семьдесят городов... Спешно снова запросили Москву, расплывшийся от улыбок и любезностей начальник лагеря предложил Екатерине Ивановне пожить пока у него... Но Екатерина Ивановна предпочла эти дни пожить у Рики. Через несколько дней машина с начальством подкатила к бедной хижине, где обитала Рика, начальники потащили чемоданы своей бывшей подопечной, и Екатерина Ивановна, провожаемая Рикой, отбыла на станцию железной дороги.

Осенью сорок пятого года, приехав в отпуск в Москву, я бывал у Екатерины Ивановны. Мне это было трудно по многим причинам. В том числе и потому, что Екатерина Ивановна жила у своей дочери в том самом доме, в котором провела большую часть своей короткой жизни Оксана, – доме, в котором жил и я... Лидия Калинина жила как раз под нашей бывшей квартирой, и проходить по этому двору, по старой, воскресшей привычке поднимать глаза к окнам нашей комнаты – было тяжело.

Екатерина Ивановна бывала рада моим приходам. Ехать к мужу в Кремль она не захотела, и Михаил Иванович понимал, что ей это не нужно. Очевидно, что сам он был к этому времени избавлен от каких-либо иллюзий. Во всяком случае он не посоветовал Екатерине Ивановне – партийке со стажем с конца прошлого века – восстанавливаться в партии. Когда в отпуск в Москву приехала Рика, она много общалась с Екатериной Ивановной, ходила с ней в театры, а после отъезда в Вожаель получала от нее милые письма.

Легко понять, почему Екатерине Ивановне не захотелось жить в Кремле. Это был страх когда-нибудь случайно (хоть это было очень маловероятно) встретиться со Сталиным. И все же ей этого не удалось избежать.

Когда Калинину дали возможность увидеть свою жену, он уже был смертельно болен. Через год, летом сорок шестого года, он умер. Мы были тогда еще в Устьвымлаге. Со странным чувством мы слушали по радио и читали в газетах весь полный набор слов о том, как партия, народ и лично товарищ Ста-

лин любили покойного. Еще было более странно читать в газетах телеграмму английской королевы с выражением соболезнования человеку, год назад чистившему гнид в лагере... И уж совсем было странно увидеть в газетах и журналах фотографии похорон Калинина. За гробом покойного шла Екатерина Ивановна, а рядом с нею шел Сталин со всей своей компанией...

...Значит, все-таки произошла эта встреча, произошел этот невероятный кромешный маскарад, до которого не додумался и Шекспир в своих хрониках... Как ни бесчеловечно было бы задать Екатерине Ивановне вопрос о ее чувствах при этой встрече, но я бы это сделал, доведись мне ее снова увидеть. Но наше с Рикой пребывание на воле было коротким, а когда в пятидесятых годах мы вернулись в Москву, Екатерины Ивановны не было в городе.

Однажды в исторической редакции Детгиза я застал Юлию Михайловну Калинину, только что выпустившую для детей книгу о своем отце. Меня с ней познакомили. Я сказал:

– Мы с вами знакомы, Юлия Михайловна.

Юлия Михайловна внимательно в меня всмотрелась:

– Да, да, конечно, мы с вами встречались. Наверняка, в каком-то санатории. В Барвихе или Соснах, да?

– Нет, это был не совсем санаторий. Это место называлось Вожаель...

И в глазах дочери моей солагерницы я увидел возникшее чувство ужаса и жалости – то самое, какое я видел много лет назад при первом нашем знакомстве.

КОСТЯ ШУЛЬГА

Незнакомый женский голос, захлебываясь, торопливо рассказывал мне по телефону: она сестра Константина Шульги. В записной книжке брата нашла мой телефон и зная, как он ко мне относился, решила мне позвонить и сказать, что Костя умер в мае, умер внезапно, от инфаркта, потому что очень переживал, что его жена на него написала в ОБХСС, а Костя начал первничать, курил все время и не спал, все хо-

дил по комнате и ходил, ни с кем не разговаривал, а восемнадцатого мая она к нему пришла, а Костя лежит мертвый на полу... Женщина прервала свой рассказ, заплакала и повесила трубку.

...Умер, значит, Костя!.. Как странно, что даже он не выдержал. Было что-то успокаивающее в его невероятной устойчивости, жизненном оптимизме, абсолютной уверенности, что всегда можно приспособиться, вывернуться, адаптироваться, выскользнуть, договориться, переждать, начать сызнова... Умер он, кажется, сорока шести лет и почти всю свою жизнь жил как ванька-встанька: как его ни старались уложить – тут же подымался... Костя внешне чем-то напоминал эту старую и милую игрушку: круглое доброе лицо, большие умные глаза, почти всегда улыбающийся рот.

Когда наш этап пришел на Усть-Сурмог – первый из лагунктов моего нового срока – он, подождав, пока разложусь и устроюсь на нарах, подошел ко мне, улыбаясь, назвал себя, сказал, что работает счетоводом продстола и очень естественно и просто предложил мне – пока я не устроюсь – сахар, махорку, хлеб и банку мясных консервов. Я внимательно посмотрел на Костю: на его хитром доброжелательном лице не было и тени благостыни и милосердия.

– Вы, Шульга, всем новозапникам предлагаете харчи и табак?

– Ну зачем вы такое говорите? Мы же не в камере! Нет, я как будущему товарищу по работе. Я был на приемке этапа и знаю, что вы – нормировщик...

– Пока что я на общих...

– Все равно будете нормировщиком!

Костя был битый арестант, отлично понимал, что к чему... Действительно, через какое-то время я стал нормировщиком. Я не согласился на Костино предложение войти в привилегированное сообщество «вместе кушаем», состоявшее из него, прораба строительства и старшего контрольного десятника. Нормировщику нельзя входить в такие компании, не утрачивая своей самостоятельности. Но с Шульгой я работал рядом, и мне было интересно следить за ним. В нем не было наглости и ненужного налета хищничества, характерных для людей, занимавших этот чрезвычайно важный в лагере пост. Костя, конечно, – как и все счетоводы продстола – комбини-

ровал, ловчил, обильно кормил себя и свою компанию, – словом, действовал, как все. Но он никого не прижимал, ни у кого ничего не отнимал и старался всем помочь. Не могу сказать, что он это делал по природной и бескорыстной доброте, хотя, несомненно, был добрым человеком. Доброжелательство входило в жизненную философию Кости, оно было выработано в нем многими годами беспризорничества, войны, тюрем и лагерей. Костя Шульга был убежден, что добро не пропадает... Оказывая кому-нибудь услугу, он знал, что создает некий резерв помощи, в которой он, может быть, будет нуждаться. Шульга был хитрым, смекалистым и очень оборотистым парнем, с золотыми руками лекальщика высшего разряда. В нем ощущалось непоколебимое физическое и душевное здоровье, полная уверенность, что он способен всех перехитрить, обвести, пережить.

Конечно, как и следовало ожидать, Костя множество раз «горел», попадал на такие страшные штрафняки, как «Кровавый Сим», но нигде не пропадал, вывертывался и снова жил веселым, улыбающимся привилегированным арестантом. Было бы неточно определить наши отношения как дружбу. В то время моего второго лагеря я оказался довольно уставшим, отчужденным человеком, мало подходящим для дружбы с веселым парнем намного меня моложе. Но Костя относился ко мне с какой-то почтительной нежностью, что ли. В этом не было ни тени подобострастия, ни чего-либо другого – унижительного. Он мне верил, а я верил ему. Поэтому я довольно полно знал историю его жизни. Костя был одной из миллионов жертв самой странной юстиции, которая когда-либо существовала.

* * *

Никогда не пойму, зачем надобно было иметь такие законы, такой суд! Мне казалось, что наша юстиция могла быть, подобно нашей Конституции, – самой лучшей, самой прогрессивной в мире. И это было бы вполне в духе ее создателя. Сталин почти никогда не писал или не говорил ничего, что противоречило бы справедливости, гуманности, закону... Просто, говоря одно, он делал совершенно противоположное. И если он с трибуны пленума ЦК говорил: «Мы не дадим вам крови

нашего Бухарчика, любимца и вождя партии», то ясно было, что участь Бухарина уже предрешена... И если Сталин – как лозунг – провозглашал, что «самый ценный капитал – это люди», то это означало, что уже целые предприятия переведены на изготовление колючей проволоки для лагерей; сказав почти дрогнувшим голосом, что «дети за отцов не отвечают», он тут же отдавал распоряжение, чтобы не только дети, но и все родственники уничтожаемых партийно-государственных чиновников были незамедлительно арестованы и отправлены в лагерь и ссылку...

Во времена Сталина суд и Уголовный кодекс составляли лишь ничтожную часть механизма репрессий. «Внесудебный порядок» был легальным и общеизвестным установлением. Каждый, кто засекался, давал подписку о неразглашении, что ему известно о том, что за всякое нарушение, известное или неизвестное, он «будет отвечать во внесудебном порядке». Никогда еще русское слово «порядок» не приобретало такой смысл! Если верить Далю, то «порядок» означает «правильное устройство», «соблюдение стройности»; оно имеет синонимы: «основательно, дельно, обдуманно, не зря, не как попало»... «Порядок», который у нас назывался «внесудебным», давал возможность одному или нескольким людям заочно присуждать арестованных к любому сроку заключения – вплоть до двадцати пяти лет, – к каторжным работам, к пожизненной ссылке, к расстрелу... Употребленное мною слово «присуждать» звучит здесь весьма неточно, но мне трудно подобрать другое слово... Какое уж там «присуждать»! Составляли список и убивали. Или же сначала убивали, а потом составляли список. Или же убивали и никакого списка не составляли. Высокопоставленные любители, вроде Багирова, убивали тут же в кабинете самолично.

Палачество – приведение в исполнение казней – утратило в наше время всю вековую зловещность этой профессии. Пушкин усматривал падение общественных нравов в том, что образованные люди позволяют себе издавать и читать записки парижского палача. Но больше чем через сто лет после Пушкина Андрей Свердлов показал мне рукопись сделанной им литературной записки воспоминаний коменданта московского Кремля Малькова. В этих грубых и не самых правдивых воспоминаниях несколько страниц было посвящено

подробнейшему описанию того, как сам Мальков расстреливал Каплан; как с помощью присутствовавшего при этом Демьяна Бедного он тащил ее труп в Кремлевский сад, как они этот труп облили керосином и сжигали... Я сказал полуавто-ру воспоминаний, что хвастливое описание казни женщины – отвратительно и несомненно будет издательством вычеркнуто... Ничего. Вычеркнули лишь издевательства Малькова над тем, что поэт Демьян Бедный неумело засовывал труп в машину. Все остальное – оставили, книга вышла уже тремя изданиями и, наверное, будет переиздаваться и дальше. В одном из своих старых фельетонов Михаил Кольцов писал, что мы в установлении правопорядка бесконечно далеко ушли от того времени, когда полуграмотный матрос, ставший председателем ЧК, писал на куске оберточной бумаги: «Расстрелять купца Кутепаткина как гидру мировой буржуазии, а вместе с ним еще двадцать девять человек в его камере»... Нам никогда не станет известным, вспоминал ли этот фельетон Михаил Кольцов в месяцы и недели перед тем, как его убили. Но нам-то уж совершенно очевидно, что судьба купца Кутепаткина и его сотоварищей по камере была завидной по сравнению с Кольцовым, с теми, кто стали объектами нашего современного «правопорядка».

Ну не ясно ли, что при неограниченных возможностях внесудебных репрессий, расправ, предупредительно-пресека-тельных «изоляциях», «ликвидациях» и пр. и пр. – у нас была возможность ту самую малую часть дел, которые передавали в суд, обставлять самым наилучшим образом: с абсолютной гласностью суда, чопорными судьями в париках, придирчивыми и на-стырными адвокатами в мантиях, присяжными – словом, со всеми онерами респектабельного и благопристойного правосудия!

Ничего подобного! И главные законы, и суд, призванный их осуществлять, носили столь же откровенно разбойничий характер, как и «внесудебный порядок». Начать с того, что сами эти законы были не только беспредельно жестоки, но и необыкновенно гибки, растяжимы, как теперешние «безразмерные» носки из эластичного материала: их можно было применять к любому человеку, за любой проступок и давать такие сроки, какие судье хотелось или же какие ему указывались негласными инструкциями, директивами, или же – попросту – телефон-

ным звонком из множества учреждений, командовавших судами.

В мировой литературе существует классический святочный рассказ про голодного мальчишку, укравшего булку. Попробуем представить себе эту трогательно-драматическую ситуацию, происходящую в ту самую милую зиму 37/38 годов, когда советским детям была, наконец, возвращена елка и веселый праздник вокруг нее. Значит, голодный мальчик, которому только что исполнилось четырнадцать лет, ворует бывшую «французскую», а ныне «городскую» булку, стоимостью в три копейки. Если мальчишка немного поднаторел в юстиции и правосознание в нем развито достаточно сильно, то он подойдет в магазине, пока гражданин или гражданка не купят эту булку, а уж затем у них ее сопрет. Попавшись на месте преступления он в этом случае получит один год тюрьмы по указу «О мелких кражах». Но если молодой преступник не имеет юридического опыта и, движимый нетипичным для нашего общества голодом, он эту булку свистнет с прилавка магазина, то уже и преступление это по-другому называется, и карается оно по-другому. Теперь это уже является «хищением социалистической государственной или кооперативной собственности». И как бы судья ни жалел неразумного мальчишка, он ему меньше трех лет заключения дать не может. Это при «смягчающих» обстоятельствах. А вообще-то ему за булку положено семь лет. И не приведи Бог, чтобы этих мальчишек было двое! Тогда это «сообщество», это уже «коллективное хищение», и десять лет наказания за эту булку – вовсе не предел. Был у нас на лагпункте один молодой человек. Демобилизовавшись, он поступил работать на стекольный завод возле Махачкалы «Дагестанские огни». Электричества в общежитии не было, жгли керосиновые лампы, и он со своим товарищем по комнате выбрали из огромной кучи стеклянного боя и брака два еще годных ламповых стекла. На проходной их задержали. Они получили каждый по пятнадцать лет. Ну, ладно – они ведь взрослые, а булку-то украл ребенок! Но, создавая современную модель рождественского рассказа, я сознательно написал, что герою рассказа исполнилось четырнадцать лет. Ибо, начиная с этого возраста, в применении наказаний и отбывания наказаний ребенок был полностью уравнен со взрослыми.

Нет, мне не удастся выдержать эту «отстраненную» интонацию в рассказе о детях, попавших под колеса тюремно-лагерной машины. Из всех жестокостей жестокость к детям самая страшная, самая противостественная в своей античеловечности.

Мне было семнадцать лет. Я делал первые неуверенно-самоуверенные шаги в журналистике, когда «Комсомолка» мне поручила написать очерк о тюрьме для детей. Несколько дней я провел за кирпичной оградой бывшего Даниловского монастыря. Потом написал очерк, который я назвал так, как называлась тюремная стенгазета: «Фабрика сознательного гражданина». Все, о чем писалось в очерке, было правдой. Весь очерк был предельно лжив. Да, в этой тюрьме не было ни голода, ни холода, и были стенгазеты, и кружки, и кино, и почти чистые простыни на железных койках. Но я ни слова не написал о том, как вздрагивают дети от окрика надзирателя; о том, как более старшие избивают младших: о тюремной иерархии, в которой чем ты меньше и слабее, тем тебе хуже... Я не написал о том, что малые дети становятся наложниками старших полубандитов, с чьей помощью тюремная администрация справляется с населением тюрьмы. О многом я не написал и всю последующую жизнь, и до сих пор чувствую свою ответственность за эту ложь. Самую непростительную из многой лжи, написанной и сказанной мною.

Я не знаю, насколько изменились порядки в детских тюрьмах с тех пор. Они стали по-другому называться. Думаю, там мало что изменилось. Но все же – это специальные тюрьмы для детей. Мне, начиная с тридцать восьмого года, пришлось увидеть другое – детей в общих тюрьмах и лагерях. Из всего страшного – это было самое страшное.

«Малолетки» – так назывались малолетние арестанты. Они были разные: малолетние городские проститутки и крестьянские девочки, попавшие в лагерь за колоски, собранные на плохо убранном поле; профессиональные воры и подростки, сбежавшие из «спецдомов», куда собирали детей арестованных «ответственных»... Они вступали в тюрьму и лагерь разными по происхождению и причинам, приведшим их сюда. Но вскоре они становились одинаковыми. Одинаково «отпетыми» и

страшными в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности. Все-таки даже в общем лагере, находясь «на общих основаниях» – малолетки пользовались какими-то неписаными привилегиями. Надзиратели и конвой их не убивали. Малолетки это знали. Впрочем, они бы не боялись, даже если бы их и убивали.

Они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда боялись заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, разнузданное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если «паханы» кого-нибудь проигрывали и надобно было убить – это делали – за пайку хлеба или даже из «чистого интереса» – мальчишки-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов... Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми.

...В сорок втором году в лагерь начали поступать целые партии детей. История их была коротка, ясна и страшна. Все они были осуждены на пять лет за нарушение закона военного времени: «О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности». Это были те самые «дорогие мои мальчишки» и девчонки 14–15 лет, которые заменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт.

Про этих, работавших по десять часов, стоя на ящиках – они не доставали до станка, – написано много трогательного и умиленного. И все написанное было правдой.

Не было только написано о том, что происходило, когда – в силу обстоятельств военного времени – предприятие куда-нибудь эвакуировалось. Конечно, вместе с «рабсилой». Хорошо еще, если на этом же заводе работала мать, сестра, кто-нибудь из родных... Ну, а если мать была ткачихой, а ее девочка точила снаряды?.. На новом месте было холодно, голодно, неустроенно и страшно. Многие дети и подростки не выдерживали этого и, поддавшись естественному инстинкту, сбегали к «маме». И тогда их арестовывали, сажали в тюрьму, судили, давали пять лет и отправляли в лагерь.

Пройдя через оглушающий конвейер ареста, обыска, тюрьмы, следствия, суда, этапа – эти мальчишки и девочки прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса с ними

происшедшего всякую сопротивляемость. Они попали в ад, и в этом аду жались к тем, кто им казался более сильным. Этими сильными были, конечно, блатары и блатарки.

На «свеженьких» накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам. За пайку, за банку консервов, а то и за самое ценное – глоток водки. А перед тем как продать девочку – ошупывали ее как куру: за девственниц можно было брать больше. Мальчишки становились «шестерками» у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных. Они были слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Любой блатарь, приобретя за пайку такого мальчишку, мог его бить, морить голодом, отнимать все, что хочет, вымещать на нем все беды своей неудачливой жизни.

Мы – «пятьдесят восьмая» – ничего с этим не могли сделать. В глазах этих детей и подростков мы были лагерными «придурками», не имеющими никакой власти, никакой силы, никакой привлекательности, которую давало презрение к законам и начальникам. Никто из нас не мог на разводе, перед тысячной колонной арестантов, сказать начальнику лагпункта: «Мотал я твою работу, твою веру, и тебя – на общих основаниях», – и спокойно пойти в сторону карцера...

Я был уже «вольным», когда однажды летом пришел на командировку, где врачом был Александр Кузьмич Зотов, успевший освободиться, получить новый срок и снова попасть на одну из командировок нашего лагпункта.

Кузьмич был на приеме, натренированный санитар принес мне в кабинку санчасти привилегированный больничный обед. Есть я не хотел, но и обед было бы глупо отсылать назад на кухню. Опустелый лагерный двор подметала какая-то белокурая девчушка, совсем девочка. Было что-то деревенски-уютное в этой девочке, в ее нехитрой работе.

Я позвал ее. Спросил, что она делает на командировке. Ответила: на ошкуровке занозила палец, он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена... Я сказал ей:

– Садись к столу и ешь.

Ела она тихо и аккуратно, было в ней еще много ощутимо домашнего, воспитанного семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцветшего, застиранного платица из лагерной бумазеи. Мне почему-то казалось,

что моя Наташка должна быть такой, хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы уже десяти дней от роду...

Девочка послала, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду. Потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне не улыбочное свое лицо.

– Мне лечь или как, – спросила она. А потом, не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, так же – без улыбки – оправдывающее сказала:

– Меня ведь без этого не кормят...

И убежала. Конечно, я представлял собой пугающее и непривлекательное зрелище, если и теперь, через тридцать с лишним лет, я начинаю плакать каждый раз, когда вспоминаю эту девочку, ее нахмуренное лицо, усталые и покорные глаза...

А теперь продолжу свой рассказ о том, что тогда называлось «законами» или еще как...

* * *

Каждый новый закон составлялся так, чтобы была возможность его ужесточения.

У нас на Первом была женщина, осужденная за нарушение закона об абортгах. Я эту женщину запомнил потому, что муж ее – капитан, обвешанный множеством орденов – во время войны, по разрешению своего командования, приезжал в лагерь на свидание с женой. А история этой женщины была такая: в награду за воинские подвиги офицеру-летчику разрешили недельный отпуск домой. Затем он уехал в свою часть, а жена его забеременела, что, очевидно, также входило в государственную политику. Но женщина не вняла государственным мотивам. Был сорок второй год, конца войне не было видно, у нее уже было двое детей. И она уговорила свою близкую приятельницу – медсестру – сделать ей аборт. Аборт был неудачным, официальная медицина быстро установила, что имело место нарушение закона, и неутомимая юстиция, засучив рукава, быстренько взялась за свое правое дело. По закону женщина, сделавшая себе аборт, уголовному наказанию не подлежит. Наказываются только две категории «преступников»: те, которые аборт делали, и те, которые укрывали первых... Короче, бедной женщине нужно было назвать свою при-

ятельница, которая, рискуя свободой, пошла на противозаконное деяние. Вероятно, судью очень разозлило упорное нежелание героини моего рассказа назвать преступника. И он послал эту женщину в тюрьму «за укрывательство аборта». На пять лет. Командование воинской части засыпало все юридические инстанции ходатайствами, посылало летчика в Москву и в лагерь: все было напрасно. Женщину освободили только по амнистии 1945 года.

Суд – любой суд! – имел совершенно неограниченные возможности для произвола. Некоторые ухищрения нашей юстиции были таковы, что я никогда бы не поверил в это, не прочитав документы, в которых все было написано черным по белому...

...Знаменитая «послесталинская» амнистия не распространилась на осужденных за «крупные хищения социалистической собственности». «Крупные» – это от пятидесяти тысяч и выше. Пришел ко мне один малознакомый пожилой зэк и почти плача просил написать ему заявление: «Ну, чтобы хоть они поняли, что ли!..» Почему-то считалось, что у меня «легкая рука», и таких заявлений мне приходилось писать немало. Я взял в руки обстоятельный, на нескольких страницах (не то, что мой) приговор и погрузился в изучение дела, поразившего даже мое, ко всему привычное, воображение...

Пострадавший, придя с войны, стал председателем колхоза. И, очевидно, был неплохим председателем. В голодную весну сорок седьмого года он быстро и хорошо провел посевную. Семена у него хранились настолько тщательно, что ни один килограмм не попал в отходы. А возможность отхода предусматривалась при закладке семян. И осталось после сева в колхозе восемь центнеров пшеницы. Так как полевые работы еще не кончались, а трактористы падали в обморок от голода, председатель колхоза провел через правление постановление о том, чтобы эти восемь центнеров раздать трактористам за трудодни... Но... Но, среди всяческих постановлений, которые тогда считались единственным двигателем экономики, было и весьма свежее постановление «Об усилении ответственности за разбазаривание семенного материала». Естественно, что доброты стукнули и председателя посадили. То, что он эту пшеницу не взял себе, а раздал на трудодни, не имело, конечно, значения. Он «расхитил». Но сколько? Государство платило колхозу

по восемь рублей за центнер. Это – по таблице умножения – значило шестьдесят четыре рубля, что юстицию не устраивало. Можно было бы перевести пшеницу на цену, по которой мука продавалась в магазине, если бы она продавалась... Но и это не устраивало жрецов правосудия. Они придумали интересное. Сначала они высчитали, сколько могло бы получиться хлеба, если бы эти восемь центнеров дали максимальный для этих мест урожай... Предполагаемый урожай они предполагаемо продали на черном рынке по предполагаемой наивысшей цене... Теперь предполагаемая сумма выручки достигла пятидесяти трех тысяч рублей. И эта сумма «хищений» – уже не как предполагаемая, а совершенно реальная – была записана моему председателю в приговор, каравший его заключением сроком на пятнадцать лет. Ну, не талантливо ли?! Но «рука» моя на этот раз действительно оказалась «легкой». По написанному мною заявлению Москва распространила амнистию на неудачливого председателя. Конечно, не отменила приговор, а амнистировала после того, как он уже отсидел треть срока.

* * *

«Внесудебный порядок» и «судебный порядок» не существовали изолированно друг от друга. Они сплетались, расплетались, сходились и расходились, они – как любят говорить критики о литературе – «взаимно обогащали друг друга»... От следователя зависело, по какому из этих видов «порядка» пустить дело. Практического значения для арестованного это не имело, так как даже срок, даваемый судом, фактически решался тем же следователем. Я имел возможность в этом убедиться на личном опыте.

Во «внесудебном порядке» существовало определение – «социально вредный элемент»: прямо-таки по смешной комедии Шкваркина... Вопрос о «вредности» решал неизвестный человек в известном доме. Естественно, что никто у него не мог спросить: почему он пришел к печальному выводу о том, что его подследственный – «социально вредный»? Вредный и все тут! Получи, голубчик, свои семь лет и благодари Бога, что у тебя бытовая статья, а не та самая!..

В гласных законах всегда были аналоги негласного «внесудебного порядка». Например, знаменитая статья 7-35. Она

карала сроком до семи лет людей «без определенного места жительства» и «без определенных занятий». Знаменитый английский «Закон о бродяжничестве», считающийся в истории беспримерным по своей жестокости, – трогательная детская забава по сравнению с нашим, родным 7-35! По нему уходили в лагерь не только проститутки, нищенки, непристроенные и неоформленные надлежачим образом инвалиды. По нему мог попасть почти любой человек. Имеет жительство, но суд почитает жительство это не совсем определенным; имеет занятие, но занятие это также лишено каких-то определенных свойств... Впрочем, мне нет надобности здесь подробно растолковывать этот закон. Ибо он один из тех законов, которые пережили Сталина. И сейчас существует закон «о тунеядцах», свежа еще память о том, как при либеральном Хрущеве арестовали и выслали как «тунеядца» прекрасного поэта Иосифа Бродского.

В любом из «порядков» нашей юстиции одна статья могла заменяться другой, исходя из самых разных соображений. Иногда это имело несомненные удобства и для арестанта. Наверное, мне стоит, именно в этой связи, рассказать историю Фридриха Платтена. Тем более что ее невозможно найти ни в энциклопедических справках, ни в книге, написанной о нем каким-то чиновником от истории. Речь идет о том Фрице Платтене, который был лидером левых швейцарских социал-демократов и организовал в 1917 году перевозку Ленина и других большевиков в «пломбированном» вагоне через Германию из Швейцарии в Россию. Платтен еще известен тем, что в январе 1918 года, когда автомобиль, в котором ехали Ленин, Крупская и Платтен, был обстрелян бандитами, он заслонил собой Ленина и был ранен. Ленин был крайне возмущен, что ни шофер, ни один из пассажиров не имели при себе оружия. Крупская тогда подарила Платтену маленький браунинг, на рукоятке которого велела выгравировать: «Спасителю нашего Ильича». Прошу читателя обратить внимание на этот пистолет. По законам драмы, как писал Чехов, он должен в конце действия обязательно выстрелить...

«Конец действия», естественно, произошел в тридцать седьмом. Учитывая, что Платтен был работником Коминтерна и родным его языком был немецкий, молодой, начинающий следователь выбивал из него признание, что он, Платтен, сызмальства работал в немецкой разведке. Подследственно-

му было уже под шестьдесят, ему невозможно было сопротивляться служебному энтузиазму молодого и здорового парня с железными кулаками и отсутствием совести. Но Платтен со слезами уговаривал своего палача приписать ему службу в любой разведке: английской, французской, бразильской, ватиканской – любой, кроме немецкой. Потому что, если он подпишет такое «признание», то останется документ, подтверждающий обвинение Алексинского, что переезд Ленина в Россию организован разведкой Германского генерального штаба... Как ни был туп и невежествен молодой разбойник, «ведший дело» Платтена, но и он смутился от упорства и просьб старика. Он перестал его бить и отпустил в камеру, дабы доложить начальству о странном арестанте. Платтен очень долго сидел в камере без допросов, пока решался вопрос о его судьбе. Конечно, для Вышинского было соблазнительно документальное подтверждение его заявлений о том, что Ленин прислан немецкой разведкой (а он это писал не только в 1917 году, но даже в начале 1918 года, когда редактировал в Москве правоменьшевистскую газету), но от этого пришлось отказаться...

И тогда «выстрелил» тот самый пистолет... Его же нашли при обыске, Платтен бережно хранил подарок Крупской. Платтен получил восемь лет по совершенно банальной, почти бытовой статье: «незаконное хранение огнестрельного оружия». Получил, поехал в лагерь, где и умер от дистрофии в первые годы войны.

* * *

Кажется, первой статьёй многотомного царского «Свода законов» было: «Никто не может отговариваться незнанием закона»... Это совершенно естественно. И тот, кого юстиция втягивала в свои вонючие, удушающие внутренности, это понимал в совершенстве. Ну, а другие? Огромное большинство граждан и не подозревает о множестве юридических дамочковых мечей, висящих на весьма непрочных веревочках над их легкомысленными и необразованными головами. Даже зная, они не в состоянии в это поверить.

Рике, как и многим сотням тысяч людей, сосланных «навечно» в ссылку, давали расписаться под извещением, что самовольный уход из деревни, где жил ссыльный, считается по-

бегом, который «во внесудебном порядке» карается двадцатью пятью годами каторги. Да, да – не какого-нибудь обычного, вшивого лагеря, а каторжного: без фамилий, с 12-часовым днем на действительно каторжных, смертельно тяжелых работах. Ссылные спокойно расписывались. Они не только не собирались бежать, но в их сознание и не входила реальность такой неправдоподобно страшной участи.

Но зимою 1951 года в Георгиевской пересылке я встретил подростка, почти еще мальчика, у которого на шапке, спине и рукаве бушлата, на коленях ватных штанов был нашит каторжный номер. История молодого каторжанина следующая: отец его был дезертиром. Просто-напросто в начале войны, когда был призван в армию, – удрал. И всю войну скрывался не то в Сибири, не то где-то еще дальше. По одному из неопубликованных законов, семья дезертира подлежала аресту и ссылке. Жену дезертира с малолетним сыном арестовали и из Черкесска выслали куда-то в Казахстан, где они перебивались с хлеба на воду. В 1945 году была объявлена амнистия всем дезертирам. Отец моего соседа по пересылке приехал в родной город, явился куда надо, получил официальное прощение и законный паспорт. Естественно, что он был «аки наг, аки благ», да и привык, наверное, к безответственной жизни скрывающегося человека. Семью он не торопился выписывать. И так тянулось несколько лет, пока его ссыльная жена не умерла и растроганный папаша не написал сыну, чтобы тот приехал к нему в Черкесск. Мальчишка рванулся... Дальше идет совершенный гиньоль. С мальчика-то, оказывается, никто еще не снимал «вечную» ссылку... Юридическое образование как его отца, так и его самого, было еще далеко не законченным. Из Казахстана комендант, наблюдающий за ссылными, сообщил, что мальчик удрал. В Черкесске его арестовали и «во внесудебном порядке» дали двадцать пять лет каторги. Куда ошарашенный пацаненок и следовал через краевую пересылку в Георгиевске.

Но что спрашивать с этого мальчика! О том, что происходит в области, именуемой «юстицией», не имели представления и люди намного более грамотные, нежели он. В Ялте осенью 1971 года я сцепился в яростном и злобном споре с Вадимом Собко. Среди украинских «писменников» он почему-то слывет либералом и свободомыслящим. Спор шел о крымских татарах. Либеральный писатель Собко утверждал,

что незаконно были высланы все другие национальности. Кроме крымских татар. Вот они-то и были настоящими пособниками и союзниками гитлеровцев, и народ этот наказали правильно. Моим словам, что дети и женщины не были пособниками врагу, Собко противопоставлял железный довод: крымских татар-то не реабилитировали, не амнистировали. Все другие народы-бедолаги возвращены в родные места, их поэты – как Кулиев или Кугультинов – давно уже поют и славят, а про татар – ни гу-гу!..

Недавно, просматривая только вышедший очередной том «Литературной энциклопедии», я наткнулся на статью о татаро-крымской литературе. И там был такой абзац: «В мае 1944 года, в результате нарушений социалистической законности, татары, жившие в Крыму, были переселены в Среднюю Азию, Поволжье и на Урал; 5 сентября 1967 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были отменены огульные обвинения по отношению ко всему татарскому населению Крыма (смотреть «Ведомости Верховного Совета СССР». 1967. № 36. Стр. 531–532)». Ну, что я не засматривал на 531-ю страницу тридцать шестого номера «Ведомостей», можно еще понять. Но Собко, который так часто ездил за границу, был каким-то общественным деятелем, выдающимся нашим пропагандистом за рубежом, даже и он не знал, что крымские татары уже прощены, реабилитированы и пр. Вот только возвращаться им трудно. Но это уже вопрос не законов, а быта, инструкций и других мелких неприятностей..

Моего брата – маститого профессора, занимающегося советским периодом, – я как-то спросил: знает ли он, что во время Сталина труд в сельском хозяйстве был у нас официально принудительным?.. Брат промямлил, что практически, конечно, имелись элементы, но насчет «официально»!.. Я с интересом спросил профессора, знает ли он об Указе Президиума Верховного Совета от какого-то (не помню какого) июня 1947 года? Профессор ответил, что о таком Указе слыхом не слыхал..

А я слыхал. Больше того: во время моей командировки по районам Ставрополя в качестве методиста краевого кабинета культпросветработы, присутствовал на собраниях в колхозах, когда крестьянам зачитывали этот указ. В газетах он не был опубликован, но колхозников о нем добросовестно известили. Действительно, их это – как говорится – «касалось»...

По этому указу труд в колхозе объявлялся обязательным для всех проживающих в сельской местности и не работающих на производстве или же не служащих в советских учреждениях. Каждый мужчина, женщина, юноша, девушка, подросток обязаны были работать в колхозе. И выработать определенную норму трудодней. Кажется, для Ставропольского края минимум трудодней был установлен в 176. Так вот: каждый, кто уклонялся от труда в колхозе и не выработывал за год установленного минимума трудодней, постановлением сельского совета (да, да, да! Не суда, не даже какой-нибудь такой-сякой «тройки», а просто сельсовета!) вместе со всей нетрудоспособной частью семьи высылался на пять лет в «отдаленные места Советского Союза», где уже обязан был работать на положении ссыльного. Я много встречал таких ссыльных на пересылках, в тайге на Верхней Каме. Дело не в том, что жители сельской местности не обременены юридическими гарантиями... Я рассказываю эту историю, чтобы объяснить, какова была степень всеобщего незнания того, что происходило на обильной ниве советской юстиции. Что говорить о прочих жителях городов, когда об этом указе не имел представления профессор, занимающийся историей нашего общества!

* * *

Но безусловным украшением судебного «порядка» были два параграфа Уголовного кодекса, составлявшие некую вершину отечественной юридической мысли. Это были параграфы 16 и 17.

«Семнадцатый» параграф УК был порождением юридического гения Вышинского и показывал, как мы далеко ушли от того наивного времени, когда двадцать девять человек расстреливались только потому, что они оказались в одной камере с «гидрой мировой буржуазии» купцом Кутепаткиным. Теперь происходило, собственно, то же самое, но оно было облачено в пышные одежды высокотеоретической науки о «соучастии». Именно так называлась толстая книга господина Вышинского. За это самое «учение о соучастии» он был награжден какими-то учеными наградами и возведен в сан академика. Я этой толстой книги не читал, но не могу не удивляться тому, что можно написать целую толстую книгу о том

же самом, о чем в свое время написал всего лишь несколько слов на куске оберточной бумаги председатель уездного ЧК...

В самых общих чертах смысл параграфа 17 заключался в том, что каждый член преступного сообщества (а участие в сообществе выражается и в знании о его существовании, и недонесении о том) несет ответственность не только за свои личные преступные деяния, а за деяния сообщества в целом, а также каждого его члена в отдельности, невзирая на то, что конкретный обвиняемый мог и не знать других членов сообщества, не знать о том, что они делают, как и не знать о том, что сообщество, в котором он состоит, делает вообще... Хотя «учение о соучастии» должно было облегчить изнурительный труд палачей, но оно, несомненно, облегчало и участь арестованных. Теперь следственная техника значительно упрощалась. Объединяли группу в несколько десятков человек и одного из них – наиболее слабого – били до смерти, пока он не признавался в шпионаже, вредительстве, диверсии и, конечно, покушении на жизнь «одного из руководителей партии и правительства». Всех остальных уже били только до полусмерти, требуя сознания лишь в том, что они знакомы с тем, кто уже написал на себя «на всю катушку». После чего эта «катушка» автоматически переходила к ним. «Через семнадцатую». Как это выглядело на судебном заседании, я могу передать со слов одного моего лагерного знакомого.

Ефим Соломонович Шаталов был весьма крупным хозяйственником. Много лет он был начальником Главцемента. Почему надобно было его сажать – одному Богу известно! К политике он не имел никакого отношения, да и иметь не мог, поскольку готов был служить, и служил верой и правдой любому непосредственному начальнику и истово молился на главного начальника. Кроме того, он был невероятно цепок, обставлял каждый свой шаг целой системой предохранительных мероприятий. Когда его тривиально обвинили во вредительстве, он на суде вел себя так агрессивен, что растерявшийся суд отложил слушание дела. Через некоторое время Шаталову вручили новое обвинительное заключение и через час вызвали на новое заседание Военной коллегии. На этот раз председательствовал сам Ульрих. Вася Ульрих для подсудимого был старым, милым и добрым знакомым. Много лет подряд в «Соснах» сидели всегда за одним столом, вместе ходили гу-

лять, умеренно выпивали и рассказывали друг другу мужские анекдоты. Председатель Военной коллегии Верховного суда провел заседание, очевидно, руководствуясь старым принципом, что суд должен быть скорым, правым и милостивым. Вот почти полная стенографическая запись судебного заседания, изложенная Ефимом Соломоновичем: Ульрих, быстрым, тихим, скучающим голосом: Подсудимый! Вы прочитали обвинительное заключение? Признаете ли себя виновным?

Шаталов, со всей силой преданности и любви к суду: Нет, нет! Я ни в чем не виноват!

Ульрих: Знали ли вы о существовании в Наркомтяжпроме контрреволюционной правотроцкистской организации?

Шаталов, всплескивая руками: Понятия не имел! Не подозревал об этом вражеском клубке вредителей.

Ульрих, внимательно-ласково рассматривая своего недавнего собутыльника: Во время последнего процесса правотроцкистского центра вы были на воле?

Шаталов: Да.

Ульрих: Газеты читали?

Шаталов медленно, стараясь понять причину столь странного вопроса: Читал...

Ульрих: Стало быть, вы читали показания Пятакова о существовании в Наркомтяжпроме контрреволюционной организации?

Шаталов неуверенно: Конечно, конечно, прочел...

Ульрих торжествующе: Ну вот и договорились! Значит, знали о существовании в Наркомтяжпроме организации! (Обращаясь к секретарю суда.) Запишите: подсудимый признается, что знал о существовании пятаковской организации...

Шаталов (иступленно кричит, икая от ужаса): Я же из газет, из газет узнал о том, что там была организация!..

Ульрих, спокойно-удовлетворенно: А суду неинтересно, откуда вы узнали. Значит – знали! (Поспешно, как поп на малооплачиваемой панихиде.) Есть вопросы? Вопросов нет. Вы хотите сказать последнее слово? Не надо повторять! Суду все это известно. (Качнувшись влево и вправо к заседателям.) Оглашаю приговор! Тр... Тр... пятнадцать

...Конечно, я не буду настаивать на том, что этот суд строго соответствовал понятию «правый»... Но он был – по сравнению с другими – милостивым, он оставил Шаталова в жи-

вых... И, безусловно, был скорым. Очевидно, скорость была типической. На вечере памяти Косарева в Музее революции зав. административным отделом ЦК рассказывал, как он, по поручению Хрущева, знакомился с делом Косарева. В протоколе судебного заседания было указано: «Начало заседания – 11 часов 00 минут. Конец заседания – 11 часов 10 минут»...

* * *

Но все, о чем я выше рассказывал, относится к параграфу 17 УК. К Косте Шульге это отношения не имело. К нему имел прямое касательство параграф 16-й. С его помощью Костя был втянут в машину правосудия. Дело в том, что параграф 16 давал право суду давать срок «по аналогии». Если судье казалось, что рассматриваемое преступление не подходит ни к одной статье наказания, то он применял другую статью Уголовного кодекса «по аналогии» – через параграф 16 УК.

Теперь можно приступить к истории жизни и преступления Кости. Жил он в Краснодаре, в семье, которую быстро раскидал ветер начавшейся войны. Костя остался один, но это его не смущало, ибо он был мальчишкой сильным и сообразительным. Насколько я понимаю, вел он довольно свободный и предосудительный образ жизни. В частности не брезговал и тем, чтобы отворачивать головы чужим курам и варить их в старом ведре. На одной такой курице он и попался. Или кура была ответственной, или же судья был чем-то раздражен, но он не пожелал применить к Косте закон «о мелких кражах», по которому можно было дать только один год тюрьмы. Он применил к Косте – через параграф 16 УК – статью кодекса, карающую за конокрадство... Так сказать, посчитал курицу за лошадь... Костя, как конокрад, получил пять лет и отправился в местный лагерь. В лагере пожилой рецидивист, имевший опыт и какие-то планы на Костю, уговорил его бежать. Во время побега бандит убил охранника. Беглецов быстро поймали, убийцу расстреляли, а Косте – как сообщнику, не достигшему совершеннолетия, – дали десять лет по статье 59-3 – бандитизм.

Лагерь, где Костя отбывал новый срок, находился неподалеку от Сталинграда. И было это летом 1942 года... Фронт так быстро приближался к лагерю, что начальство не могло и ду-

мать о том, чтобы эвакуировать заключенных. Лагерное начальство понемногу разбежалось, разбегались и неленивые заключенные... Убежал – даже не убежал, а не торопясь ушел и Костя Шульга. Он добрался до Сталинграда, который уже стал прифронтовым городом, явился в военкомат, назвал свою настоящую фамилию, прибавил себе полтора года и попросился на фронт, сказав, что паспорт и прочие бумаги он потерял... Военкому некогда было проверять, да и не к чему... Перед ним стоял рослый, здоровый парень, которому можно было дать и много больше восемнадцати.

Костя ушел на фронт. После того, как он побыл в пехоте и в артиллерии, он попал на бронепоезд (после небольшого ранения и госпиталя), на котором и провоевал до конца войны. Стал он старшиною роты, и я хорошо представляю себе, каким всеобщим любимцем он был: расторопный, распорядительный, бесстрашный, улыбчивый... Он аккуратно получал свои медали и ордена, всеобщая любовь к нему дошла до того, что в сорок четвертом году, уже в Восточной Пруссии, Косте предложили вступить в партию... И тут уже Косте некуда было податься! Кроме как в СМЕРШ. Куда он принес покаяние и историю своей предфронтовой жизни. У Кости отняли оружие, ремень и посадили под арест. Так он сидел, пока начальство проверяло его слова и решало его участь. Через некоторое время его вызвали, отдали ремень, ордена, оружие и объяснили, что в партию ему еще рано, но воевать он может, поскольку оправдал кровью, заслужил и пр. и пр.

Арестовали Костю Шульгу 9 мая 1945 года через два часа после окончания войны. Даже погулять и попраздновать не дали. И не судили. Просто отправили в лагерь досиживать срок, полученный в сорок втором. Отняв, конечно, все ордена и медали. Многолетняя тяжба Кости Шульги с юстицией, в которой я принимал посильное участие в качестве «легкой руки», сводилась к одному: юстиция не засчитывала годы, проведенные Костей на войне, в «отбытый срок», поскольку они были проведены не в заключении, а на воле. Костя же не мог примириться с такой несправедливостью и засыпал все средние и высокие учреждения заявлениями, в которых настаивал на том чтобы годы войны посчитали... Надо ли говорить, что все произошло по формуле императора Священной Римской империи Фердинанда I: «...Пусть свершится правосудие!» Право-

судие свершилось, Костя освобожден только в пятьдесят четвертом году.

За год до своего освобождения Костя стал целыми днями торчать в санчасти, в кабинете зубного врача и техника.

– Я и здесь не пропал, и на воле не пропаду, – сказал он мне спокойно и уверенно, – научусь зубопротезному делу, женюсь. Построю дом, буду жить как человек! Что же, я на семьдесят рублей жалованья стану жить, что ли? Голова и руки у меня есть, я свое всегда заработаю. В нашей жизни самое главное – приспособиться. Я это умею, я приспособлюсь...

* * *

То, что Костя Шульга называл «самым главным», по сути было главной проблемой, которая вставала перед каждым арестантом. Совершенно очевидно, что и перед каждым неарестантом. Как выжить? Как приспособиться? С наименьшими потерями для здоровья, достоинства, самой жизни... Это приходилось решать иногда мгновенно, иногда в долгие бессонные ночи, но решать приходилось обязательно. Как себя вести?

Рика с неприязнью рассказывала мне об одной женщине, с которой сидела вместе во внутренней тюрьме. Эта женщина категорически протестовала в камере против «комбедов» и других форм тюремной самопомощи. Она считала, что в советской тюрьме обязательно добросовестное выполнение всех без исключения правил; что арестанты должны делать все, чего от них хотят следователи; подписывать любые показания на любого человека, ибо все это делается в интересах Советской власти, следовательно, интерес их более высок, нежели судьба отдельного человека... Может быть, она так поступала из страха? Такого обычного, оправданного пытками, угрозой смерти... Но я был немного знаком с этой женщиной, еще больше знал понаслышке. Это была Соколовская – интеллигентный и бесстрашный человек, знаменитая руководительница «иностранный коллегии» в Одессе во время интервенции; та самая красивая и обаятельная женщина, которая под фамилией Орловская выведена Славным в его знаменитой пьесе. Она была замужем за любимцем Сталина – Яковлевым, который был одно время секретарем ЦК, а затем заведовал сельскохо-

зыйственным отделом ЦК. Соколовская была намного умнее и талантливее своего мужа.

Что же ее заставило участвовать в лживом и безнравственном спектакле? Ведь не было ни одного арестанта, которому бы не предложили – открыто, без всякого стеснения – участвовать в этом представлении. Участвовать без всякой гарантии оплаты.

* * *

О, если бы такая гарантия была! Если бы с этими людьми можно было договориться! Пусть такая договоренность была бы ужасной договоренностью между гангстерами-похитителями и их жертвой! Все равно: даже в этом случае уже появляются какие-то нормы. Пусть и не «правовые», но все же нормы!.. Все же какие-то правила игры!

Но все дело в том, что никаких правил не существовало, и не было никаких гарантий, что будет компенсирована любая жертва, любой компромисс с совестью, правдой и прочими – в глазах тюремщиков – эфемерными вещами. Ибо, – хотя они нисколько и не нуждались в теоретических обоснованиях, – существовала авторитетная формула: «Нравственно только то, что идет на пользу...» А уж кому на пользу – это они решали сами.

И имело значение: кто решал. Конечно, существовали инстанции, именовавшиеся «директивными» и могущие приказывать энкавэдэшникам. Но давно известно, что палачи очень неохотно расстаются со своими жертвами, даже получив высочайшее распоряжение. Так что высочайшее или же полувысочайшее приказание также не давало никаких гарантий. Иллюстрацией к этому является история моего лагерного знакомого Павла Феликсовича Здродовского.

Да, ныне здравствующий, – академик, лауреат всех премий. Герой Социалистического Труда и прочих званий носитель. Познакомились мы в лагере, хотя и в долагерные времена мы знали друг о друге: у нас был общий знакомый – Шура Вишневский, ныне также всех званий и орденов кавалер.

Было это осенью 1941 года. К нам на Первый пришел очередной этап, и принимавший этап наш врач Александр Македонович Стефанов, запыхавшись, подошел ко мне и сказал:

– С этапом пришел знаменитый иммунолог, профессор Здродовский. Он у меня в стационаре.

Я побежал... Неужели тот, о котором мне много рассказывал Шура? Все было так. Действительно он. Формуляр у него был собачий. Перекрещен, что означало «склонен к побегу» и запрет на расконвоирование. А кроме того, была в формуляре почти смертельная отметка: «использовать только на общих подконвойных работах»...

Но это был все же не тридцать восьмой, а сорок первый, когда такая зловещая отметка могла носить и чисто художественный характер. Во всяком случае, на нашем лагпункте никакая сила не могла заставить погнать профессора медицины на общие работы. Здродовский, конечно, немедленно был зачислен больным в стационар. И мог находиться в нем неопределенно долго. Времени у него было достаточно, чтобы по вечерам, когда я приходил из конторы, неторопливо рассказывать мне свою выразительную и поучительную историю.

Здродовский к тридцать седьмому году был крупнейшим в нашей стране иммунологом, имевшим мировое имя как самый крупный специалист по борьбе с инфекциями, в особенности с бруцеллезом. По разработанным им методам в стране работали десятки противобруцеллезных станций, так и называвшихся: «Станции Здродовского». Неудивительно, что, когда в тридцать седьмом году на Украине началась массовая эпизоотия среди лошадей, во главе специальной комиссии, направленной для борьбы с ней, был поставлен Павел Феликсович. После нескольких месяцев работы он докладывал о необходимых мерах на каком-то высоком заседании – не то ЦК, не то Совнаркома. Во всяком случае, председательствовал на заседании Хрущев, недавно назначенный в управители.

Здродовский академически спокойно докладывал, что эпидемия на лошадей вызывается вирусом. Время от времени волнами она прокатывается по Европе и Азии. Теперешняя эпидемия идет с Востока. Для борьбы с ней надо делать то-то и то-то... Профессорский доклад прервала нетерпеливая реплика Хрущева:

– Что вы там, профессор, толкуете об эпидемиях?! Падеж лошадей был вызван вредительством. Лошадей травили порошками! Вот они – эти порошки, – лежат передо мною... Виновные во вредительстве признались в своих преступлениях,

понесли заслуженное наказание... А вы тут нам толкуете про всякую там эпизоотию!..

Здродовский протянул руку, взял со стола вредительский порошок, высыпал его себе на язык, проглотил... И потом – столь же академически – объяснил Хрущеву, что его совершенно не касается ни вредительство, ни признания вредителей и прочее – это дело юристов. Что же касается лошадей и порошков, то порошками этими никого травить нельзя, поскольку состоят они, главным образом, из питьевой соды; что его, Здродовского, дело доложить, как быстрее ликвидировать эпидемию. Что он и делает.

Арестован он был после этого довольно скоро. С ним особенно не чикались – некогда было! – всунули через ОСО десять лет. Но зато отправили его в абсолютно гибельный лагерь, откуда почти никто возвратиться не мог. Лагерь этот находился в Ухтпечлаге, он строил дорогу Чибыю – Крутая. Строительство это было несколько затянувшейся формой убийства. Бездонное болото, куда заключенные кидали тачки с песком. Люди за тачками менялись быстро, больше двух месяцев никто не выдерживал. Здродовский пережил уже многих, но себя не обманывал и знал, что ему долго не протянуть...

И вот тут происходит то неизвестное, роковое, гиблое или спасительное, чего всегда, ежечасно ожидает всякий арестант... Здродовского отрывают от тачки, кормят, моют, стригут, одевают в первый срок и везут в Управление лагеря. Там со всей осторожностью и почтением спецконвой везет его на аэродром и сажает в специальный самолет. И летит арестант Здродовский куда-то в неизвестное, аж за тридевять земель, на различных аэродромах пересаживаясь с самолета на самолет... Только потом, через весьма продолжительное время, узнал Здродовский, как это все происходило, что находилось в основе его необыкновенного спасения.

В Казахстане началась неслыханная эпидемия бруцеллеза, захватившая крупный рогатый скот, а главное – овец. Погибли миллионы животных, катастрофа приняла такой серьезный характер, что вопрос о ней был поставлен на заседании Политбюро. Во время заседания происходит сцена, прямо-таки взятая из многочисленных фильмов. Расхаживавший вдоль стола Сталин остановился, вынул изо рта трубку и сказал:

– А что же делают в таких исключительных случаях станции Здродовского? – Память у него была потрясающая. Он знал невероятное количество всего на свете! – И кстати, что делает для ликвидации эпидемии сам Здродовский? Где он, в Москве?..

И взглянув в лицо человека, который должен был знать, кто где, сразу понял, где он, и добавил:

– Если жив – найти и направить!..

Здродовского успели найти, и его отправили. В Казахстане знатного арестанта, присланного лично Сталиным, приняли как заместителя. Ему отвели особняк, полный слуг, которые одновременно были и телохранителями-охранниками. Прямые провода соединяли Здродовского с ЦК, Совнаркомом Казахстана, с областями и министерствами. В его распоряжении были самолеты, автомобили, десятки и сотни сотрудников. Каждое приказание невиданного диктатора носило характер закона, тень пославшего его витала над ним, и приезжавшие в особняк высшие начальники разговаривали с ним почтительно, заискивающе улыбаясь...

И Здродовскому удалось совершить почти что подвиг. В какие-то считанные месяцы, в неслыханные для истории медицины сроки, эпидемия бруцеллеза в Казахстане была ликвидирована. Полностью исчезла опасность, что она переползет в Европейскую часть страны. Высокие казахстанские начальники чуть ли не плакали от умиления и чувства благодарности. Они отправляли Здродовского в Москву – за заслуженной наградой. Все правительство провожало его на вокзале, усаживали в купе международного вагона. Он ехал домой вольным, один, совсем как некогда... Наркомвнудел Казахстана на вокзале отвел Здродовского в сторону и сказал:

– Павел Феликсович! Вот вам пакет. Советую прямо с вокзала захватить в Наркомат, сдать этот пакет и получить необходимую справку. Формально вы же арестант, вас дворник домой не пустит, побежит докладывать в милицию... Вы получите сначала справку, а потом уж и соответствующие документы. Заранее поздравляю вас с высокими наградами и прошу не забывать в Москве и нас...

...Ах, с каким наслаждением описывал Павел Феликсович долгий путь от Алма-Аты до Москвы! Уют международного вагона, крахмальные салфетки ресторана, где можно сидеть за накрытым столом, неторопливо пить дорогой коньяк и смот-

реть, как за зеркальными окнами бежит земля... В Москве на вокзале его встречали, предупрежденные телеграммой родственники, друзья, ученики... Цветы, объятия, слезы... По дороге, сидя в машине, Павел Феликсович вспомнил:

– Давайте на минутку остановимся у Лубянской площади. Я зайду в Наркомат, сдам пакет и получу справку, это займет всего несколько минут, вы меня подождите в машине...

Уже новой, вольной и уверенной походкой Здродовский вошел в подъезд, сдал вежливому дежурному пакет, подождал, пока не вышел какой-то капитан и предупредительно попросил его пройти с ним. Здродовский шел по бесконечным коридорам, проходам и этажам, пока запутанная география этих закоулков не становилась ему все более и более знакомой... Потом провожатый остановился у мучительно знакомой двери и услужливым жестом пропустил его вперед. На двери была вывесочка: «Прием арестованных». А дальше пошла хорошо знакомая процедура: «Разденьтесь, снимите белье, поднимите руки, расставьте ноги, нагнитесь, раздвиньте задний проход...» Обрезанье металлических пряжек и пуговиц, выдергивание шнурков... Через час вновь обработанный арестант уже сидел в одиночной камере «внутрянки» и нетерпеливо ждал, когда его вызовут. Он ждал день, неделю, месяц, полгода... Никто его не вызывал, никто его не беспокоил, только тревожили таинственные ночные гулы... Через восемь месяцев его вызвали с вещами, запихали в воронок, привезли в Лефортово. В тот же день вызвали на Военную коллегия и через десять минут всунули те же десять лет, только уже – честь по чести! – по статье Уголовного кодекса. И по этой статье, дополненной словами «военного времени», Здродовский догадался, что, пока он сидел в камере, – началась война...

Через какое-то время этап занес его в Устьвымлаг, на Первый... Александр Македонович долго держал Здродовского в больнице. С большим трудом Управление лагеря разрешило отправить профессора на самую дальнюю командировку для работы фельдшером. Долго фельдшерствовать профессору не дали. Осенью сорок второго года у него начался новый цикл: опять за ним приехали из Управления, опять его одели-побрили, опять в самолет... Уезжая, Здродовский вздохнул и сказал, что с военным сыпняком справиться будет труднее, нежели с бруцеллезом...

И долго, долго я о нем ничего не знал. В Москве в конце сорок пятого мне сказали, что Здродовский на воле, возглавляет институт. А в шестидесятых годах увидел его по телевизору: он выступал в связи с присуждением ему Ленинской премии. Был старый, но еще очень бодрый, очень усердный, очень довольный. Хвалил, не нарадовался и благодарил. Такой он был благополучный и преуспевающий, что мне не захотелось с ним встречаться. Мне показалось, что в его величественном процветании он мог бы испытать некое душевное неудобство от неизбежных воспоминаний о прошлом. А я задышался от отвращения к тем, кто не хотел вспоминать, кто желал как можно прочнее забыть... Может быть, я был не прав и Здродовский вовсе не принадлежал к числу старающихся забыть? Рассказывали мне, что Королев и в самом зените своей славы любил собирать у себя, на своей огромной даче, за богатейшими разносолами обильного стола, старых товарищей по тюрьме, по туполевской «шарашке». Он угощал их, вспоминал старое и признавался:

– Прохожу мимо охраны, они вытягиваются в струнку, на лице почтение... Но все равно каждую ночь я думаю, что они сейчас могут ворваться ко мне в спальню и крикнуть: «Собирайся, падла!»

...Может, и академик Здродовский также не приобрел чувства устойчивости и гарантий?.. Но я никогда не пытался это проверить.

Так или иначе, а он должен был участвовать в этой игре, не имея никаких гарантий.

* * *

Множество арестантов, если не большинство, так или иначе давали на это свое согласие. Я, конечно, не говорю о тех, чье согласие было вынуждено пытками, переходящими границу человеческих возможностей. Да, соглашались участвовать. Но делали это по очень разным побуждениям.

В нашей двадцать девятой камере находился один из ближайших помощников Туполева, Тимофей Петрович Сапрыкин. Это был пожилой, желчный, озлобленный и мрачный человек, нелюдимый, ни с кем почти в камере не разговаривающий. Однажды его привели с допроса ночью, когда вся камера спа-

ла и только я, томимый тоской и бессонницей, сидел на нарах и курил. У Сапрыкина было лицо совершенно опарашенного человека. При всем этом он был целехонек, без каких-либо следов следовательского усердия. Потребность поделиться пережитым была у Сапрыкина, очевидно, настолько сильной, что с него слетела свойственная ему молчаливость. И он обрадовался даже такому малознакомому собеседнику, как я.

Отвечая на мой вопросительный взгляд, он затянулся папиросой, выпустил клуб дыма и вместе с ним выдохнул:

– Я сейчас был на очной ставке...

– ?...

– С Андреем Николаевичем...

– И как?

– Можно сойти с ума! Приводят, сидит у следовательского стола Андрей Николаевич. Спокойный, выглядит прилично, нетронутый... Следователь – сволочь, конечно, лютая, – начинает эту церемонию: знаком, незнаком, имеете ли личные счета и прочая муть. Потом спрашивает у меня: «Подтверждаете ли показание арестованного Туполева о том, что он вас завербовал в свою контрреволюционную вредительско-шпионскую организацию?» Я кричу: «Вранье! Этого быть не может! Андрей Николаевич, как вы могли?!» А Туполев спокойно, как на планерке в ЦАГИ, говорит мне: «Вы мне верите?» Я отвечаю: «Всегда и во всем верил, Андрей Николаевич!» – «Ну так вот. Вы сейчас подпишите показания о том, что такого-то числа я вас вызвал к себе в кабинет и предложил вступить в руководимую мною шпионско-вредительскую организацию...» – «Что вы такое говорите, Андрей Николаевич?!» – «Вы меня всегда слушались?» – «Слушался!» – «Слушайтесь и сейчас. Делайте то, что я вам говорю! Подтвердите все показания, которые я давал и которые я сейчас подтверждаю на очной ставке. Подпишите все показания, которые вам продиктует следователь. Считайте, что я по-прежнему являюсь вашим начальником и делайте все, что я вам приказываю!..»

...Сапрыкин курил папиросу за папиросой, мычал что-то, разводил руками... Согласно тюремной этике я у него не спрашивал, выполнил ли он приказ своего бывшего начальника. Конечно, выполнил. Через некоторое время его от нас забрали, а во время войны я встретил его фамилию среди награжденных за строительство самолетов: Сапрыкин получил орден Ленина.

Рика, сидевшая в это же самое время во внутренней тюрьме, дружила со своей соседкой – Юлией Николаевной Туполевой, женой Андрея Николаевича. Однажды Юлия Николаевна пришла с допроса притихшая, огорченная и рассказала Рике, что она очень смущена необыкновенной любезностью следователя и его похвалами мужу. «У меня впечатление, что Андрей пошел на какую-то подлость...» – призналась она Рике...

Но можно ли это назвать так категорически: подлостью? Согласившись участвовать в предложенном ему спектакле, Туполев сохранил жизнь не только себе и жене, но и множеству людей, многим замечательным ученым, в том числе Некрасову, Петлякову, Королеву... Можно ли обвинять Туполева в безнравственности за то, что он ради сохранения жизни согласился на участие в «шоу», когда огромное количество безукоризненно интеллигентных и в общем вполне порядочных людей принимают участие в этом спектакле всю жизнь, рискуя в случае своего отказа потерять не жизнь, а только карьеру, только высокооплачиваемую работу, поездки за границу и прочие ценности, далеко не сравнимые с жизнью?..

* * *

Но ведь рассказ не о Туполеве, а о Шульге. Если бы с ним дело обстояло так же просто, как с Туполевым, то Костя и в лагере и на воле отлично бы жил, не перегружая свою совесть излишними терзаниями. Но все дело в том, что Косте никто и не предлагал участвовать в хорошо оплачиваемом спектакле. Оплачивался лишь тот, кто был нужен. Самоотверженное и абсолютно искреннее участие Соколовской в спектакле окончилось тем, что ей пустили пулю в затылок: она не была нужна, самолетов она строить не умела. В той странной жизни, в которой жил Костя Шульга на воле, в лагере, на войне, снова в лагере, снова на воле – не существовало никаких четких ориентиров, по которым можно было следовать по жизни, никаких твердых правил...

Но Костю это сначала устраивало. Ему казалось, что он в этой игре без правил обыграл своего банкомета, что он здоровее его, хитрее: «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...». Как кипуче, захлебываясь, жил Костя на воле! Странно, но во всех своих метаниях Костя никогда не порывал связи со мной.

Освободившись, он уехал в Краснодар, я от него в лагере получал письма, даже посылку. Но жить в Краснодаре со справкой рецидивиста, отбывшего срок за бандитское убийство, он не мог. Уехал в Соликамск и там очень скоро проявил себя как один из лучших протезистов. Он поступил в какую-то поликлинику, а у себя на квартире оборудовал маленькую мастерскую, в которой заколачивал большие деньги. Соликамск для этого подходящий город. Его не мог миновать ни один человек, освобождающийся из Усольяга или Нарымлага. Почти у всех у них были беззубые рты. И сильнейшее желание вернуться к своим с зубами – пусть стальными, но все же зубами.

Приезжавшие из Соликамска рассказывали, что живет Костя шикарно. Живет с какой-то недавно освободившейся красючкой, ходит в коверкоте, радуется корешам, хлебосолен и щедр с ними. Впоследствии Костя уверял меня, что никаких законов он не нарушал, с золотом не работал, вот только патент у него был на другого человека, потому что у Кости не было диплома... А Костя считался у него – у дипломированного – подручным. По правилам вроде бы и все правильно! Но все же кончилось это тем, что Костю арестовали, за что-то судили, по какой-то статье дали два года. В близкой к городу колонии Костя отбухал половину срока, освобожден за хорошее поведение и рванул с негостеприимного севера.

Дальнейшие этапы Костиной жизни отмечены всегда внезапными его появлениями у меня в Москве. Сначала он несколько лет жил в Краснодаре. Утратив свою уверенность объехать судьбу, он решил дальше поступать только по правилам. Прописался под Краснодаром. Поступил на какие-то курсы протезистов, быстро получил диплом, оформился на работе, женился, родил ребенка... Зарабатывал большие деньги в далеких от города хуторах, где лихо мастерил нуждающимся челюсти. Построил дом в Краснодаре. Кончилось это тем, что он однажды появился у меня в Москве: встрепанный, утративший на какое-то время свою обычную уверенность.

– Не пойму никак, чем я им мешаю? – говорил он мне. – Делаю все по закону! На хутора уезжаю только на выходные, ни у кого не отнимаю кусок хлеба. Протезистов там нет, на меня люди молятся, никого не граблю, беру почти по таксе, зарабатываю свой хлеб честно, без обмана. За что же меня травят как бешеную собаку?! Вызвали в милицию, хотели описать

дом. Ну, я его, конечно, на маму записал, пришлось быстро уволиться и рвать когти – ведь опять решетка маячит!..

– Куда же ты теперь?

– На Алтай. Со своим ремеслом покончил! Ну его, за свой же труд никому ничего не делая, снова попаду в лапы к вертухаям. Нет, я теперь буду жить по-другому! У моей жены отец живет на Алтае, в глухой деревне. И он – знаменитый, опытный пчеловод. Буду жить у него и разводить пчел. Тут тебе ни патента, ни диплома, ни инструмента... Ульи мои, а цветы божьи, всеобщие... Сколько накачаю меда – мой он и имею полное право продавать его.

В первые годы своей новой полусвятой жизни Костя изредка появлялся в Москве, по дороге в Краснодар и обратно. Покупал в Москве вошину, инструментарий, литературу... Всегда привозил банку какого-то невероятно вкусного и душистого меда. Дело свое Костя поставил широко, со свойственной ему деловитостью и умением. Он доставал какие-то машины для перевозки пчел на самые урожайные куски леса и луга, изобрел улей очень удобной конструкции, за хорошие комиссионные охочие до базара женщины продавали Костин мед там, где он был наиболее дефицитен.

Теперь Костя был веселый, довольный. Он начал строить в Краснодаре новый большой дом для себя, рассчитывал когда-нибудь поселиться на любимом юге. С наслаждением расписывал, какой это будет замечательный дом и при нем сад, а в саду всего несколько ульев: только для себя, только для избранных гостей – таких, как я и Рика, которые обязательно будут приезжать к нему каждое лето в гости...

В один из своих приездов Костя сидел передо мною серый, осунувшийся, с трудом переводя дыхание. Лопнула, разлезлась по швам вся его новая, так старательно собранная жизнь. Пока он ложился костями на этом проклятом Алтае, добывая деньги на светлое будущее, его жена в Краснодаре вела веселую блядскую жизнь, жила как последняя лагерная шалашовка. Ему дали знать, он сейчас же туда, застукал курву на месте, на горячем, а она выгнала его... А дом-то, сад – все на ее имя! Уехал на Алтай, а этот, святой-то старичок, навернул его... А ведь формально у Кости ничего нет – пасека числится за старичком... Все деньги вбухал в пасеку, в новый дом, на руках ничего не осталось. Стал качать у старика права – пригрозил мили-

цией. Кто-де ты такой? Дармоед и приживала!.. Поехал к матери в Краснодар, ночью пришла милиция: где прописка, чем занимаешься, почему бывшей жене угрожаешь?

...Да, это уже был не тот ослепительно белозубый, молодой и уверенный счетовод продстола, с которым я познакомился на Усть-Сурмоге... Было в этом человеке уже что-то необратимо надорванное, неуверенное...

Потом он надолго исчез, и я ничего о нем не знал. Однажды неожиданно позвонил по телефону. Голос был спокойный, удовлетворенный:

– Стал теперь вашим земляком – москвич... Да, да – живу в Москве. Работаю в военной организации, женился... Разрешите мне приехать, хочу познакомить со своей женой, повидать вас, Рикку Ефремовну...

Костя нанес нам семейный визит. Был парадный, в хорошем костюме, при галстукке. Красивый. Только посеревший, с опущенными уголками рта, без обычного для него блеска энергии и предприимчивости в глазах. Жена его – полупышная дамочка с востреньким носиком и властными манерами – зорко следила за тем, чтобы визит проходил по всем правилам, и Костя вел себя по правилам. Костю почему-то называла Константином Порфирьевичем, а о себе говорила в третьем лице.

Пока дамы на кухне обсуждали проблемы ведения хозяйства в Москве, Костя в кабинете торопливо, шепотом рассказывал мне про свою новую жизнь.

– Я с ней в поезде познакомился однажды... Ну, таких самостоятельных еще не встречал! Член партии, начальник кадров на одном маленьком заводике... Устроила меня в военной поликлинике, работаю протезистом, передовик, на доске выставили... Прописан за городом, живу у нее – квартира отдельная, однокомнатная, все удобства, все есть, очень авторитетная, начальство к ней в гости – запросто... С милицией живет вась-вась... Ну, сами понимаете – кадры!..

– Так вот на свою зарплату и живешь?

– Ну, что вы! Разве на нее можно? Живу, как все. Врач пришлет клиента, на работе сниму мерку, дома сделаю, на работе примерю и надену... Половину – врачу... Ну, как все работают, так и я. Только с тем врачом, что она мне сказала... И вообще без нее – ничего! Я при ней – как шестерка... Любит, чтобы взглядом только повести – и на цырлах...

– И нравится так?

– Так нравится – не нравится, надо же жить! Не могу больше вот так скитаться, всего бояться... Черт с ними! Буду жить по правилам! Она обещает добиться московской прописки, тогда зарегистрируемся, стану жить, как все, по силе-возможности... Не вышло в Соликамске, в Краснодаре, на Алтае – может, в Москве стану жить, как все. Сколько же можно?..

...Грешен – на визит мы не ответили. И не только потому, что кадровичка не понравилась, но и потому, что было жалко и непривычно видеть Костю таким: шестеркой на цырлах... Он и сам не уговаривал навестить его новый дом. Потом он изредка звонил, на мои вопросы и приглашения прийти отвечал уклончиво. Мне казалось, что вдвоем ему приходиться не хотелось, а одному – не разрешали... А потом вышло так, что почти полгода нас не было в Москве. И осенью – этот телефонный звонок, заплаканный голос его сестры...

* * *

Я где-то уже говорил, что тюрьма – один из самых консервативных и устойчивых институтов. Во всяком случае, у нас в России. О лагерях это сказать нельзя. Они – неотъемлемая часть нашего общества, в них почти мгновенно сказываются изменения – социальные, политические, экономические – в нем происходящие. Поэтому тот лагерь, куда я попал в 1951 году, был очень отличен от того, который я оставил в 1946-м.

Среди многих изменений одно из наиболее разительных – характер уголовного мира. Послевоенные уголовники отличались от старых своим крайним экстремизмом. Куда девались старые добрые уголовные профессии: жулики, мошенники, аферисты, карманники? Послевоенная формация – это холодные убийцы, зверские насильники, организованные грабители. Но не только это отличало новую уголовную генерацию. Теперь они все были поделены на касты, на сообщества с железной дисциплиной, со множеством правил и установлений, нарушение которых жестоко каралось: в лучшем случае – полным изгнанием из уголовного сообщества, а часто и смертью. Наиболее распространенной формой уголовного сообщества в лагере были «законники». Пребывать «в законе» означало: на работу выходить, но не работать, а только делать видимость

работы; не находиться в обслуге лагеря на любой должности, включая даже такие безобидные, как повар или санитар; не вступать ни в какие отношения и находиться в смертельной вражде с «ссучившимися» и теми, кто, по блатной терминологии, «вышли из закона» и стали работать в обслуге; быть в полном и безотчетном подчинении у «паханов» и беспрекословно выполнять их приказы...

Жизнь «законников» в лагере была обставлена правилами поведения, которые соблюдались с истовостью почти религиозной. Для блатаря, находящегося «в законе» и этот закон нарушившего, не было другого выхода, как бежать на «запретку». «Запретка» – это распаханная, разровненная граблями полоса земли между высоким забором и низенькой оградой из колючей проволоки. Каждый заключенный, очутившийся на «запретке», должен немедленно лечь ничком на землю: в противном случае его убивал без предупреждения охранник с вышки. На «запретку» бежали «ссучившиеся», преследуемые своими бывшими товарищами. Надзиратели их выводили из спасительного куска земли и уводили в карцер. Через некоторое время их этапировали на другой лагпункт: здесь уже оставаться они не могли, поскольку объявлены вне закона...

Из того, что я рассказываю, не следует предполагать, что «законники» жили суровой, почти аскетической жизнью. Они не работали, но им приписывали полную выработку; они облагали денежной данью всех «мужиков» – работающих; они половинили посылки, покупки в ларьке; бесцеремонно курочили новые этапы, забирая у новичков лучшую одежду. Словом – они были рэкетирами, гангстерами, членами маленькой мафии, и все «бытовики» – а их было большинство – ненавидели «законников» лютой ненавистью. После Сталина, когда повеяло либеральным ветерком, по всем лагерям прошли кровавые восстания «мужиков» против «законников».

В Чепецком отделении, где я был с пятьдесят четвертого года, главным «паханом» среди местных «законников» был Ваня-француз. Ничего французского не было в этом лысом, очень тихом и спокойном человеке. Было ему за пятьдесят, и большую часть этих лет он провел в тюрьмах и лагерях, потому что вором стал с малолетства и больше ничем не занимался. Он был очень неглуп, уравновешен, неограниченной властью над своими подданными пользовался без крайностей и

соблюдая даже некоторый такт. Со мною – как и с другими нужными людьми – Ваня-француз был предупредителен, безукоризненно вежлив и разумен. Однажды вечером мы с ним разговорились в конторе.

– Иван! – сказал я ему. – Давно хочу тебя спросить: почему ты – умный, немолодой человек – до сих пор ведешь эту жизнь? Сколько времени ты пробыл на воле: ноль целых?.. Неужто такая жизнь тебя устраивает? И тебе не хочется пожить по-людски: с семьей, детишками, не боясь легавых, сук, ночного стука в дверь?.. У тебя хорошая голова, хорошие руки... На любом месте, на любой работе тебя будут ценить... Ну, не будет у тебя столько монет, так они же интересны молодому, а не таким уже, как мы с тобой!..

– Эх, Мануилыч, – ответил мне, немного подумав, Иван. – Хоть спасибо тебе, что разглядел меня, старика... От хорошего, что ли, я себе такую старость выбрал? И разве хочется мне околевать в лагере, как собаке какой: то ли от колуна, то ли у лепилы в околотке? Вижу, хочешь меня спросить: почему не завязываешь? Завязывал. И не один раз. На канале «Волга – Москва» – досрочно освободили, почетным значком наградили, грамоту дали... На воле с почетом взяли на работу, старался, как мужик, честно упирался рогами. Забрали под изоляцию – дали срок ни за хрен собачий... Отбыл пятак, вышел, огляделся – ко мне везде, как к бешеной собаке... На работу не берут, жить в городах не разрешают, а тайга мне обрыдла – вот! Пососал лапу с месяц, второй, ну пошел по новой... Отсидел трояк, списался с одной заочницей, приехал к ней, показались друг другу, тут бы и начать житуху... А ночью меня с постели мент поднимает: какое у тебя право без прописки с бабой спать?.. Скрипнул зубами, да и пошел к старой кодле... Как этот усатый благодетель откинул копыта, выпустили по амнистии, доехали до первого города, там нас – как перепелов! – сетками ловят... Ничего не говорят, дрюкают срока и все! Там кто-то бабу прижал, там ларек взяли, а они – всех подряд, не разбирая, кто, что!..

И понял я, Мануилыч, что мне с ними играть невозможно! Для игры должны быть правила! Я их блюду – пусть их блюдет и кто банк держит! А то получается, что у меня на руках двадцать одно, а он мне вдруг говорит: «Сегодня выигрывает тот, у кого двадцать два...» У меня двадцать два, а он мне: «Сегодня

выигрыш при девятнадцати!» Он не блюдет правил, и мне с ним играть невозможно! Банк у них всегда на руках, и они мне никогда не оставят на отмазку... Вот и должен я до конца жизни быть в законе – другого хода у меня нет...

– Знаешь, Иван: странно как-то видеть такого пахана, как ты, выполняющего все эти правила... Они же как игра. Ну, молодым свойственно выдумывать всякое... Раньше этого не было у блатных...

– Не было. Потому что в жизни еще были какие ни на есть, а правила. А теперь на воле никаких правил нет! А жить без них – невозможно! Пусть у нас и дурацкие законы, а зато мы их блюдем! Без дураков! До конца! Какими бы они ни были!..

...Я видел конец Вани-француза. Весной пятьдесят пятого года на Чепецком лагпункте началось восстание «мужиков» против «законников». О том, что такое восстание готовится, знали почти все. Во всяком случае, почти все заключенные. И «мужики» и «законники» – невзирая на все тщательные обыски на вахте – проносили в зону оружие: железные прутья, самодельные ножи, топоры... Начальство, конечно, тоже знало о готовящемся. На вышках были установлены пулеметы, надзиратели озабоченно бегали по всей зоне. Очевидно, следили за Иваном. Он – при всем своем опыте – проглядел это. Когда стороны с диким ожесточением кинулись друг на друга, когда с вышки – пока в воздух – затрещали пулеметные очереди, два надзирателя подстерегли Ивана, когда он был возле «запретки» схватили его и мгновенно перекинули через проволоку... Иван упал на проклятую землю «запретки», хотел приподняться, но над ним засвистели пули, и он понял, что все кончено...

Все это происходило у самой конторы, мы стояли у окна и видели драматический конец вождя «законников». Надзиратели подскочили к Ивану и подняли его с земли. Он как бы внезапно ослепшими глазами посмотрел кругом и начал кланяться на все четыре стороны – как стрелец перед плахой на Красной площади... Ивана увели за зону, в карцер, а восстание продолжалось, хотя было уже совершенно очевидно, что «законники» потерпят поражение. Часа через два они сдались, и лагпункт стал «чистым», все в нем были рассортированы. Мертвых и раненых унесли в стационар, «законников» вывели за зону – им предстоял этап на другой лагпункт, где были только такие, как они. Ивану теперь предстояла совершенно другая,

непонятная для него жизнь. Теперь его отправят на лагпункт, где собраны «суки», и самому Ивану предстояло дальше вести позорную и непривычную жизнь «ссучившегося»...

...Я вспомнил невеселую историю старого вора в тот вечер, когда Костина сестра сказала мне о его смерти. Они были совершенно разные люди: Ваня-француз и Костя Шульга. Но оба они погибли из-за того, что участвовали в игре без правил. Очевидно, не только они, а каждый из нас стоит перед этой альтернативой: или примириться с тем, что ты всегда в проигрыше, или же тем или иным способом стараться обойти неумолимого банкомета. Но даже Косте это не удалось. Почему-то среди огромного списка жертв «игры без правил», который я держу в памяти. Костю мне особенно жалко. Поэтому я о нем и написал.

ТЮРЕМЩИКИ

– ...Тюрьма – нет, есть – тюремщики!..

Антонио (в моей памяти осталось только имя, может быть, я и не знал его фамилии) это сказал с обычной своей категоричностью. И все население двадцать девятой камеры отнеслось к его словам с полным вниманием. Антонио этого внимания заслуживал. Есть знаменитый рассказ о человеке, который коллекционировал эхо. Антонио, очевидно, коллекционировал тюрьмы и порядочно преуспел в этом занятии. Он сидел чуть ли не во всех тюрьмах мира. Антонио был итальянцем и анархистом. Из Италии он бежал в 1924 году. И с тех пор странствовал по свету, занимаясь своим загадочным анархистским делом. Естественно, что везде его сажали в тюрьму.

К нам Антонио попал не совсем обычным путем. Когда в Испании началась гражданская война, он незамедлительно поехал в классическую страну анархизма, где его единомышленники были хозяевами Каталонии. Так как анархизм у Антонио был лишь дополнительной профессией к штурманскому делу, то он нанялся на испанский корабль, перевозивший оружие из СССР в Испанию. Во время одного из рейсов, когда

корабль прибыл в Мурманск, Антонио – когда он сошел на берег – пригласили для консультации в какое-то неизвестное ему учреждение. Через полчаса он уже понял, что его «коллекция» значительно обогатится... В нашей Бутырской камере он был энергичен, жизнерадостен и разговорчив. Раз в месяц, когда нам давали небольшой кусок бумаги, чтобы арестант мог отвести душу и написать куда-нибудь жалобу, Антонио аккуратно разделял листок на две части и писал два письма. Одно он адресовал «Его превосходительству, Генеральному прокурору СССР, господину Вышинскому». Второе – «Послу Испанской республики в Москве товарищу Марселю Паскуа». После этого он успокаивался и снова начинал свои бесконечные рассказы.

Так как Антонио был природным полиглотом и по нашим тюрьмам уже таскался больше года, то его странно звучащую русскую речь можно было понимать. Итак, он испробовал тюрьмы и Старого света и Нового света. Самые худшие тюрьмы – как утверждал Антонио – в Китае. Там он сидел в самой обычной яме, накрытой решеткой. Время от времени в яму бросали что-то съестное и опускали ведро с водой. Самые лучшие тюрьмы в мире – в Бразилии. Там они помещаются в бывших монастырях. Арестанты живут в неплохих кельях, которые открыты днем и ночью. Каждый волен делать, что он хочет: рисовать, читать, спорить, разводить цветы в обширном монастырском дворе или же заниматься любовью с добрыми сеньоритами, которые совершали богоугодное дело, ежедневно принося в тюрьму богатую снедь для бедных арестантов. Тюремщиков это совершенно не интересовало. Их долгом было следить, чтобы никто из заключенных не вышел за пределы монастырских стен. Ибо наказание лишением свободы и состояло в том, что свобода была ограничена периметром монастырской тюрьмы.

Так вот, Антонио – этот крупнейший специалист по тюрьмам – говорил, что для арестанта имеет значение не тюрьма, а тюремщик. Лучше очень плохая тюрьма с хорошим тюремщиком, чем очень хорошая тюрьма с плохим тюремщиком. Опыт у слушателей Антонио был ничтожным, мы его слушали с интересом, но довольно рассеянно. Однако к словам итальянского анархиста я мысленно часто возвращался во время моих тюремных скитаний. Думаю, что Антонио был

прав. И не только в частностях, но и в главном. Ипполит Тэн в своей «Истории Франции» писал, что Наполеон превратил Францию в огромную казарму, которая полностью отражала характер ее создателя. Но ничто в государстве так не отражает характер ее создателя, как тюрьма. Она есть наиболее совершенное выражение духа и плоти того, кто стоит во главе авторитарного государства. Ибо он и есть главный тюремщик.

Тюремщик – это не только тот реальный человек, который со связкой ключей ходит по тюремному коридору, открывает камеры, два раза в день считает арестантов, водит их на оправку и прогулку, сажает в карцер, выпускает своих подопечных на время, на допросы, или навсегда, на волю, на этап, на расстрел. Кроме этих, лица которых нам становятся знакомыми, которых мы, не зная их фамилии, награждаем кличками, – кроме них есть еще уйма других тюремщиков. Многие из них и не бывают никогда в тюрьме. Они сидят в нормальных кабинетах, с клеенчатыми диванами, дорожками на полу и портретами на стенах. Они занимаются только тем, что читают бумаги, пишут бумаги, разговаривают по телефону, ходят к начальникам и дают им подписывать свои сочинения. В течение рабочего дня они несколько раз звонят по телефону своим женам, любовницам, родителям, детям и спрашивают у них о здоровье, настроении, домашних разносях. Если по окончании рабочего дня нет собраний, они едут домой и в кругу близких предаются всем приятностям или неприятностям домашней жизни. Как все.

Но именно эти люди и сочиняют все правила тюремной жизни. Они определяют время и порядок тюремной прогулки; количество и качество тюремной пищи; они обсуждают и решают, какими должны быть кровати в камерах; должен ли быть или нет матрац на койке; сколько писем может получать арестант; можно ли делать ему передачу и какую... Словом, это они и сочиняют весь комплекс того, что называется тюрьмой. Каждый карцер, прежде чем стать темным и вонючим ящиком или же светлым адом, существует в описаниях, чертежах. Под этими описаниями и чертежами есть подписи авторов, а в углу и по сторонам под словами: «согласовано», «утверждаю» стоят подписи начальников этих авторов. И если нужно повесить человека, то эти люди делают чертеж виселицы – как это положено, в разных проекциях; и если нужно расстрелять, то они

же в чертежах и описаниях предпишут, как и куда стрелять, как и чем смывать кровь; и они же составляют детальное техническое описание тюремных и лагерных кладбищ; они указывают, кто и как должен вырывать у покойника золотые зубы, чтобы добро не пропадало; какого срока белье должно быть на покойнике; чем писать номер на деревянной бирке, привязываемой к ноге покойника, и к какой ноге; чем разбивать череп покойника перед захоронением, дабы быть убежденным, что никто не попытается использовать смерть и похороны для бегства...

Все это делают вот эти неизвестные нам люди. Именно потому, что они нам неизвестны, они страшны своей загадочностью. Мне всегда хотелось знать: какие они, как выглядят? Они ведь самые разные. Кроме неудавшихся архитекторов, которые – соблазненные пайками и высокой зарплатой – пошли делать чертежи тюрем, есть и другие: прокуроры, судьи, еще кто-то там... Как, например, выглядит тот самый прокурор, который ответил тете Паше?

Тетя Паша была пожилой, доброй женщиной, которая мыла полы в коридоре. Она относилась ко всем конторским с жалостью за их неумение делать что-то полезное и нужное. Обшивала всех нас, ставила заплатки на штаны и телогрейки «придурков», не достигших еще тех высот, когда носят одежду только первого срока. История жизни тети Паши была несложной. Сама она из Златоуста, муж у нее погиб во время аварии на домне, осталось двое сыновей-подростков. Жили – соответственно. Добрые люди научили тетю Пашу поехать в Челябинск, купить там чулки и продать их, естественно, с надлежащей наценкой – в Златоусте, где этих чулок не было. Дальше все рассказывалось в обвинительном заключении и приговоре суда, которые, в соответствии с законом, были выданы тете Паше на руки. Она «с целью спекуляции приобрела в Челябинске 72 пары нитяных чулок, каковые пыталась перепродать на рынке г. Златоуста по спекулятивным ценам». Тетя Паша была избита, арестована, судима и приговорена за спекуляцию к семи годам заключения, с конфискацией принадлежащего ей имущества. Детей разобрали знакомые, да они уже и могли скоро поступить на все готовое в ремесленное училище. Прошло пять лет, началась война, дети тети Паши достигли возраста, когда можно защищать свою Родину, и ушли воевать.

Сначала тетя Паша получила похоронную на младшего, и ночью, оставаясь в конторе мыть полы, она выла и билась головой о столы.

Потом она пришла ко мне в контору с каким-то остекленевшим лицом и протянула толстый пакет, который ей дали в УРЧ – учетно-распределительной части. В пакете было несколько медицинских справок, постановлений комиссии, история болезни. И ко всему этому – письмо тете Паше от начальника госпиталя. Речь шла о старшем сыне тети Паши. Он лежал в госпитале после тяжелого ранения, врачи сделали все, что могли, он был – как написано в заключении – «практически здоров» и мог быть выписан из госпиталя. Но у «практически здорового» человека не было одной ноги и обеих рук. Выписать его из госпиталя можно было лишь при условии, что есть у него близкие, которые возьмут его и будут за ним ухаживать. Очевидно, сын сказал, где находится его мать. Потому что начальник госпиталя писал, чтобы мать раненого солдата написала заявление в Прокуратуру СССР, приложила посланные ей документы, после чего ее освободят.

– Мануилович, напиши, родной... – сказала, плача, тетя Паша.

Я написал. Убедительно написал. Подшил к письму все присланные документы и передал в УРЧ. Прошло два или три месяца, и каждый день я успокаивал тетю Пашу, уверяя ее, что таких заявлений много, что требуется время, чтобы оформить ее освобождение, я расписывал по дням всю длинную процедуру хождения по инстанциям ее дела. Тетя Паша плакала, верила и брала у меня бумагу, чтобы ежедневно писать письма сыну.

Однажды я зашел в УРЧ. На столе лежала груда бумаг, отсортированных для вручения или объявления арестантам. Мне бросилась в глаза фамилия тети Паши. Я взял ее и прочитал небольшую бумагу с бланком Прокуратуры СССР. Прокурор какого-то ранга или класса извещал тетю Пашу, что заявление ее разобрано и в просьбе о досрочном освобождении отказано «за отсутствием основания». Я осторожно положил бумагу на стол и вышел на крыльцо, умирая от страха, что могу сейчас увидеть тетю Пашу... Везде, в бараке, в конторе, везде были люди, которых я не мог, не хотел видеть. Я побежал в сортир и там задрожал, схватившись за вонючие стены из рудстойки. Так со мной было всего два раза за тюремную жизнь.

Почему я плакал? Потом я понял почему: от стыда. Я умирал от дикого стыда, невыносимого стыда перед тетей Пашей. Во время первой мировой войны во Франции освобождался от любого срока заключения – даже от пожизненного – арестант, у которого сын погиб на фронте...

За 72 пары нитяных чулок тетя Паша уже отбыла пять лет лагеря, она отдала своему государству двух сыновей и вот – «нет оснований»...

Я дал себе слово, что если мне суждено будет освободиться, то я приеду в Москву, разыщу этого прокурора, чтобы посмотреть, какой он? Какие у него глаза, как выглядит? Многого я не сделал в своей жизни, и этого тоже. Я даже забыл фамилию этого прокурора. Не то Дмитрошук, не то Дмитриев, не то Дмитриевский...

Но как бы ни была значительна для нас роль этих далеких тюремщиков, мы общались прежде всего с тюремщиками реальными, такими, от которых мы зависели каждый день, каждый час. Так было в Бутырках, в Котласской пересылке. Среди них мы уже различали более мерзких и менее, просто служаки и энтузиастов своего тюремного ремесла. От них зависела степень удобств нашей неприглядной жизни. Но никому из нас не приходило в голову, что от них и зависит сама наша жизнь. Это я понял только во время своего первого пешего этапа.

Из Котласа нас в барже привезли в Вогвоздино: пересыльный пункт на Вычегде. Это памятное для меня место. Там я познакомился и подружился с Александром Сергеевичем. Там, в Вогвоздине, через пять месяцев после того, как я там был, умерла Оксана – моя жена.

Из Вогвоздина мы шли пешим этапом по недавно построенному тракту Устьвым – Чибья. Прорубленный в тайге, он был проложен по болотам, уже разбит колесами грузовиков, песок и щебенка колыхались под нашими ногами, мы шли по непросыхающим лужам. В день мы делали 25 километров, к вечеру приходили в этапный станок: загороженное забором с вышками место для ночлега арестантов. Погода в этом августе была теплая, даже жаркая, идти по зыбучему песку было трудно. И еще – нам попался жестокий конвой. Каждое утро мы выстраивались, и начальник конвоя – невысокий, рябой парень – строго оглядывал колонну и медленно, отдельно читал нам конвойную молитву: «По пути движения соблюдать ус-

тановленный порядок: не разговаривать, выполнять все требования конвоя. Шаг вправо, влево, нарушение правил считается попыткой к побегу, оружие применяем без предупреждения. Понятно?!» Строю арестантов надлежало хором отвечать «Понятно!» Если начальнику конвоя казалось, что мы отвечаем недостаточно громко и дружно, он снова грозно спрашивал: «Понятно?!» И так до тех пор, пока не получал требуемое удовлетворение.

И весь конвой был под стать своему начальнику: малорослый, рябой и ретивый к службе. Однажды – это было на второй или третий день пути – я заговорился с шедшим рядом Александром Сергеевичем, заговорился настолько, что забыл об осторожности, рассказывая ему историю словаря, редактором которого я однажды был. Вдруг мы услышали крик: «Колонна, стой!..» Мы остановились не понимая, в чем дело. Напротив меня на обочине дороги стоял конвоир и, держа винтовку на весу, кричал:

– Ложись! Ложись, троцкист... твою мать!..

Не сразу я понял, что крик обращен ко мне. Я оглянулся и увидел, что стою в глубокой грязной луже. И туда мне предлагал лечь этот молодой рябой иднот, эта скотина, эта вооруженная гадина!.. А я не лягу! И стреляй, сволочь!!!

– Ложись! Конвою сопротивляешься, блядь! – Конвоир щелкнул затвором и послал патрон в ствол. Глаза его горели яростно, весело и торжествующе, он весь был какой-то праздничный.

– Ложись! Ложись же, ложись!.. – неся ко мне шепот моих товарищей. И я понял, что вот он сейчас меня застрелит, все окончится, я так и не узнаю ничего о своих, не доскажу своей истории Александру Сергеевичу..

Медленно сгибая колени, я опустился в лужу, приложив щеку к какому-то бугорку в ней, и закрыл глаза. Господи! Как бы так лежать и дальше и не вставать...

– Вставай!

Очень медленно я поднялся и посмотрел на конвоира. Глаза его потухли, лицо утратило праздничность, вдохновение убийцы ушло из него. Так ему и не удалось убить. Вероятно, ему это было приятно. Ему было приятно, что он может убить человека, что стоит ему нажать курок и сразу же исчезнет целый человек со всем миром мыслей и связей, от этого конвои-

ра не зависящих. Этот чужой и независимый мир существует, но лишь до тех пор, пока он не выстрелит.

И я тогда понял, что в одном они, тюремщики, сильны: они могут нас убить. Больше ничего они с нами не могут сделать. Александр Сергеевич (Асы – я так его всегда звал) мне привoдил слова Сенеки: «Избежать этого нельзя. Но можно все это презирать». Асы научил меня чувствовать себя свободным от унижения, он научил меня это все презирать. В распоряжении тюремщиков осталось одно: они могли меня убить. Ну, и еще могли увеличить или уменьшить меру моих физических страданий.

* * *

Поскольку тюремщики все же происходят из людей и по своему устройству от других людей не отличаются, каждый из них обладает уникальностью и своеобразием, свойственным человеку. Поэтому я не считаю, что тюремщики, о которых я буду дальше рассказывать, обладают особенными типическими чертами. Я просто хочу здесь рассказать о некоторых тюремщиках разного уровня, с которыми мне пришлось иметь дело. Это были люди самых разных знаний, рангов и возможностей. Среди них были умные и глупые, добрые и злые, чиновники и энтузиасты. Я и миллионы других людей от них зависели. Я расскажу о своих тюремщиках. Пусть другие расскажут о своих. Я думаю, что это надо знать всем тем, кто не испытал того, что испытали мы, и не знает того, что знаем мы.

Иван Ефимович Залива

Прошла неделя нашего этапа. Позади остался тракт до Княжпогоста, недостроенная железная дорога от Княжпогоста до Весляны, большие деревянные ворота над лежневой дорогой, что-то вроде триумфальной арки с красивой надписью: «Устьвымлаг НКВД СССР». Остался пересыльный пункт нашего лагеря и 11-й лагпункт, и командировка Зимка, и Мехбаза. Мы теперь шли по широкой песчаной дороге, взбираясь с горы на гору. По сторонам стоял сосновый бор необыкновенной красоты. Ровные бронзовые стволы уходили в небо. Земля

между деревьями была покрыта серебристым ковром: ровным, бархатистым, никогда мною не виданным. Это был ягель. За неделю нашего этапа мы устали, устал конвой, конвоиры не давали нам обычных десяти минут отдыха через каждые два часа пути, больше обычного матерились, подгоняя отстающих, они торопились скорее сдать нас другим хозяевам.

Наконец за крутым поворотом блеснула река. Быстрая на перекатах, спокойная в заводях. Весляна – какое красивое название! Древнеславянское, что ли? На другой стороне реки стоял уже привычный нашим глазам архитектурный комплекс: высокая, из бревен, вкопанных стоймя, «зона» – забор; за ним приземистые бараки, несколько поодаль невзрачные дома начальников и вольнонаемных; длинное здание конюшни, дымящаяся труба пекарни... Наша колонна медленно проползла через наплавной мост и подошла к вахте. У ворот зоны стояли разные люди: востренькие молодые люди в телогрейках первого срока, с отчищенными фанерками и карандашами в руках – нарядчики; другие личности арестантского вида в белых халатах – очевидно, врачи; надзиратели и вохровцы, одетые отнюдь не для парада. И впереди всех – высокий человек в хорошо сшитой шинели, синей энкавэдэвской фуражке, начищенных до невероятного блеска сапогах. Он весь переплетен ремнями портупей, рука твердо лежит на деревянной кобуре маузера, глаза смотрят снисходительно, но со строгостью. Это и был наш первый лагерный начальник: начальник 1-го отдельного лагерного пункта Устьвымлага НКВД СССР – старший лейтенант госбезопасности Иван Ефимович Залива.

О нем я хочу рассказать не только потому, что это был мой первый лагерный тюремщик, но и еще потому, что он был любопытным явлением. Такого я впервые встретил и мог следить за ним несколько лет. Сама личность Заливы имела значение для многих и очень для нас важных перемен, происходивших в лагере. Мне неизвестна предшествующая лагерю часть биографии Заливы: где учился, где работал, как стал старшим лейтенантом госбезопасности – чин отнюдь не маленький для органов... Залива был человеком дикого невежества и редкой глупости. В этом смысле он резко выделялся даже на фоне всего лагерного начальства, не страдавшего излишними знаниями и умом. Он не был вором – как большинство других начальников; не был самодуром – строго придерживался

инструкций; не был садистом – с грустным сожалением он провожал глазами сани, на которых в сорокоградусный мороз увозили связанных, совершенно голых отказчиков в штрафную командировку. Скорее в нем присутствовало даже некое украинское добродушие; улыбочивость, умеряемая необходимой для его должности строгостью.

Залива всегда стремился делать то, чего от него хотело его начальство. От него требовали, чтобы он принимал как можно больше эков, и он принимал этап за этапом, не отговариваясь – как некоторые другие – отсутствием бараков, палаток, одежды, инструмента, продовольствия... Во всей своей деятельности он руководствовался прежде всего интересами государства. Из списка продуктов в требованиях на продбазу вычеркивал рис, манку и пшено, заменяя их дешевой ячневой сечкой; солонину заменял треской; справлялся о ценах на медикаменты и требовал, чтобы лекарства были дешевые. Охотно брал с базы бушлаты и валенки второго, а то и третьего срока вместо дорогих новых. Очень берег самый дорогой инвентарь лагеря – лошадей. Сам ранним утром приходил на конюшню и следил, как кормят лошадей дефицитным овсом. Следил за тем, как отвешивают его и скармливают. Пока Залива ходил на конюшню, арестантам не удавалось отнимать у лошадей причитающуюся им пайку, лошади хрупали овсом на виду у строгого и неподкупного начальника. В месячных сводках по лагерю наименьший отход лошадей был на Первом лагпункте. Заливу всегда за это хвалили.

За «контингент з/к» с него первое время никто не спрашивал. Первый год нашей лагерной жизни – 1938/39-й – когда этапы шли один за другим, Заливу ставили в пример – он всегда находил место для новых «контингентов». Просто эти места у Заливы быстро освобождались. Наш московский этап, прибывший на Первый лагпункт в конце августа 1938 года, насчитывал 517 человек. Весною 1939 года из москвичей осталось на лагпункте 27 человек. Ну, человек 20–30, наверное, были этапированы на другие лагпункты для работы по специальности. Остальные все умерли. В первую же зиму. Кроме московского этапа вымирили смоленские, ставропольские, могилевские этапы.

В ноябре 1938 года к нам пригнали 270 китайцев с Дальнего Востока. Это были жители Маньчжурии – в огромных

волчьих шапках, длинных шубах, каких-то особых ватных сапогах. Оказывается, они, испокон веков живя на границе, которая не имела видимого обозначения, летом переходили в Россию и работали до зимы на огородах. В 1937 и 1938 годах их всех посадили, дали по восемь лет за «незаконный переход границы» и poslали в лагеря. Залива на них не нарадовался. Он их поставил на ручную трелевку. Трелевать – это значит доставлять бревна к дорогам вывозки. Трелюют обычно на лошадях. Но лошадей было мало, они были дороги, для лошадей необходимо было на лесосеке делать трелевочные волоки. Гораздо проще было трелевать людьми. Человек 6–8–10, в зависимости от кубатуры балана, берут его на плечо и несут. Я был на ручной трелевке и знаю, что это такое. Глаза вылезают из орбит, все мысли вылетают из головы, идешь, думая только об одном: скорее, как можно скорее свалить это страшное, давящее, убивающее... Больше недели такой работы никто из нас не выдерживал. А китайцы день за днем ровно, тихо и спокойно работали. Каждый из них в правой руке держал палку, которой осторожно прощупывал дорогу. Десять человек несли бревно, в котором было почти две тонны, несли осторожно, размеренно, очень хорошо несли.

Они были очень добрыми, честными и работающими людьми – эти китайцы. И даже в лагере соблюдали относительную чистоту. Месяц или полтора Асы и я жили в китайском бараке, что было большим счастьем: в этом бараке не воровали, не грабили, всегда было подметено. Китайцы приходили с работы в полной темноте, съедали баланду, а потом чинили свою разорванную меховую одежду. (Залива на этом сэкономил, можно было им не выдавать лагерной.) Они сидели на корточках на нарах, во рту держали горящую лучину (тогда другого освещения не было) и ловко, быстро зашивали свои тулупы. 269 китайцев умерли к февралю 1939 года. Остался только один, который работал поваром на кухне.

Каждое утро Залива вызывал нарядчика и плановика, тщательно и строго расспрашивал о результатах развода. Сколько прошло по «группе А» – работающие, сколько по «группе Б» – обслуга и сколько по «группе В» – освобожденные по болезни. Он строго следил, чтобы все эти группы укладывались в присланные Управлением лагеря контрольные цифры. И уж потом он спрашивал о «литере В» за ночь. «Литер В» – это умер-

шие. На них управление контрольных цифр не спускало, а следовательно, за них и не спрашивало. В нашу первую зиму каждые сутки по «литеру В» на нашем лагпункте «проходило» 25–30 человек. Никаких особых болезней и не было. Просто Залива строго соблюдал все правила. Приходил этап, первые три дня люди, согласно инструкции, работали на гарантийном питании – пока не втянутся в работу. Затем их переводили на питание по выработке. Нормы эти были с трудом выполнимы даже для привычных квалифицированных лесорубов, имеющих хороший инструмент. Они были совершенно невыполнимы для людей, непривычных к тяжелому труду, ослабленных тюрьмой и этапом, раздетых и разутых. Через три дня все прибывшие заключенные переводились на штрафной: триста граммов сырого черного хлеба, две миски затирухи в день. И все. Через неделю, десять дней, две недели люди начинали странно пухнуть, неудержимый понос за два-три дня доводил их до конца.

Простоватый и добродушный Залива на моих глазах только за одну зиму убил около полутора тысяч человек. А может, и больше. И – удивительно: к нему заключенные относились как-то незлобиво, с усмешкой. Дело в том, что для нас в большой мере качество тюремщика измерялось еще и возможностью его обмануть, провести. А глупость, невежество и трусость Заливы давали арестантам немалые возможности. Залива ходил на конюшню и мешал воровать овес лишь до тех пор, пока ветврач уважительно и скорбно ему не сказал:

– Смотрю я на вас – храбрый вы человек, гражданин начальник!

– Это конечно, – снисходительно согласился Залива. – А почему? – вдруг спросил он, побледнев от страха.

– Так ведь лошади-то у нас чем больны? Инфекционной анемией. Ин-фек-ци-онной...

– Троцкист проклятый! – заревел Залива. – Ты чего ж не сказал сразу, что здесь зараза!

Больше ноги его никогда на конюшне не было.

Выполняя старую, никем не отмененную инструкцию о содержании заключенных в лагере, Залива не допускал, чтобы 58-я статья использовалась в службе лагеря. Не только нарядчики и коменданты, но и каптеры, завстоловой, пекарней, санитары, дневальные – все они были «социально близкими» –

как именовались в инструкции воры, бандиты, насильники и прочие уголовники. Естественно, что даже сокращенный в интересах государства паек и вполнину не доходил до работяг. Дикое воровство и произвол были нормой внутриарестантской жизни на лагпункте.

Но при Заливе начал происходить необратимый процесс завоевания лагеря 58-й статьей. Залива процветал лишь первую зиму, когда от него никто не требовал выполнения плана в кубометрах древесины. Но через год, когда прошел угар избыточного количества эков, из Москвы строго сказали, что лагеря не только должны содержать арестантов, но и давать «отдачу» – так странно и малопрстойно в официальных документах назывался экономический результат работы миллионов заключенных.

И тогда у Заливы стала размываться, прежде такая четкая, такая ясная и хорошая граница между тем, что «можно» и чего «нельзя». Для сохранения благосклонности начальства ему понадобились умные плановики и бухгалтеры, опытные инженеры, способные организаторы, честные кладовщики... Он их мог брать только «в пятьдесят восьмой». И выяснилось, что инстинкт самосохранения у Заливы настолько развит и силен, что способен заменить ум, образование, опыт. Залива решительно посылал на общие работы столь милых ему «социально близких», он ставил на все командные посты тех, на кого ему указывали начальник плановой части, главный бухгалтер, врач. Прораб, плановик пользовались тупостью Заливы без всякого снисхождения. Из и без того скромной выработки они значивали чуть ли не половину и после дневной сводки бледный от страха Залива уже не вызывал плановика, а сам прибежал в Плановую часть и заикаясь, почти униженно, просил «подкинуть» ему несколько десятков или сотню кубометров... К ночи прежде столь грозный и уверенный в себе начальник делался жалким и потливым от дикого страха: каждую ночь сейчас шла селекторная переключка.

Примерно к полуночи в кабинет Заливы собирались главные начальники лагпункта. Заливу, сидевшего за роскошным письменным столом, изготовленным собственным краснодеревщиком, окружали разных званий вертухаи: начальник охраны, «опер», начальник санчасти, начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). А поодаль сидели начальники из

зэков: плановик, бухгалтер, нормировщик, контрольный десятник, прорабы. И на них-то, на них – с выражением страха, скорби и надежды – смотрел Иван Залива. Как же он проклинал, наверное, эту проклятую технику, этого арестанта-радииста, который так ловко и быстро все устроил и скромно сидел тут же, чтобы – если понадобится – устранить повреждение в трансляционной сети.

Все сидят, разговаривая вполголоса, как будто их могут услышать еще более, чем они, всемогущие начальники, которые сейчас также сидят там, в Вожаеле, в кабинете грозного начальника Управления лагеря. Залива не сводит скорбно-собачьих глаз с небольшого квадратного ящика, стоящего на столе. Наконец ящик начинает трещать, хрипеть, откашливаться. Из него вылезает голос начальника производственного отдела, опрашивающего все лагпункты, участвующие в переключке. Потом из ящика раздается спокойный, уверенно-наглый голос самого начальника Управления. Бедный Залива командует на Первом лагпункте, поэтому с него начинают, ему достается самая большая часть начальственного гнева и усердия.

– Залива! Давайте сводку выработки.

Дрожащий голос Заливы прерывается рыком:

– Сколько, сколько? Вы чего там, бездельники и дармоеды, делаете? Где государственный план? Я вам послал контингент, я вам подкинул лошадей, где отдача? Я вас, дурака, заставляю эти кубы на своем фую принести!..

Когда Залива пробует в этот поток ругани вставить робкое слово оправдания или обещания, его останавливают так, что даже привычные вертухаи начинают упорно смотреть в пол. Наконец эта попытка временно приходит к концу.

– Если завтра не повысите выработку на сто пятьдесят кубов, вы у меня все с голыми жопами в лес пойдете кубы давать! А что с вами делать, когда не можете зэков заставить работать.

Потом идет разговор с другими лагпунктами – более счастливыми, а часто и менее счастливыми... Время от времени начальник вспоминает про Заливу:

– Залива, вы здесь? Слышите, как работают на Четырнадцатом? А у них и людей, и лошадей меньше! Там умеют заставить работать! Там знают, что такое государственный план! А на Первом, наверное, санаторий устроили, пользуются тем, что начальник дурак!..

А ведь Залива считал, что заставлять работать он умеет!.. И врачей, и всех лагерных «придурков» заставлял часто в лес идти... Но вот кубы, где брать эти проклятые кубы?! Их можно было взять только обращаясь к «троцкистам». И Залива выманивал у плановика сотенку кубов «на собственные нужды»; он согласен был на то, чтобы в кабинке прораба жила его любовница; он вообще был согласен на все ради сохранения своей нелегкой, а все-таки начальственной жизни. Кроме страшной ночи переключки, был и день. Когда можно было сидеть в кабинете, карать, а если надо – то и миловать; когда можно было на превосходных легких саночках, в которые был впряжен чистокровный рысак – из «анемийных» – объезжать «объекты»; когда можно было, прожив день, подсчитать, сколько он ему, Заливе, лично дал прибыли и убытка. Дело в том, что Залива был еще феноменально скуп. Воровать он боялся, потому что его трусость была почти равна скупости. Но на себя и жену он старался тратить как можно меньше. Обед – как пробу – ему приносили из арестантской кухни. Так как обед этот всегда был сытный и вкусный, то недоеденное он брал с собой – для жены. Даже хлеб ему приносили из пекарни – для «пробы». Когда все же жена должна была выкупать паек – не пропадать же ему! – она записывала количество и цену каждого продукта. Залива с этой бумажкой приходил в бухгалтерию и проверял: не обсчитала ли его жена. Иногда он и сам перевешивал продукты. Все в его доме было заперто, ключи Залива носил с собой. Утром он выдавал жене харчи, потребные для прокормления...

По мере того, как люди в лагере становились относительно дороже, а требования «отдачи» все больше увеличивались, Залива все время понижался в должности. Он стал заместителем начальника, потом переведен на маленький лагпункт, где делал лыжи, потом еще куда-то. К концу войны я застал его начальником небольшой командировки – так назывались филиалы лагпунктов. После войны он уволился и распродал все свои вещи. Заключение он продал некоторые сношенные шинели, продал им своего большого рыжего кота. Долго и страстно торговался с ними, перечисляя все превосходные качества кота.

Он уехал на свою Украину, увозя замученную жену, огромные сундуки, неизвестно чем набитые, и добрый шматок де-

нег, заработанных годами усердия и привязанности к родному государству. Друзей он на Первом не оставил, зла к людям не имел и через несколько месяцев прислал начальнику охраны довольное, сытое справедливостью, письмо. Его все же оценили: не на лютном и надоевшем Севере, а на родной теплой Полтавщине назначили начальником райотдела МГБ.

Корабельников

В Котласе на пересылке я его ни разу не видел. Не видел я его и когда нас вели на пристань. Я на него обратил внимание лишь к концу первого дня жизни в барже. Буксирный пароходик не спеша тащил по Северной Двине, а потом по Вычегде две баржи с арестантами. В трюме нас было набито человек четыреста или пятьсот. Негде было присесть, спать ложились по очереди. Нар в трюме не было, мы просто сидели и лежали на грязном и сыром полу. Дождь бил в потолок и борта, речная волна плескалась где-то выше головы. Кормили нас почему-то только селедкой. Правда, какой! Это была настоящая дальневосточная «иваси» – небольшая, жирная и вкусная до изнеможения. Мы ее ели с кожей, чешуей, потрохами, головой, хвостом, костями. Вот только после нее хотелось пить, а сырую, забортную воду давали только два раза в день по одной кружке. К люку, ведущему на палубу, днем и ночью стояла длинная очередь. Переминаясь с ноги на ногу, кроя конвой в гроб и душу, люди нетерпеливо стучали в люк. Многие не выдерживали, мочились и испражнялись тут же в углу. Наверху, на мокрой палубе, вусмерть пьяные конвоиры плясали и истошно кричали песни. Время от времени они открывали люк и провожали пинками очередной десяток арестантов, спешивших пробраться к маленькому дощатому сортиру на корме. Наиболее строптивых арестантов конвоиры раздевали догола и усаживали на деревянную чалку. Сидя под дождем, наказанный зэк становился свидетелем всех причуд конвойного веселья.

И вот там, в барже, я увидел Корабельникова. Плотно сбитый, без всяких признаков тюремной бледности, он выделялся своей уверенностью и спокойствием. Был хорошо одет, прямые пшеничные волосы он ежеминутно встряхивал, резко

вскидывая голову. И были у него странные какие-то глаза: светлые, почти такого же цвета, как и волосы. От этого его круглое лицо приобретало необычный вид – как у незрячего, чьи глаза закрыты бельмами. На барже большинство сбивалось в кучки, свои жались к своим. Впервые нас соединили с уголовниками в Котласе, но и там «пятьдесят восьмая» жила в отдельных бараках. В трюме баржи мы были вместе, но мы не смешивались – как вода и масло. И внутри каждой категории люди распались еще и на сокамерников, на мелкие подгруппы, основанные на каких-то неясненных, но общих интересах.

Корабельников не примыкал ни к одной группировке, он ни с кем не смешивался. Он не был похож ни на блатного, ни на политика. И селедку он получал на себя одного, и сам ее ел, не входя ни в одно из арестантских сообществ, организованных по великому принципу «кушаем вместе». И его нисколько не смущала эта отчужденность от других. Он уверенно переступал через лежащих на полу людей, он дышал воздухом трюма, состоящим главным образом из запахов мочи, селедки, кишечных газов, махорочного дыма, так свободно и легко, как будто это был воздух леса или покрытого цветами луга.

Познакомились мы неожиданно. Я отошел от своих к борту. Там из каких-то щелей бил свежий, холодный воздух, и можно было к такой щели припасть и подышать всласть. Я присел на пол, оглянулся. Около меня сидел этот, замеченный мною уже раньше, человек с желтыми глазами. Неподалеку, разлегшись на своих скудных сидорах, блатные пели старую соловецкую песню:

Трюм наш тесный и глубокий,
Нас везут на «Глебе Бокий»,
Как баранов...

– Да, – вскинул голову желтоглазый, – Глеб Иванович Бокий! Авторитетный был человек!..

Я повернулся к нему:

– А вы что, знали Глеба Ивановича Бокия?

– Ого! А как же! И не его одного. Кого только не знал, кого только не видел! И Артузова, и Молчанова, и Бермана... Ну, само собой – Паукера... А ты откуда Бокия-то знаешь? Или тоже?..

– Это мой тесть...

– А?! Ну, ясно-понятно, значит...

Желтоглазый оживился, на лице его исчезло то странное выражение, характер которого я раньше не понимал. Это было выражение превосходства над всеми этими людьми в барже. Это выражение я видел на его лице почти всегда. Кроме тех редких случаев, когда мне приходилось быть свидетелем разговора Корабельникова (такая обычная фамилия у желтоглазого) с начальством. С любым начальством. Тогда у Корабельникова желтые глаза его загорались собачьим умом: вниманием, почтением и пониманием. А потом глаза снова потухали, и он снова смотрел на ненадлежащий мир спокойно и равнодушно. Даже без зла. Это было удивительно, потому что из множества злодеев, которых мне пришлось в этом странном мире встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление. Уже после лагеря, даже после второй тюрьмы, второго лагеря, Корабельников – его прямые пшеничные волосы, его желтые и равнодушные глаза – мне снились по ночам, и я стонал во сне и просыпался, покрытый липким потом...

Даже такого нечеловека, каким был Корабельников, очевидно, тяготили одиночество и невозможность разговаривать о том единственном, что он считал ценным и интересным в жизни. Меня он сразу принял за «своего». Я ведь знал по фамилии всех его богов – начальников, я был зятем одного из них, человеком, безусловно, с его точки зрения, посвященным во все тайны, в которых он жил. Мне было нетрудно поддерживать в Корабельникове эту уверенность. Много тайн я знал, а о тех, каких не знал, говорил как о чем-то мне давно и хорошо знакомом. Корабельников мне был страшен и непонятно отвратен с первого взгляда, первого звука его голоса. Но неистребимое любопытство жило во мне, и я осторожно, чтобы не вспугнуть, – потрошил то липкое, страшное и омерзительное, чем он был наполнен.

В служебной энкавэдэвской иерархии Корабельников занимал весьма ничтожное место. Он был рядовой оперодчик, работал в Оперативном отделе НКВД, начальником которого был Паукер. Это отдел, который занимается слежкой, охраной начальства, арестами, выполнением приговоров. Но, судя по рассказам Корабельникова, он был при малом своем звании – не то младший лейтенант, не то просто лейтенант – челове-

ком доверенным. Теперь я жалею, что не сумел в себе преодолеть ужас и брезгливость и уже через два дня стал скрываться в тюремном аду от Корабельникова, от его рассказов. Но Корабельникова я навсегда запомнил. И сейчас я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо, его прямые, вскидываемые вверх волосы, его похожие на бельма глаза. И слышу его ровный и спокойный голос.

* * *

—...Работать, конечно, можно везде. Но у нас надобно иметь сноровку и — знаешь — такое понимание. Я на наружном работал немного, работа малоинтересная, перешел на операции. Ну, вот там надо понимать всю тонкость. Я когда прихожу на операцию, сразу же срисую себе, что это за народ. На того, кого беру, и не смотрю — его без меня будут колоть. А вот я сразу же берусь за всю кофлу в его квартире. И сразу же соображаю, кто ему — арестованному — кто есть. За кого он — за мать, или за жену, или за сына, дочь — за кого он больше боится, кого больше обожает, что ли... И берусь за того... Ох, берусь так, что голубчика на Лубянку привозят уже готовенького — только оформляй... Делаю обыск и по глазам все узнаю — где что искать или что им всего дороже. И не нужно это, конечно, всякая там ерунда — кукла какая от помершей девочки или что... Но сразу же понимаю, как что брать, чтобы их всех перевернуло! Знаешь, в ногах валялись, на все готовы были... И бабы такие из себя красивые да гордые готовые тебе сапоги лизать, могу любую из них тут же... Конечно — ни-ни... Невозможно. Но могу!.. Паукер на этот счет был строг, я же себе не враг. Некоторые из наших так, незаметно от других ребят, дадут свой телефончик и потом пользуются. Самого-то уже отвезли в Лефортово и в расход списали, а его баба или дочка, скажем, ездят куда им скажут, дают со всем усердием, верят, что поможет, выпустят ихнего... Но это дело рискованное, я на это никогда не шел, начальство всегда во мне было уверено: ни на шаг ничего не нарушу, все сделаю как надо! Мне их трахать и не надобно, мне достаточно знать, что могу, что захочу я — все с ними могу делать!..

Сам Волович меня заметил, иногда самолично вызывал и давал распоряжения такие, которые не мог доверить какому-нибудь пентюху. И было, было всякое, занятное было, да...

– Государственное?

– И государственные дела были, ответственные. И другие. Ну, ты же знаешь, все эти начальники люди-человеки, всех тянет на такое сладенькое, что не позволено. Это меня они в ключья измочалят, если я при обыске что-нибудь там сопру или отведу девочку в другую комнату для личного обыска... А у самих есть такие, понимаешь, дела, ух, только держись! И в делах государственных, и в своих – всегда нужны верные люди. Я всегда был верным!

...В тридцать четвертом, первого декабря, нас всех вызвали, со всех концов Москвы собрали. Паукер и Волович лично отбирали людей. Меня первого вызвали. Ночью нас всех в специальный поезд – и в Ленинград. Приехали. Перрон оцеплен. Встречают нас Медведь, все ихние начальники. Нас сразу же на машины и на Литейный. И там меня вызывают и дают поручение, какое не каждому дадут. Мне и еще одному парню. И почти месяц сидел в тюрьме, во внутренней...

– Это за что же?..

– Ну, не арестантом же сидел!.. Я сидел в камере с Николаевым. Что Кирова шлепнул. И не подсадкой сидел. Николаев знал, кто я. Мы с моим напарником сменялись каждые шесть часов. Его ни на минуту одного не оставляли. Один только раз, когда к нему в камеру пришел сам Иосиф Виссарионович, мы его одного с ним оставили. Вот так они в камере беседовали целый час, а мы стояли за дверью. А с нами знаешь кто?.. Ух! Вот где было начальников!!!

– А потом?

– А потом Сталин вышел, а я зашел.

– А какой он был, Николаев?

– Так, чудик. Как будто его мешком по голове хлопнули. Завалится на койку и лежит, голову кутает... Ну, это я ему запрещал. Не полагалось, голова и руки должны быть все время на виду, чтобы не сделал, дурак, с собой что-нибудь... Или же бегают по камере, сам с собой чего-то разговаривает. А то начинает меня расспрашивать.

– Про что?

– Про волю, про то, какая погода. Его на прогулку не водили. А то вдруг спросит про то, что в театре идет... Один раз спросил, как расстреливают, – вот чудик-то! Смехота! Я ему говорю: узнаешь сам, чего спрашиваешь... Вот так я с ним был

все время, устал, понимаешь. Это же надо понимать – сижу в тюряге, света белого не вижу. Из камеры выхожу, тут же во внутренке ложусь спать – потому что должен быть выспавшимся и бодрым, на службе нахожусь. Как пришли его брать на расстрел, так, понимаешь, вздохнул с таким облегчением. Проводил его, поехали мы с напарником в наше общежитие, оделись во все вольное, завалились в «Асторию» и как кутнули, ух! И девочек он раздобыл, хорошо, культурно провели время. По-человечески хоть отдохнули после такой работы...

– А с ним, значит, не пошли?..

– Это с кем? С Николаевым, что ли? Чего я не видел, подумаешь! Видел я, как их коцают. Так ведь какая в этом корысть? Вот если бы взяли исполнителем – другое дело! Да это и не по моему характеру. Конечно, Маг у нас был первым человеком. Самое высокое начальство с ним всегда за ручку, чего только скажет – сразу и пожалуйста. Всегда пьян, всегда бабы, специальную конспиративку держали для него, он туда баб водил. И охрана при ней. Вот как он шлепнул Зиновьева, Каменева там, Бухарина, ну и всяких других – захотел иметь орден Боевого Красного Знамени и чтобы указ об этом во всех газетах был. И – пожалуйста! Наградили и указ в газетах. А подумаешь – дел-то куча, пулнуть в затылок... Ну, а в помощниках у него ходить – была охота! Видел раз, после того как Каменева шпокнули, как они работают, его помощнички. Крови из него, как из свиньи какой... Тащи его в машину, вези, обмывай пол, да что я ему – уборщик какой, что ли? Нет, мне такая работа – в помощниках – она без интереса. Мне что интересно: самому быть начальником, мне самостоятельность интересна! Пока я по-глупому не погорел, у меня работенка была, будь спок! Самая чистая, разлюбезная, красивая была работа! Ух, как вспомню, что потерял по собственной своей глупости, так сердце заходит!..

– А что же это была за работа?

– А это, понимаешь, в прошлом году было. Работа такая. Вот мы с моим напарником – тоже был грамотный, образованный, знаешь, парень – приезжаем вечером в «Метрополь». Одеты мы по самой моде, в самые дорогие габардины и коверкоты, шили нам шмотки в мастерской, где само начальство шьется. В кармане полно монет. У подъезда остается оперативная, машина с человеком, а мы – как иностранцы какие –

сидим на самом лучшем месте. Столик нам уже оставлен недалеко от фонтана, оттуда всех видно. Ну, мэтр да шестерка знают, что мы за люди... Конечно, за все платим, чего не платить – деньги казенные. Но счет-то один, а натура другая! Выпьем две бутылки самого дорогого испанского коньяка, а в счете показана одна поллитра русской горькой... Едим мы лососину да котлеты де валяй, а в счете гуляш да кета... А служат с поклонами, в глаза заглядывают, ну, понимают, кто они и кто мы – что они против нас и что мы с ними сделать можем...

...Вот так сидим целый вечер, не спеша так, по-благородному, по-иностранному, едим и закусуваем, и смотрим. Сидят там иностранцы, из посольств – мы уже знаем, из каких, кто они. Смотрим, не подходит ли кто к ним из советских. А то и не перемигиваются ли с кем? Потому что из не своих к ним кто же подойдет по своей охотке, все знают, чем такое окончится... А вот мигнуть – это могут. Так, чтобы незаметно. Ну, от нас ничего не скроется!

Хорошо быть самостоятельным! Знать, что ты хозяин! Бывало, сидишь так, уже вторую бутылку кончаем и смотрим. Вокруг фонтана танцует всякая эта шушера – считают себя черт знает кем! Подумаешь, он там университеты кончал, зарплата ему хорошая идет, с ним клевая девочка, невеста там или кто ему... Вот он вьется вокруг нее, глазки у них горят, счастливые, дескать, до усеру... Про нас они ничего не знают, да знали бы – и внимания не обратили... А хозяева-то ихние – мы... Вот так они меня с моим напарником выведут из терпения, я ему говорю: давай, оформим, что ли? – Давай, говорит!..

Ну, тут мы тихо встаем, напарник мой идет в гардероб, там для нас специальная комнатка была... А я так вежливо, интеллигентно, подхожу к ним, извиняюсь так перед его бабой – как положено – чин чинарем! – и прошу его на пару слов... Она так кивает головкой, я его спокойненько пропускаю вперед в гардероб, а там – когда он спрашивает: в чем, мол, дело? – ему книжечку из кармана... И – в комнатку. Там мы его сразу за карманы, отбираем что есть, напарник берет его номерок, приносит пальто – одевайся, парень, кончилось твое счастье... И – в машину. Привезем, сдадим. А иногда еще возвращаемся обратно. Сидит его баба ни жива, ни мертва, небось, и монет у нее нет расплатиться. Вот умора-то!.. Пропал ее парень, нету его, кранты ему!.. А время такое, что понимает – конец!.. Если

бы хотел, тут же мог бы к ней подойти и везти ее к себе – на все бы согласилась, небось, лярва! Но я знаю – тут сидят и другие наши. И от Паукера, и от Особоуполномоченного – это зачем же мне засыпаться?!

– Постой! Ну вот вы привезли этого человека, сдали его... А за что? В чем его вина? Что вы про него говорите?

– Ох, и непонятлив ты! Что с ним делать – не наше дело. Там сидят ребята не дураки, оформят его как надо. Взят по подозрению; перемигивался с иностранцами, дескать... Наше дело подозреваемого взять, ваше дело разобраться, оформить, если что. У опытного и ловкого парня он тебе на всю катушку напишет... А если следователь поленился, даст ему лет восемь по подозрению в шпионаже – и будь здоров!.. И не кашляй!..

– А вдруг здесь в барже ты встретишь вот таких своих крестников? Или в лагере?

– Конечно, может быть неприятность. Ну да конвой знает. Ты не думай, наша служба еще не кончилась. Если вместе попадем, увидишь еще, что за человек Корабельников! Держись за меня, жив тогда останешься.

– А за что же тебя, вот так и взяли?

– За глупость мою. По службе я всегда был справен, на самом хорошем счету. И вот по пьяному делу трепанулса самому своему большому корешу, дружил с ним душа в душу! – трепанулса я ему про одно бабское дело у начальника... Ну, дурак же был – откуда это на меня нашло! А кореш, конечно, стукнул... Меня за задницу!.. Повинился – вот здесь я, делайте со мной что хотите – виноват, исправлюсь!.. И, понимаешь, ерундистика какая получилась: я во внутренней еще сижу, а уже того начальника, про которого я трепанулса, – взяли, да дают ему такие бабки – ой, ой, ой!.. А мне все равно: раз трепанулса, вышел из доверия, должен быть наказан!.. Сунули мне пятак СОЭ и в общий этап. Ну, этап-то общий, да я не общий. Я свое выслужу. Я не пропаду!..

* * *

Собственно, на этом разговоре и кончилось мое общение с Корабельниковым. Вероятно, если бы я нашел в себе силы, я мог бы у него узнать еще немало интересного для историка и исследователя своего времени (каким я, да и, наверное, мно-

жество других людей себя считали). Но сил преодолеть отвращение от его лица, глаз, рассказов – у меня не было. Я скрывался от него среди своих. Когда он пробирался по трюму, очевидно разыскивая меня, – я прятался...

В Вогвоздине, где нас выгрузили из барж, – он куда-то скрылся, я его ни разу там не видел. И в этапе с нами его не было. А все же Корабельников объявился – как нарочно! – именно на нашем Первом лагпункте. Мы уже работали месяц – ходили на разрубку трассы лежневой дороги. Погода испортилась, шли холодные осенние дожди, мы приходили насквозь мокрые, в остатках своей гражданской одежды, неспособной удержать немного наше тепло. Жили мы в огромной палатке, безнадежно сырой и грязной. Спали вповалку, прижатые друг к другу, на сплошных нарах, изготовленных из кругляка. Грязь и копоть от костров въелись в наши лица настолько прочно, что мы и не пытались ее отмыть. Система старшего лейтенанта Заливы за один месяц превратила нас в ходячие скелеты, изуродовала обросшие грязной шерстью лица.

Когда я увидел Корабельникова у крыльца конторы, я не испугался, что он меня узнает, – это было невозможно. Корабельников был одет в новую лагерную униформу. О том, что он уже в немалых лагерных чинах, можно было догадаться по тому, что его телогрейка была дополнительно и тщательно простегана, в ней были сделаны два боковых кармана, в которые Корабельников засунул свои большие бледные руки.

– Кто это? – спросил я у одного всезнающего одноэтапника.

– Начальник новой подкомандировки. Прибыл к нам по спецнаряду.

Подкомандировка, которую приехал создавать на наш лагпункт Корабельников, оказалась штрафной. В лагере всегда есть специальный штрафной лагпункт. В нашем Устьвымлаге штрафной лагпункт был – Девятый. Но кроме этого общелагерного лагпункта, куда посылали заключенных по указанию Управления, большим лагпунктам разрешалось создавать собственные штрафные командировки, так сказать, местного значения. Залива добился того, чтобы ему разрешили такую командировку сделать – он тогда был у начальства в фаворе. Корабельников был прислан как специалист. Он оказался прав, верная его служба не пропала даром.

Штрафная командировка была построена в десяти километрах от лагпункта. Бесконвойные, а затем и конвойные, которые ее строили, шепотом рассказывали про нее страсти. В зоне два построенных из мелкотоварника низких барака. Стены не законопачены, нары общие, на окнах решетки, двери всегда на запоре, в бараках параша. Кормят тут же в бараке – как в тюремной камере. Кормежка штрафная: четыреста хлеба, две миски баланды в день. Но больше всего поразил строителей командировки карцер. Он был совсем другим, нежели наши обычные карцеры. Это был сруб, сделанный как колодец. Человека туда укладывали связанным, прижав голову к коленям. Двери в карцере не было, просто приподнималась круглая крышка, чтобы уложить человека, а затем его накрывали крышкой, запиравшейся деревянными клиньями. Помещался в этом карцере лишь один человек. Но так как в этом страшном сооружении не было никакого отопления, то зимой карцер освобождался очень быстро: через час-другой наказанный превращался в заледенелый, неразгибаемый труп. Его и хоронили так – согнутым. И могилы для них рыли особые – круглые. И в первую зиму – нашу лагерную – самой большой угрозой у начальников было: «Ты у меня ляжешь в круглую яму!..»

Второй, маленький барак на штрафняке был для женщин. Только от них в лагере стали потом известны все подробности деятельности Корабельникова. Только от женщин. Только они (не все, конечно) возвращались со штрафной. Мужчины погибали все. Почти без исключения. Отправление на командировку к Корабельникову означало верную смерть. Каждая отправка на штрафняк превращалось в дикое, немыслимое зрелище. Пытаясь хоть как-то отсрочить этап, некоторые блатные прибегали к старому приему: раздевались догола, думая, что в таком виде их зимой на этап не пошлют. Но на Корабельникова, который сам – как ангел смерти – приходил за сырьем для своего карцера, это не действовало. Голого человека связывали, несли из барака через всю зону, проносили через вахту и бросали на сани. Потом его неторопливо везли на штрафняк. Вой замерзающего человека стихал в отдалении. Залива, грустно и укоризненно качая головой, провожал еще одного плохого и неразумного зэка.

Корабельников меня ни разу не увидел – страх, что он меня может увидеть, был одним из наибольших среди всех страхов лагеря. Я прятался от него, благо это было и нетрудно. А в кон-

це декабря 38-го года меня отправили на Третью командировку. Оттуда меня привезли весной, когда командировка наша почти уже вымерла. И Головной лагпункт был тихий и малолюдный. Зимой новых этапов не было, а большинство старого лагнаселения свезли на кладбище. И штрафняк был закрыт, а сам Корабельников по спецнаряду отправлен в Управление для выполнения новых заданий.

Летом 1940 года я получил пропуск и отправился бесконвойным на сплав. Когда я вернулся, то, пользуясь пропуском, пошел на бывший штрафняк. Зона была покосившаяся, в некоторых местах заваленная. Проволока «запретки» вбита в землю. Страшная неживая сырость была в осевших бараках. Сколько людей прошло через них? За зоной стоял хорошо срубленный дом, где жила охрана и один заключенный – Корабельников. Лагерные шалашовки, побывавшие на штрафняке, рассказывали, что начальник штрафной жил с охраной душа в душу, жил хорошо и весело. Лагерных женщин приводили туда мыть полы и развлекать конвоиров – Корабельников знал, что нужно начальникам. Недалеко от зоны я увидел странное сооружение, похожее на сруб колодца. Нелепая круглая крыша валялась на земле, почти невидная среди густо поднявшегося иван-чая. Земля вокруг страшного сооружения была неровной, вздыбленной в нескольких местах. Не сразу я догадался, что это кладбище. Круглые могилы...

А Корабельникова я больше никогда не встречал и ничего о нем больше не знаю. Хотя, став вольнонаемным, расспрашивал о нем наших ребят в Управлении и на других лагпунктах. Я думаю, что его расстреляли, когда по всем местам заключения искали и забирали людей, имевших какое-либо отношение к убийству Кирова и его расследованию. Наверное, дотошные и верные служаки – такие же, как Корабельников, – добрались до него. И тут уж ему ничего не помогло, никакая верная служба. Ну, должен был сам понимать: работа есть работа...

От того, что Корабельникову выстрелили в затылок – я не получил никакого удовлетворения. Мне он кажется по-прежнему живым, когда я думаю о нем, – я стараюсь это делать как можно реже – меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы. В моих глазах этот маленький и ничтожный человек дослужился до большого чина, он стоит неподалеку от главного его бога – от Сталина.

Полковник Тарасюк

«...В лагере только первые десять лет страшно. Потом – привыкаешь». В этой лагерной присказке, кроме «веселия висьельника», присутствует и немалая доля здравого смысла. В условиях сколь-нибудь обычной лагерной жизни ээк, переживший первые два-три года, имеет шанс отбыть весь свой срок. К лету сорок первого года мы уже были спокойными и обычными лагерниками. Кто не выдержал, того уже «списали по литеру В», а уцелевшие приспособились, пристроились к работе полегче, наладили связь с родными, регулярно получали письма и посылки. Уже создались прочные связи, у кого дружеские, у кого почти семейные, – мы получали много книг из Москвы, некоторые из нас стали бесконвойными. Заливу успели понизить, новые начальники были более разумными людьми. Стараясь получить от заключенных большую «отдачу», они понимали, что для этого надобно их кормить лучше. Чтобы дойти до этой истины, не требовалось ни особого ума, ни гуманистических вывертов: большинство начальников были из крестьян и знали, как надо обращаться со скотиной.

Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Тот шок, который испытали все без исключения – и начальники и арестанты, – у начальников сказался в идиотско-бессмысленном взрыве предупредительно-пресекательных мероприятий. В первый же день войны в зоне сняли все репродукторы, была полностью запрещена переписка, запрещены газеты, отменены посылки. Рабочий день был установлен в десять, а у некоторых энтузиастов и в двенадцать часов. Были отменены все выходные дни. И, конечно, немедленно наведена жесточайшая экономия в питании ээка.

К осени людей начала косить пеллагра. Мы тогда впервые услышали это страшное слово и со страхом стали у себя обнаруживать начальные, а затем прогрессирующие следы этой «болезни отчаяния» – как она именуется даже в медицинских учебниках. Становится сухой, шершавой и шелушащейся кожа на локтях; на косточках пальцев рук появляются темные, быстро чернеющие пятна; на горле становится все явственнее темный ошейник из сливающихся пятен. Потом начинается быстрое похудание и неудержимый понос. Собственно, это уже почти конец. Понос уносит слизистую кишечника. А она –

не восстанавливается. Человека, утратившего слизистую кишечника, уже ничто не может вернуть к жизни.

В течение двух-трех месяцев зоны лагеря оказались набитыми живыми скелетами. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. Возы, а затем сани по утрам отвозили почти невесомые трупы на кладбище. К весне сорок второго года лагерь перестал работать. С трудом находили людей, способных заготовить дрова и хоронить мертвых.

И тут-то выяснилось, что военный энтузиазм лагерного начальства был совершенно неуместным. Оказалось, что без леса нельзя воевать. Лес необходим для строительства самолетов, изготовления лыж, для добывания угля. А самое главное – для пороха. Основой всех современных порохов является целлюлоза, которая, как известно, делается из древесины. Как ни нужны были люди на фронте, но работники лесной промышленности были почти все на броне. И все наши начальники были на броне. Вот только требуемый от них лес они не могли дать: некому было его рубить... И тогда только самое верховное начальство стало делать минимально разумное. Заключенных лесорубов стали кормить по нормам вольных рабочих; заключенные стали единственными людьми в стране, которым разрешалось отправлять продуктовые посылки; была восстановлена переписка, повешены репродукторы, начали приходить газеты. И немедленно полетели со своих мест одни начальники и прилетели другие.

Вот тогда-то мы услышали фамилию нового начальника Устьвымлага – полковника Тарасюка. К этому времени в наш лагерь влили остатки эвакуированного Березлага. Березлаговцы многозначительно качали головой, рассказывая нам о своем начальнике, ставшем сейчас начальником нашего лагеря. По их словам, полковник Тарасюк был, если перевести это из красочного блатного словаря, отъявленным человеконенавистником. И хотя березлаговцы щелкали языком, говоря о потрясающих административных талантах Тарасюка, но они не могли умолчать и об этом, наиболее ярко выраженном свойстве полковника.

Действительно, Тарасюк был лагерным начальником, представлявшим тип рабовладельца. Про него говорили, что

до лагеря он был наркомом внутренних дел Дагестана и с этой почетной работы снят за «перегибы». Если Тарасюк действительно был в 37-м году в Дагестане, то мне понятно, каким образом появился при нас в Котласе этап столетних стариков. Да, да. Пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от 80 лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканых одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались они от этой неподвижности только для того, чтобы делать намаз. Трущиеся около УРЧа зэки объяснили нам, что все они были «изъяты» для ликвидации в Дагестане феодальных пережитков. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам, судившим по адату, по обычаям и традициям. Чтобы обратить жителей Дагестана к более прогрессивным формам судопроизводства, всех стариков забрали, дали им – без исключения – по десятке и отправили умирать на Север. В этом был безусловно «почерк» полковника Тарасюка...

Но теперь Тарасюк работал в лагере, и все мы вскоре почувствовали его железную, целенаправленную волю. Он проехал по всем лагпунктам, выгнал блатных со всех работ, связанных с питанием, и поставил на эти должности только «пятьдесят восьмую». Счетоводы предстола, каптеры и повара бледнели от страха, когда Тарасюк появлялся в зоне. Тех, кто способен был идти в лес, кормили лучше, нежели конвой, лучше, чем вольнонаемных... Появились лекарства, приехали вольные врачи, установили специальные противопеллагрозные пайки. Тарасюк восстанавливал работоспособность лагеря с энергией талантливой и волевого администратора. Но как?!

Впервые я вблизи увидел Тарасюка, когда он приехал к нам весной сорок второго года. В сопровождении огромной свиты из разномастных начальников он обошел все места в лагере, не исключая сортиров. Когда он встречал в лагерной обслуге человека, который ему казался достаточно здоровым, чтобы пилить лес, а не кантоваться в зоне, – он – как Вий – протягивал к нему палец, и дрожащий начальник УРЧа немедленно заносил фамилию несчастливой зэки на фанерную дощечку. Вечером Тарасюк созвал всех начальников частей.

Я тогда заменял старшего нормировщика и поэтому вместе с другими начальниками из заключенных – начальником плановой части, главным бухгалтером, старшим контрольным десятником, прорабами, ветврачами и просто врачами – оказался вблизи Тарасюка.

У него было лицо римского патриция: холодно-спокойное, равнодушное. В том, как он уселся в кресле начальника лагпункта, снял телефонную трубку, приказал телефонистке соединить его с Управлением, в том, как он разговаривал с начальством – во всем ощущалась многолетняя привычка повелевать, быть хозяином жизни и смерти всех окружающих. Слова «хозяином жизни и смерти» надо понимать совершенно буквально. И это относилось к вольнонаемным в такой же степени, как и к заключенным. Все вольнонаемные были на броне, достаточно было Тарасюку приказать «разбронировать» – и любой начальник отправлялся на фронт. Похорошки на них приходили удивительно быстро. Об этом знали все. Тарасюк – лучше других.

Он приказал начальнику лагпункта доложить состояние «контингента» – так именовались во всех канцелярских бумагах заключенные. Запыхавшийся от волнения начальник перечислял, сколько у нас зэков «всякого» труда, сколько «среднего», «легкого», сколько в «слабкоманде», в лазарете... И сколько из них работают в лесу, сколько в конторе, в обслуге...

Спокойно и свободно слушал Тарасюк отчет. Вдруг он перебил начальника:

– Сколько премблюд выдается в зоне?

«Премияльным блюдом» считался у нас кусок каши, вылитой на деревянный противень и застывшей в желеобразном состоянии. Его получали, кроме лесорубов, все административно-технические работники и вся лагерная обслуга, работавшая на выработке: прачки, водовозы... Услышав ответ, Тарасюк спокойно сказал:

– Снять. Увеличить за этот счет премблюда работающим в лесу.

Начальник ЧОСа – части общего снабжения – хотел что-то сказать, но Тарасюк почти незаметно вскинул на него глаза, тот задохся словом и замолчал.

– А это, это кто такие? – заинтересовался Тарасюк. Речь шла о «команде выздоравливающих». Их у нас было 246 человек.

Начальник лагпункта посмотрел на исполняющего обязанности начальника санчасти доктора Когана. Это был молодой еще врач, которого после ранения на фронте прислали работать в лагерь. Коган встал и не без гордости сказал, что эти люди «вырваны из рук пеллагры» и можно теперь надеяться, что среди них летальных случаев больше не будет... Дальше произошел следующий диалог:

Тарасюк: Что они получают?

Коган: Они все получают противопеллагрозный паек, установленный санотделом ГУЛАГа: столько-то белков в количестве столько-то калорий.

Тарасюк: Когда и сколько из них пойдет в лес?

Коган: Ну конечно, в лес они уже никогда не пойдут. Но они будут жить, и когда-нибудь их можно будет использовать в зоне на легких работах.

Тарасюк: Снять с них все противопеллагрозные пайки. Запишите: пайки эти передать работающим в лесу. А этих – на инвалидный.

Коган: Товарищ полковник! Очевидно, я плохо объяснил вам. Эти люди могут жить только при условии получения этого специального пайка. Инвалиды получают четыреста граммов хлеба... На таком пайке они умрут в первую же декаду... Этого нельзя делать!

Тарасюк даже с каким-то интересом посмотрел на взволнованного врача.

– Это что: по вашей медицинской этике нельзя делать?

– Да, нельзя...

– Ну, я плевал на вашу этику, – спокойно и без всяких признаков гнева сказал Тарасюк. – Записали? Идем дальше...

Все эти двести сорок шесть человек умерли не позже чем через месяц.

У нас в лагере были начальники умные и глупые, добрые и злые. Тарасюк был совсем другим. Он был – рабовладельцем. Таким, какими были, наверное, рабовладельцы в античном обществе. Вопрос о человеческой сущности рабов его никогда не занимал и не беспокоил. Я сказал, что лицом он напоминал римского патриция. Он и жил как римлянин, назначенный губернатором какой-нибудь варварской провинции, завоеванной Римом. В специальных теплицах и оранжереях для него выращивали овощи и фрукты, экзотические для Севера цве-

ты. Были найдены лучшие краснодеревщики, делавшие ему мебель; самые известные в прошлом портные обшивали его капризную и своенравную жену. И лечили его не какие-то вольнонаемные врачешки, со студенческой скамьи запродавшиеся ГУЛАГу, а крупнейшие профессора, руководители крупных столичных клиник, отбывавшие свои большие сроки в медпунктах далеких лесных лагерей.

Как известно, римские матроны раздевались догола перед мужчинами-рабами не потому, что они были бесстыжими, а потому, что не считали рабов за людей. По тем же причинам Тарасюк – как и эти персонажи классической древности, – совершенно не стеснялся. И не только эзков, но и тех «вольняшек», которые по своему происхождению и положению мало чем от эзков отличались. Он как-то собрал в Управлении совещание нормировщиков и экономистов для очередной «накачки». Это было в середине войны, когда даже «вольный» паек с трудом обеспечивал полуголодную жизнь. Заседание было долгим, люди сидели замороченные усталостью и голодом. В это время к Тарасюку, сидевшему – как это положено – впереди за отдельным столом, подошли хорошо одетые молоденькие официантки в кружевных передниках, с шелковыми наколочками в волосах.

Профессионально быстро и бесшумно они покрыли стол ломкой от тугого крахмала белоснежной скатертью, поставили перед полковником судки разных калибров. Тарасюк не прерывая заседания, заправил за тугой воротник полковничьего кителя белоснежную салфетку и открыл судок. По кабинету разнесся обморочно-вкусный аромат какой-то лесной дичи, приготовленной его личным поваром, который в своей прошлой жизни был шефом известного петербургского ресторана. Тарасюк равнодушно глодал дичину, прерывая это занятие лишь для того, чтобы на кого-нибудь рыкнуть, властно оборвать или же ограничиться суровым взглядом ясных и холодных глаз. Он настолько не считал сидящих напротив него людей сколько-нибудь равными ему, что не только есть – он мог и испражняться перед ними, если бы это ему было удобно. И при этом трудно было назвать его специально злым или особенно злым...

Он поощрял хорошо работающих заключенных, особенно отличившимся рекордистам разрешал приводить к себе в барак женщин, не опасаясь надзирателя. Врачам и портным,

приходившим к нему в особняк, горничная выносила вслед кусок белого хлеба, намазанного маслом... И в лагере поддерживался неукоснительный порядок, при котором хорошо было тем, кто умел хорошо пилить лес, и плохо тем, которые – не имело значения, по каким причинам – этот лес пилить не умели. Был порядок. Была даже справедливость – если можно употребить это столь странно звучащее здесь слово... Ведь при Тарасюке начальники лагпунктов не позволяли себе самоуправничать, заключенных не обворовывали, им давали все, что положено; выяснилось, что им положено иметь наматрасники и даже простыни, они появились, и арестанты спали на простынях, ей-ей... Правда, правда – он был справедливый начальник!

Никого из начальников мы так не ненавидели, как ненавидели Тарасюка. Он у нас был недолго. Наладил лагерь, привел в порядок, его после этого перевели восстанавливать другой лагерь.

Когда мы с женой очутились на воле, мы жили в Ставрополе, очень голодали и рассчитывали каждую копейку. Однажды Рика мне дала последнюю трешку, бывшую в доме, и я пошел на проспект Сталина в магазин за чесночной колбасой и хлебом. Рядом в киоске продавались прибывшие вечерним поездом газеты. Обычно я удовлетворялся «Правдой», вывешенной в витрине возле филармонии. Но тут я увидел «Известия», и меня толкнула в сердце знакомая фамилия в черной рамке в конце последней полосы. Я купил газету. ГУЛЛП НКВД СССР с глубокой скорбью извещало, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался крупный организатор производства, орденосец, полковник Тарасюк...

Я зашел в магазин и вместо того, чтобы купить колбасу, – пошел в другой конец магазина. На два рубля семьдесят копеек я купил четвертинку водки, а на оставшиеся тридцать копеек хлеба. Дома – на недоуменный взгляд жены – я протянул ей газету, водку и хлеб. Господи! Какое это было счастье – увидеть на ее усталом и измученном лице такую радость, такое несдерживаемое торжество! Мы уселись за стол, разрезали хлеб и разлили водку. Непьющая Рика даже не пыталась увеличить мою порцию. Задыхаясь от счастья, что Тарасюк сдох от рака – наверное, даже обязательно, в страшных муках!!! – мы выпили эту водку... Он сдох в муках, а мы, мы пьем водку... На воле! Значит, есть все же справедливость? Или Бог? Ну, не знаю как это называется. Да и значения это не имеет. Есть это!

Капитан Намятов

Намятову было далеко до Тарасюка. И не потому, что один был полковником, а другой только капитаном; один – начальником огромного лагеря, другой – начальником лагерного отделения. Время у них было разное. Тарасюк пользовался практически неограниченной властью над многими десятками тысяч людей. Намятова я застал начальником Чепецкого отделения Усольлага летом пятьдесят четвертого года. Уже прошел и улегся угар послесталинского шквала: амнистия, новый Уголовный кодекс, новые непривычные либеральные порядки. Отказчик или нарушитель лагережима теперь долго ждал, пока составлялся акт о содеянном им нарушении. Потом этот акт подписывался, затем «лепила» – врач или фельдшер – давал письменное заключение, что содержание в карцере не угрожает ценному здоровью заключенного. Потом акт относили Намятову, который внимательно с ним знакомился, вызывал к себе в кабинет виновного для того, чтобы самому составить представление о личности нарушителя, степени его вины, способности к раскаянию. И лишь после этого определял меру наказания – столько-то суток. Так теперь полагалось по новым инструкциям, которые в подразделении капитана Намятова выполнялись неукоснительно.

И уже после этого грешного зэка надзиратели вели в карцер. В карцер, кондей, холодную – как он раньше назывался. А теперь он и назывался по-другому: «отдельно отстоящее помещение»... Как я идиотски обрадовался, когда, читая о пореформенном времени в России, наткнулся на это название! Оказывается, когда крепостные стали свободными людьми, а сажать их все же и даже пороть приходилось, прежняя холодная, ну, словом, место, где держат, порют, – оно стало называться именно так: «отдельно отстоящее помещение».

* * *

...Я хочу прервать свое повествование для некоторых филологических – дилетанских, конечно, – размышлений. Почему так устойчива тюремная лексика, тюремная терминология? И не в том дело, что у Достоевского, Дорошевича и Солженицына слова «камера», «глазок», «параша» и множество других

имеют одинаковый смысл. В конце концов, их назначение несколько не изменилось, естественно, что параша так и остается парашей, а о происхождении этого слова еще не рассказано ни в одном этимологическом словаре.

Но почему в тюрьме в камеру «заводят», а не «вводят»? В карцер «бросают», а не «сажают»? Почему на этап и допрос «берут», а не ведут? Почему в тюрьме говорят не «мы пошли на прогулку», а «нам дали прогулку»?.. «Свиданка», «передача», «смертная» – ничего почти не изменилось в этом языке, который проявил такую же дьявольскую устойчивость, как и то, что его породило!

Впрочем, может быть, это и к лучшему? Потому что то новое слово, что возникло в нашей жизни и принадлежит только нашему времени, – одно из самых мне ненавистных! Я говорю о слове «специальный», ставшем приставкой «спец»... Казалось бы, самое обыкновенное, ну не очень красиво звучащее, полуканцелярское слово... Но ставшее приставкой слово «спец» почти всегда имеет у нас самый страшный смысл. «Спецакция» – это расстрел, «спецкоридор» – режимные одиночки, «спецколлегия» – судья для рассмотрения политических дел... «Спецотдел» – не требует объяснений... И даже безобидный «спецбуфет» – имеет отвратительный характер потому, что это буфет для привилегированных, и в «спецстрое» – подозревается что-то малосимпатичное: строительство тюрьмы или особняка для сановного вельможи...

* * *

Так вот – «в отдельно отстоящее помещение» вели зэка, а за ним надзиратель нес тощенький матрац, ибо в случае простого, а не злостного нарушения (что определялось Намятовым же по особой новой послесталинской инструкции) наказанному полагалось иметь в карцере «спальные принадлежности» – как назывался по инструкции этот прогнивший тюфячок.

Я в рассказе о капитане Намятове очень часто употребляю слово «инструкция». Отношение к инструкции больше всего отделяло Намятова от Тарасюка. Тарасюк был сатрапом, он проводил политику, а не придерживался инструкции. На инструкции он плевать хотел, он их сам издавал и отменял. Намятов же придерживался точного смысла и буквы инструкции.

Не могу сказать, что Намятов был особо злым. Нет, злым он не был, он никогда не причинял никому зла, если это не было предписано инструкцией. И малое количество добра, предусмотренное инструкцией, он выдавал, не утаивая ни одного его грамма. Но он отказывал в свидании с сыном-заключенным – матери, которая недели к нам ехала на поезде, на машине, плыла лодкой, шла пешком через тайгу и болото, – она не знала, что разрешение следует получать в Соликамске, а не в том месте, где находится ее сын... И переубедить его никто не мог.

Трудно мне передать всю степень злобы, которую заключенные питали к Намятову. Впрочем, не одни заключенные. Мне однажды пришлось быть свидетелем довольно занятой сценки. Намятов встретил недалеко от зоны крестьянку-спиртоноску. Ближайшая деревня была от лагеря далеко, ее отделяло 42 километра заболоченной тайги. Но много женщин из этой деревни подрабатывали на продаже заключенным водки или спирта. Деньги у заключенных были: их работу начали оплачивать почти по вольным расценкам, удерживая, конечно, все налоги, а также стоимость содержания конвоя, надзирателей и самого капитана Намятова. Все равно – на руки и после этого выдавали довольно много денег. Большинство этих денег отбиралось бригадирами, «паханами», «законниками» и многими другими, из разряда пасующихся. И на них покупалась водка. Через бесконвойных или конвоиров. Для последних – солдат, получающих три рубля в месяц, – это была единственная возможность выпить.

Намятов задержал у зоны подозрительную вольняшку, которая несла в мешке две четверти спирта. К месту интересного происшествия сбежались все, кто имел такую возможность. Капитан поступал строго по инструкции: он объяснил колхознице, что она совершила преступление, предусмотренное двумя параграфами Уголовного кодекса, что он сейчас ее отведет в штаб отделения и составит протокол, затем он взял за горлышко полную, запечатанную красным сургучом четверть и ударил ее об сосну. Позади меня что-то упало на землю. Я обернулся. Молоденький солдат свалился в обмороке...

Намятов был очень верующим. Конечно, не в Бога, а во все то, что он изучал в школе, где готовили начальников для лагеря; в политкружках, где истово занимался; во все то, что он

читал в рекомендованных инструкцией периодических изданиях и книгах. Этим он также отличался от Тарасюка, который, конечно, не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай. А Намятов верил истово, не позволяя себе ни в чем, хоть в самом малом усомниться. В частности, он был убежден в законченно социалистическом характере учреждения, где служил и которому искренне отдавал все силы. И в – предусмотренной инструкциями – воспитательной работе с вольнонаемным составом и «контингентом», Намятов часто и охотно об этом распространялся.

Однажды, когда я принес ему на подпись пронумерованные рабочие сведения, он мне начал что-то выговаривать. Кажется, он был недоволен тем, что в его социалистическом предприятии выработка на одного лесоруба чрезвычайно мала. Мне это надоело, и я ему сказал:

– Ну что вы огорчаетесь, гражданин капитан, тем, что в леспромхозе выработка выше? У нас же не социалистическое предприятие?

Намятов откинулся в кресле и посмотрел на меня как-то странно, испуганно...

– То есть как это не социалистическое?.. А что же мы?

– Пережиток капитализма.

– Что?! Выходит, я служу в пережитке?

– Конечно, в пережитке. Как писал Ленин в «Государстве и революции», определенные пережитки капиталистического государства, в виде тюрем и прочего, сохранятся и в нашем обществе. Об этом же совершенно точно сказано у Маркса. Вы везде читали, что наши фабрики и заводы, совхозы являются последовательно-социалистическими предприятиями?

– Да...

– А где-нибудь и когда-нибудь вы видели слова: «социалистическая тюрьма», «последовательно-социалистический исправительно-трудовой лагерь»? Никогда!

Наша теоретическая дискуссия окончилась в общем-то банально. Намятов вызвал надзирателя, приказал надеть на меня наручники и отвести в «отдельно стоящее помещение». Дело обошлось без справки от врача. Тюфяка мне тоже не дали.

На другой день надзиратель меня вывел из кондея и повел к начальнику. Намятов был хмур, бледен и как-то измят. Он строго мне сказал:

– Идите на работу. И запомните: Маркс и Ленин писали не для заключенных. Их не касается то, про что учит марксизм-ленинизм...

Очевидно, он потратил целый день, чтобы связаться с политотделом Управления лагеря и выяснить меру преступности моего заявления. И – укрепить свою собственную веру в социалистическую непорочность.

Я не мог не восхититься железной логикой того инструктора или кого-нибудь еще, с кем разговаривал Намятов. Конечно, наш мир существовал отдельно от того, другого, в котором живут другие и в котором мы жили раньше сами. Хотя мы были нераздельной и неотъемлемой частью этого мира. Искусственное разделение этих миров входило в систему иллюзий, на которых все строилось. Впрочем, об этом в другом месте, когда я попробую рассказать о той странной социально-экономической системе, какой являлись в нашей стране исправительно-трудовые лагеря.

* * *

В рассказ о Намятове я хочу вклинить другую историю, другое наблюдение, подтверждающее слова Антонио, что в тюрьме дело не в инструкциях тюремщику, а в самом тюремщике.

«По новой» Рикку и меня посадили в разное время. Ее – почти на год раньше меня, в марте сорок девятого. Полгода она сидела в Ставропольской внутренней, потом немного в городской, а затем ее отправили в краевую пересыльную тюрьму, откуда она должна была быть доставлена этапом в Красноярский край в пожизненную ссылку, на вечное поселение. Все это я выяснил в Ставрополе, где я занимался делом, уже мне знакомым по тридцать седьмому году: записывался в очередь к прокурору, каждую неделю ходил в «Бюро справок» местного НКГБ, доставал деньги на передачу, с нетерпением ждал дня передачи и проводил весь этот необыкновенно важный для меня день в очереди у стены внутренней тюрьмы. Времени для этого у меня было достаточно. После ареста жены меня немедленно уволили с работы. По ночам я занимался «негритянской» работой: писал лекции по вопросам марксистско-ленинской философии, истории партии и состоянию советской

литературы для лекторов крайкома партии. Среди лекторов у меня нашелся щедрый и обильный работодатель, который мне давал писать лекции для себя и нескольких своих товарищей. На гонорар я кормился сам и кормил передачами Рикю.

Я уже знал, что никакого нового дела у жены нет, что ее арестовали по старому делу и что она просто-напросто ждет в тюрьме постановления «Особого совещания», приговаривающего ее к пожизненной ссылке. Мне это – через несколько месяцев хождений в приемную НКГБ – объяснил прокурор по спецделам – спокойный, седой полковник. Когда я узнал, что ее по старому делу отправляют в ссылку, я не удержался и спросил полковника:

– Как же это может быть? Ведь она же отбыла наказание за то, за что была арестована в тридцать седьмом. А по закону разве можно наказывать два раза за одно и то же преступление?

Полковник удивленно на меня посмотрел:

– По закону, конечно, нельзя. Но при чем тут закон?..

Он же – в другой раз – когда я у него поинтересовался, поедет ли жена в этап в теплушке или же в «столыпинском» вагоне, с достоинством ответил:

– У нас нет столыпинских вагонов. У нас советские вагоны. В чем и поедет ваша жена в ссылку..

Через полгода у меня не приняли очередную передачу, и я узнал, что Рикю отправили в Георгиевск, в краевую пересыльную тюрьму. Как всегда в таких случаях, у людей развивается совершенно им не свойственная энергия, инициатива и сообразительность. Я каким-то образом достал от одного знакомого письмо к начальнику Георгиевской пересылки, одолжил деньги и выехал в Георгиевск с такой поспешностью, что приехал в город чуть ли не раньше, чем этап, которым ехала жена.

У меня был домашний адрес начальника пересылки, которому я должен был вручить письмо с просьбой оказать мне возможное содействие. Я разыскал тихую улицу на окраине Георгиевска, нашел дом, открыл калитку и вошел во двор. Во дворе стояли козлы, лежало бревно, высокий старик в военной форме один пилил бревно двуручной пилой. Я невольно пожалел старика – я хорошо знал, что это трудно: пилить одному двуручной пилой, – и спросил, здесь ли живет начальник тюрьмы.

– Я начальник пересыльной тюрьмы, – сказал старик. – Что бы вы хотели? Садитесь. Вот скамейка, она чистая...

Это было довольно неожиданно для меня. Я знал, что такое начальник тюрьмы вообще, а начальник пересылки в особенности... Пересылки, где нет даже видимости отчитываться за «использование рабочей силы»... И вот – пилит себе дрова двуручной пилой!..

Начальник тюрьмы внимательно прочитал письмо, потом вернул его и сказал:

– Иван Иванович просит меня оказать возможное содействие вашей жене. Но, может быть, вы знаете, что дальнейшая ее судьба от меня не зависит. Она поступает сюда с готовым определением места назначения. Время формирования и отправки этапа также не зависит от меня. Единственное, в чем я могу вас успокоить: здесь ее здоровью ничто не угрожает. Чтобы передать ей письмо, посылку, отправить деньги, получить свидание – от меня ничего не требуется. В приемный час приходите в тюрьму, и вам все сделают.

Я ушел от необычного начальника раздосадованный неудачей. Но в этот же день, постояв часа два-три в очереди, очень быстро подвигавшейся, я сделал все, о чем мечтал. У меня приняли передачу и письмо, объяснили, что я могу каждый день посылать жене прямо с городской почты письма и деньги. Письма она будет получать на следующий же день, деньги будут начисляться на ее тюремный счет и выдаваться по мере ее просьбы. Свидание я могу получить сегодня же, во второй половине дня. Все мне разъяснили быстро, толково и даже – как мне показалось – с той интонацией обязательности, которой я не встречал даже в таких нейтральных учреждениях, как сберегательная касса.

Потом, долгое время спустя, когда Рика рассказывала мне о своих тюремных делах, она захлебывалась от удивления, вспоминая Георгиевскую пересылку. В пересылках Рика понимала. Она их прошла в огромном количестве в начале 38-го года в этапе от Москвы до Мариинских лагерей в Сибири и из Мариинска до Устьвыма...

А осенью и зимой 49-го года она ехала в ссылку тем вагоном, который прокурор с гордостью назвал «советским». А это значило, что она переходила из пересылки в пересылку, по всему длинному пути от Северного Кавказа до Красноярского

края. Нет, что такое пересылка, мы хорошо знали! Это липкая грязь, оставшаяся от прошедших этапов; вши и клопы; часовые очереди в бане, где дают шайку воды, которой можно только размазать грязь на теле; прожарка, в которой какими-то чудесными способами на одежде сгорал мех и плавилась пуговицы, но выживали насекомые... И неутолимый голод, потому что в пересылке почти легально можно не кормить арестантов; грабеж обслуги, звериная ярость охраны... В пересылке всегда «чужие». Сегодня пришли, завтра уйдут и никогда больше здесь не появятся. Это порождает к этапникам чувство абсолютной безответственности. С ними можно делать все. И с ними делали все.

И вот Георгиевская пересылка. Где камеры не только подметены, но и вымыты. Полы, нары. Где кормят настолько сытно, что исчезает постоянный этапный голод. Где в бане можно мыться по-настоящему. Где даже есть – Рику это поразило больше всего! – специальная комната со всеми приспособлениями, где женщины могут совершать свой туалет... В этой тюрьме письма передаются быстро, а телеграммы в любое время дня. И каждый день в камеры приносят свежие газеты. И ни разу не лишают прогулок. И каждый день лавочка. Довольно большой выбор продуктов. Продуктов этапных: сушек, плавленых сырков, сахара, махорки, спичек...

А самое главное, самое непривычное, непонятное – какая-то атмосфера сочувствия. Может быть, нам казалось, что выполнение инструкций и есть сочувствие? Нет, пожалуй, нет. Перед этапом Рику вызвал начальник КВЧ и сказал, чтобы в этапе у нее – имелись в виду и все другие – было бы на руках только девяносто девять рублей. Рика была достаточно опытной арестанткой, чтобы понять... Все, что свыше этой суммы, отбиралось конвоем и практически исчезало навсегда. Значит, свыше этой суммы надо прятать так, чтобы их не нашли при шмоне. Ну – эта задача не особо трудная. Даже при самом тщательном этапном обыске арестант имеет возможность унести с собой все, что угодно, включая разобранный танк среднего размера.

Впрочем, несмотря на полное доверие, которое я питал к рассказам жены, я получил возможность проверить лично. Через год я сам попал в Георгиевскую тюрьму и те месяцы, что я там провел, не переставал удивляться. Не чистоте, сытному

питанию, а присутствию человечности в том максимуме, какой только может быть в тюрьме.

Тюремщик обязан выполнять все многочисленные инструкции. Каждая направлена к тому, чтобы как можно больше стеснить арестанта, сделать его жизнь как можно более мучительной. Это касается всего. Если он тебя ведет на допрос или на оправку, то заставляет держать назад руки, поворачиваться лицом к стене и замирать, как только надзиратель стукнет ключом по пряжке своего пояса. Если он выдает передачу, то все разрежет, перекрошит, перепробует, сделает все, чтобы лишить передачу самого в ней главного – домашности... И отведя на оправку, не считается с тем, как работает твой кишечник, а гонит назад, не дает сполоснуть лицо и руки... А самое главное – тюремщик не должен вступать ни в какие хоть сколько-нибудь человеческие отношения с арестантами. Не имеет права разговаривать, задавать вопросы, выслушивать ответы, сам отвечать на вопросы. Он не должен сочувствовать, улыбаться, смеяться, плакать – словом, проявлять свои человеческие свойства.

И все же находятся тюремщики, которые старательно выполняют все инструкции – они не могут их не выполнять! – кроме одной неписаной, но самой главной: не проявлять никакой человечности. И я, и Рика, и множество моих товарищей иногда встречали таких. Рика мне рассказывала про одну надзирательницу Ставропольской внутренней тюрьмы. Было известно, что ее зовут Клава. Она делала все как надо. Но ей почему-то нравилась Рика. Она ее не торопила в уборной, никогда не повышала голос; всегда назначала Рикю выносить мусор. А это, собственно, вторая прогулка. Мусор надобно относить на какой-то дальний третий тюремный двор. Для этого нужно идти через огромные дворы. По дороге Рика с ней разговаривала. Собственно, говорила одна Рика – Клава ей не отвечала, да и грамотная Рика не задавала ей никаких вопросов. Просто Рике было приятно говорить, что вот хорошая погода, и как приятно выйти на двор раздетой, и что в углу двора расцвели какие-то цветы... Клава слушала. И улыбалась...

Конечно, улыбка надзирателя – первый шаг к отступлению от инструкций. Потом Клаву перевели в передаточную. Ну, которая принимает передачи для заключенных. Вот тогда и я с ней познакомился.

Передача – вещь невероятно важная в наших тюрьмах. Это единственная возможность дать о себе знать и что-то узнать о сидящем в тюрьме. Передачи принимали раз в неделю, а потом раз в десять дней. Я начинал к ней готовиться задолго. Доставал деньги, обдумывал, что купить, готовил тару. Тара – это очень важно! Увидеть на несколько минут масленку из дома, знакомую тарелку, чашку, которую видела у знакомых, – это ведь целый язык, настоящий разговор... Вот такие-то посылают тебе домашний творог – узнаешь эту чашку? Я в порядке, живу у Жени – ты же знаешь эту тарелку с отбитым краем?..

И опись того, что передаешь. Конечно, пишешь только перечисление продуктов. Но как это важно – увидеть родной почерк! Клава не торопила Рику подписывать быстро свою фамилию под списком передачи. Она терпеливо ждала, пока Рика тщательно – чтобы было как можно больше слов! – выписывала день, и месяц, и то, что все, все она полностью получила, и свое имя, свою фамилию – это же письмо! И можно было через Клаву передать просьбу: принести то-то и то-то... Однажды Клава мне вернула папиросы и улыбаясь – да, да, улыбаясь! – сказала:

– Ваша жена возвращает папиросы, потому что начиная с этого дня она бросает курить. Она просила передать, что с этого дня...

Это был наш день, это был подарок мне, и Клава это понимала и радовалась своему соучастию моей радости... А однажды, в день рождения Рики, я – поддавшись нелепому авантюризму – влил в банку компота, который я передал Рике, немного вина... Клава мне быстро принесла банку назад и сказала:

– Ваша жена не хочет компота. – И понизив голос:– Никогда больше этого не делайте, ее могут навсегда лишит передач...

Да, у этой Клавы установились какие-то запрещенные законом, человеческие отношения со мной и Рикой. Однажды она вернула мне передачу и с какой-то тревогой в голосе сказала:

– Выбыла из тюрьмы. – И потом, быстро: – Идите отсюда в городскую, там сегодня передача, вы успеете ей передать...

Не знаю, запомнила ли она мою фамилию – сколько таких было! – но меня она запомнила. Когда через семь месяцев

я сидел во внутренней тюрьме и моя квартирная хозяйка сделала мне передачу, Клава с надзирателем вошла в одиночку, где я находился, положила передачу на стол, обернулась ко мне и, несмотря на то, что я был уже серый, остриженный, поросший седой щетиной, мгновенно узнала меня... Она побелела – это было заметно даже в тюремной камере – и глаза ее стали такими испуганными и печальными, что мне очень трудно было соблюсти свою невозмутимость. И я был рад, что эта передача была единственной и что я больше Клаву в тюрьме не встречал.

* * *

Но все-таки вернемся к Намятову. Мне нужно закончить свой рассказ о нем. В Чепецком отделении Усольлага ему жилось плохо. Впервые его назначили начальником большого строящегося отделения. Это было большое предприятие. Строилась узкоколейка – а километр ее стоит миллион рублей... Строились депо, мастерские, склады, биржи, вольнонаемный поселок, зоны для заключенных... И это было время, когда какие-то умники из энкавэдэшников или идиоты из экономистов решили, что на лагерь можно распространить общие правила: нормы, расчеты, всяческие запутанные и идиотические «показатели». А какие там «показатели»! Не знаю, как на воле, а здесь строить можно было, только нагло и открыто нарушая все инструкции, правила, законы, «показатели», – словом, все, во что свято верил Намятов. Все вольнонаемные начальники – от прорабов до лейтенантов – входили в сговор с блатняками-бригадирами, приписывали им выработку, переплачивали огромные деньги, начисляя зачеты, разрешали паханам пить водку, отнимать заработок у зэков, не стеснялись брать в лапу эти отобранные деньги... Намятов видел, что вокруг него идет дикий грабеж, наглое воровство, он видел это и ничего не умел с этим сделать.

Да и что он мог сделать? Строится железная дорога. Как и положено в порядочном строительстве, банк начисляет деньги по выполнению отдельных этапов строительства. Какие-то умники из неведомых мне учреждений придумали для стимулирования работы такой порядок, при котором основное количество денег перечислялось за последнюю стадию, работы: укладку верхнего строения полотна – шпал и рельс. Великая

мысль заключалась в том, что вот, дескать, поспешишь с окончанием работы, чтобы получить все деньги, и быстрее выполнишь план строительства. Ну, а что самое трудоемкое – это не рельсы укладывать, а разрубать и корчевать трассу и делать насыпь – это их не касалось. Ловкие прорабы быстро нашли выход. На только что разрубленную и еще не раскорчеванную трассу они разбрасывали шпалы и свинчивали поверх шпал рельсы, после чего составлялся акт и строительство считалось на две трети законченным. А уж потом под эти шпалы начинали корчевать пни и отсыпать полотно... Можно себе представить, сколько это стоило, сколько нужно было придумать несуществующих работ, чтобы привести в порядок все многочисленные «показатели»!

Намятов ходил осунувшийся. Больше всего его волновало, что он делает зэкам липовые зачеты и этим сокращает их срок. Не начислять он не мог – иначе они бы не работали, да и начальство бы его сразу же выгнало: они-то знали все правила игры и шли на это. Но Намятов успокаивал свою непорочную совесть другим. Он – безусловно выполняя инструкции – делал все, чтобы заключенных этих зачетов лишить. У него для этого были огромные, почти неограниченные возможности. Он лишал зачетов за разговор в строю, за то, что заключенный не в сортире, а около него мочился, за плохо убранную постель, за пререкания с надзирателем, за попытку отправить письмо в обход лагерной цензуры... А перенести это – трудно. Очень трудно, когда ты считаешь, что освободишься через год и семь месяцев, а тут тебе объявляют, что лишили зачетов за полгода, а это значит, накинули почти полтора года, следовательно, освободишься ты только через три с лишним года... Даже привычному арестанту это трудно перенести, а большинство зэков были «мужиками», а не блатняками. Сидели они больше по «закону от седьмого восьмого», работали изо всех сил, считали каждый день и каждую копейку.

Меня он лишал зачетов несколько раз. За «пререкание», за «заниженные нормы», за обход лагерной цензуры. Я к этому относился спокойно: у меня было десять лет, а потом – хотя уже прошло больше двух лет после «сдэха», после смерти Сталина, – я был уверен, что теперь-то я освобожусь... Но лишение зачетов все же не оставляло меня совершенно равнодушным. Намятов это понимал. И меня, признаться, удивило, что,

когда пришла телеграмма о моем освобождении, он меня вызвал и предложил остаться в лагере вольнонаемным... Вот так-таки взял и предложил!

– Чего смеетесь-то! Это если все в Москву будут лезть, кто же тут будет вольнонаемным работать?

– Вы и будете, гражданин капитан. Это у нас есть срок. А у вас срока нет. Вы нанялись быть в лагере бессрочно. Навсегда.

– Идите!

Когда я уходил из зоны, меня шмонали так, как никогда при аресте или этапе – выполняли указание Намятова. Наверное, он был убежден, что увожу много денег.

А сам Намятов – как я узнал потом – как будто чтобы доказать мне, что он не навсегда приговорен к лагерю, через год уволился, перешел на заслуженную им пенсию и уехал наслаждаться свободой и чистой жизнью в Кисловодске, где у него был нажитый трудом домик, садик над Подкумком, розы вокруг балкона. Он был еще очень крепкий, средних лет человек и мог бы наслаждаться заработанной честным трудом счастливой жизнью очень долго. Но через какие-то полгода или год Намятов ушел гулять и не вернулся домой. Только через день его нашли в роще под городом. Он висел со связанными руками на суку старой развесистой сосны. Очень большой шум был тогда на курорте, и милиция выбилась из сил, устраивая облавы на уголовников. Но я-то знаю твердо, что уголовники не убивали Намятова. Это сделали степенные люди, никогда в жизни не тронувшие ни одну тварь, если она не была немцем на войне, люди, освободившиеся и не могущие начать обычную нормальную жизнь, пока они не удовлетворят естественное чувство справедливости.

Майор Выползов

Выползов стал начальником Устьвымлага после Тарасюка, и это было воспринято зеками с таким же чувством, с каким люди через пять-шесть лет восприняли замену Сталина другими людьми. Жить стало не лучше, но веселее. Человечнее, что ли... Тарасюк жил над людьми. Он других – и вольнонаемных в том числе – и за людей, наверное, не считал. А Выползов был человеком, жил среди людей, и ничто человеческое

не было ему чуждо. Арестантам, которым вообще-то все известно про своих начальников, нравилось, что новый начальник лагеря любит выпить, любит женщин и часто меняет свои недорогие привязанности. Как это хорошо, когда начальник не без слабостей!

Кроме того, Выползов любил все красивое, все изящное, он был любителем искусства. А это уже немало для большого количества людей в лагере. Он собрал на командировке Зимка всех сохранившихся живых художников, скульпторов, резчиков, краснодеревщиков. Официально командировка считалась инвалидной, производящей ширпотреб. И действительно, она выпускала деревянные и глиняные игрушки, примитивную керамику, какие-то хозяйственные мелочи из дерева. Но этим занимались ремесленники. Художники делали другое. Они делали дивную керамическую посуду, которая украсила бы любую выставку, любой музей. Они выделывали из березового капа необыкновенные шкатулки, сигаретницы, папиросницы, украшенные инкрустациями, с секретными замочками, музыкальными сюрпризами... Ловкие снабженцы привозили из южных лагерей страны вагоны с бревнами дуба, бука, ореха, клена, светлого ясеня. И столяры – не столяры, а настоящие художники! – изготавливали из разных сортов дерева мебель, которая могла бы украсить любой дворец. На маленьком кожевенном заводе выделывали из оленьих шкур замшу, а варшавские портные шили из них костюмы, поражавшие воображение своей нерусской элегантностью. Там же выделывались драгоценные меха, шились горностаевые одеяла... И многое другое – Выползов очень любил красивые вещи. Красивые картины, мебель, посуду, безделушки. А это много значит.

Я уверен, что если бы у Сталина была потребность украшать десятки своих загородных дворцов не картинками, вырезанными из «Огонька», и не стульями и столами, какие делают для вокзалов, а предметами, хотя бы отдаленно имеющими отношение к искусству, – то в чем-то лучше бы нам жилось. Во всяком случае, была бы сохранена жизнь многих и многих людей.

Конечно, художественная продукция Зимки не оприходовалась, не проходила по каким-либо ведомостям и не шла на рынок. Кроме того, что Выползов любил красивую жизнь и красивые вещи, он не был скупым и жадным, ценил у других вкус к изящному. Поэтому большинство вещей, производимых

художниками и мастерами, шло в Сыктывкар, в Москву – начальникам самого разного ранга. Для начальства, приезжающего в Устьвымлаг в командировку, делались большие и прочные сундуки: в них укладывались многочисленные подарки. Выползов хорошо знал вкусы, своих начальников, и не только вкусы, но и меру этических принципов каждого. Кому – костюм замшевый и одеяло горностаевое, кому спальный гарнитур, а кому – так, для памяти, для забавы детишкам сувенирчик, что-то смешное и маленькое, вырезанное из лосевого рога... Бесконвойные бригады инвалидов бродили по лесам и болотам, собирая сброшенные лосевые рога.

Так как Выползов любил искусство, то он был меценатом. Справедливости ради следует сказать, что все лагерные начальники – кроме, конечно, Тарасюка, – любили искусство и поощряли создание лагерных агитбригад, как еще со времен Беломорканала стали называться ансамбли профессиональных и самодеятельных артистов. В беломорканальские времена они действительно были любительскими. Ну, а в наше время можно было создать отличный коллектив из вполне профессиональных и даже известных артистов.

Выползов поставил лагерное искусство на высокий уровень. На Комендантский лагпункт со всех близких и далеких лагпунктов привозили артистов и музыкантов. Из них создали агитбригаду. Они не работали на производстве, числились в «группе В» или «слабкоманде» (конечно, за счет фактически больных и ослабленных, ибо лимит на эти категории был неукоснительно тверд) и услаждали начальство своими талантами. Они ставили моднейшие в то время пьесы: «Слава» Гусева, «Платон Кречет» Корнейчука и прочие жизнеутверждающие высокохудожественные произведения. Певцы и певицы исполняли «Синий платочек», «Чайку», «Ты ждешь, Лизавета» и другие любимые произведения из кинофильмов и некинофильмов. Балерины, плясуны откалывали огневые и опять-таки жизнеутверждающие танцы. Скрипачи и виолончелисты ослабевшими пальцами играли «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса и «Песню без слов» Мендельсона. Ибо, хотя начальники больше всего и любили жизнеутверждающее, но они все же были людьми, и им было приятно время от времени немного погрузиться в теплое и уютное зале клуба под негромкую меланхолическую мелодию инструмента.

Клубом в Вожаеле называлось огромное здание с центральным отоплением, прекрасной сценой, хорошим залом, с фойе, разрисованным отличными художниками. И возле клуба кормилась стайка художников, декораторов, бутафоров... Иногда агитбригаду сажали на машину и отправляли на какой-нибудь лагпункт, который давал наилучшую «отдачу». Это всегда было большим событием и для артистов, и для награжденного лагпункта.

Во всех лагерях – а их в Коми было множество! – находились начальники-меценаты, которые друг перед другом выдрючивались своей крепостной труппой. Ну это как кому повезет! Больше всего, кажется, повезло начальнику Ухтижимлага. У него в Ухте была настоящая опереточная труппа, которой руководил Константин Эгерт, тот самый, знаменитый красавец из Малого театра, снимавшийся в «Медвежьей свадьбе». В труппе пел превосходный премьер Харбинской оперетты, танцевала Радунская из Большого театра, оркестр оперетты был составлен из первоклассных музыкантов, среди которых был виолончелист Крейн из знаменитого трио: Шор, Пинке, Крейн...

Иногда начальник Ухтинского лагеря наносил визит в соседний лагерь. Хотя это прозаически называлось «для обмена опытом», но обставлялся такой визит по всем правилам протокола посещений одних глав государств главами других. Начальство сопровождала большая свита начальников отделов, для них готовились избранные места в гостинице, намечались маршруты, привозились с Зимки подарки. И начальник привозил с собой своих лучших артистов, чтобы хозяева понимали, что и у них с искусством не хуже, а может быть, даже и лучше...

Вот так и мне пришлось увидеть Ухтинскую оперетту. Я тогда уже был на положении вольнонаемного, был вызван на хозяйственное совещание в Вожаель (это входило в программу визита начальства из Ухты), и поэтому удостоился возможности (правда, из самого дальнего ряда) увидеть давно забытое зрелище.

Ах, каким же пленительным оно было! Кончалась война, из Восточной Пруссии в лагерь шли эшелоны с носильными вещами, собранными в брошенных домах. Они за бесценок продавались вольнонаемным, которые их успешно переделывали.

вали с помощью лагерных портных. Ну, а для своих артистов начальство не жалело трофейных туалетов! На сцене вожаельского клуба шла «Сильва». И ей-богу! – это было не хуже, чем на Большой Дмитровке!

Невозможно было отвести глаз от этих красавиц в дивных и роскошных туалетах... Их глаза блестели не меньше, чем тэтовские бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Умопомрачительны были красавцы в элегантных фраках, которые они носили профессионально умело и красиво. И так идиотски-сильно хотелось верить, что где-то, в каком-то неведомом царстве-государстве существует эта жизнь с такими вот конфликтами; что можно почти всерьез переживать вот такие драмы, такое счастье, такие несчастья?.. «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» – радостно-страдальчески пела Сильва, и я физически наслаждался этим страданием, этой истомой в голосе, всем блеском театральной роскоши, парадом красоты и радости.

Спектакль кончился. В фойе джаз из эзков Комендантского лагпункта заиграл наимоднейшее польское танго, офицеры начали выводить в круг своих толстых и румяных дам, чьи туалеты, несмотря на все переделки, все же сохраняли в чем-то элегантность и стиль чужой жизни. Смотреть на этих танцующих, после той красоты и подлинного артистизма, которое я только что видел, было почти тягостно. Я вышел на улицу. Был конец ноября, и недавняя метель намела вокруг дома огромные сугробы. Небо прояснилось к начинающемуся сильному морозу, и звезды горели – как всегда зимой – с мрачной силой и отчужденностью от всего живого.

У «артистического» подъезда клуба я услышал возню и знакомые конвойные возгласы: «Чего ползаете, как вошь по мокрому!..», «Давай, разбирайся, живо!», «А ну, становись, быстро!», «Разговоры!» Я завернул за угол и увидел столь привычную, совершенно обыкновенную сцену: арестанты – мужчины и женщины – одетые почти одинаково в ватные штаны, мятые телогрейки и уродливые бушлаты, устало, привычно-нехотя выстраивались в конвойную колонну, конвой торопил их, материл, он спешил отвести эзков на Комендантский, чтобы успеть еще вернуться и если не потанцевать» то хоть посмотреть на танцы. Я всмотрелся в чем-то показавшиеся мне знакомыми лица арестантов. Не сразу я понял, что они мне по-

казались знакомыми потому, что я их только что видел. Красивыми, молодыми, элегантными, счастливыми, несмотря на все переживаемые ими горести опереточной любви. В этих, подконвойных лицах ничего этого уже не было, ни малейшего признака. Они стояли обыкновенными, нашими, со всеми следами возраста, многих этапов, дикой усталости и такого мне знакомого желания скорее, как можно скорее дойти до тепло-го барака, раздеться, выпить кружку кипятка с куском хлеба...

А все равно они, наверное, были благодарны меценатам за то, что им не надо было вставать на развод, идти в темноте в лес на непереносимо тяжелую и губящую людей работу!

Выползов был меценатом и поэтому добрее и лучше многих других. Большой карьеры он не сделал – такие люди не достигают обычно каких-нибудь особых начальственных высот, – он и после Устьвымлага начальствовал в других лагерях, дослужился до большой полковничьей пенсии и, не потеряв нисколько вкуса к жизни, к изящному, к искусству, вероятно, и сейчас еще живет в хорошем, заранее где-то на юге построенном доме, полном красивых и дорогих вещей. Бог с ним!

Генерал-майор Тимофеев

Фамилия этого генерала была знакома многим сотням тысяч заключенных, которые прошли – или же остались – в лесоповальных лагерях Урала, Коми, Карелии, Архангельщины, Сибири...

На разводах читались приказы о расстрелах беглецов и отказчиков за «контрреволюционный саботаж», о новых сроках за небрежное отношение к лошадям, машинам, вещдольствию и другому казенному имуществу. Включая, естественно, и самих эков. Ибо за «членовредительство» тоже давали срок. И все эти приказы заканчивались словами: «Подлинный подписал: начальник Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД СССР – генерал-майор Тимофеев». Словом – это был наш почти главный тюремщик. Не всякому удастся увидеть тюремщика такого ранга. Мне – удалось. Два раза. И я хочу об этом рассказать. Но прежде мне предстоит довольно длинно изложить предысторию этого события. Пусть возможный читатель меня за это извинит.

В силу причин, неподвластных нашей воле, всякий срок кончается. Еще шла война, когда начали кончаться сроки у пятилетников, еще несколько лет – и должны были начать кончаться сроки у восьмилетников: их тогда в лагерях было больше всего. И с этим надо было что-то делать. Путь для этого было много. Во-первых, давать новые сроки по новым «лагерным» делам. Во-вторых, задерживать освобождение или «до конца войны», или же просто «до особого распоряжения». А уже освободившихся считать вроде как бы и вольными, но на положении ссыльных: без паспортов, без права выезда не только что за пределы лагеря, но и за пределы отведенного пункта. И опять же с обязанностью делать, живя за зоной, то же самое, что и в зоне: пилить лес, чинить машины, шить бушлаты, щелкать на счетах... Это состояние называлось «быть закрепленным за лагерем до особого распоряжения». В двух категориях – «второсрочника» и «закрепленного» мне пришлось быть. Пожалуй, я об этом расскажу сейчас, так как не знаю в каком другом месте этих воспоминаний я смогу это сделать.

У меня было пять лет, и мой срок кончился 17 апреля 1942 года. Я был не очень приметным арестантом, и, вероятно, специально мне новый срок бы не дали, если бы не одно обстоятельство. В начале войны, выполняя какие-то указания «об усилении бдительности», на всех лагпунктах начальники стали хватать арестантов, которых они или не хотели освобождать, или же просто желали по каким-то своим соображениям убить. Делалось это довольно просто. Стукачи писали в «агентурках» то, что им диктовали «оперы». Подобранные уголовники за пачку махорки давали необходимые свидетельские показания. Обвинение всегда было одно и то же: пораженческая агитация. За это давали срок – до десяти лет. В нужных случаях агитация становилась «групповой агитацией». Это уже была статья 58-10 и 58-11 – создание организации. За это – расстреливали. Со всех лагпунктов в Управление отправляли людей, которых заново арестовывали, держали в местной тюрьме, допрашивали. В Вожаеле их судила «Лагерная спецколлегия», кого расстреливали, а кому давали новые сроки и отправляли на штрафняк, где возможность выжить была отнюдь не гарантированной.

У нас на лагпункте среди арестованных оказался начальник электростанции – Олег Стаскевич. Это был молодой че-

ловек иронического склада ума, имевший – невзирая на свою молодость – уже какую-то сложную доарестантскую биографию. И на язык он был невоздержан. Мы с ним жили в одной «кабинке» – маленьком бараке, человек на пятнадцать. Вот Олега порешили сделать одним из продуктов их оживленной, способствующей обороноспособности страны деятельности. Стаскевича арестовали, а тех, с кем он общался, стали таскать в Хитрый домик, как называют специально построенное в зоне помещение для «опера»: маленький дом с отдельным входом и выходом.

Нашему «оперу» – Чугунову – очень хотелось сделать меня свидетелем. Для этого ему надо было «подобрать под меня ключи», и делал он это по привычному и нехитрому трафарету. Ночью меня забрали, посадили в карцер, утром предъявили обвинение в том, что я в присутствии таких-то и таких произнес длинную и пылкую речь, в которой призывал Гитлера как можно скорее победить большевиков, освободить Россию, а с нею, естественно, и меня. Следствие вертелось, как может вертеться примитивная, хорошо смазанная и отработанная машина. Негодующее заявление одного свидетеля, показания других, очные ставки... Было довольно смешно читать выпендренные, полные патриотических фраз из передовиц, показания малограмотных мелких воришек, «шакалов», дошедших в лагере до последнего предела падения и унижения. Но смеяться было не к чему – я же понимал, чем все это кончится. Через несколько дней Чугунов закончил следствие, дал мне подписать «двести шестую» и тогда приступил к главному. Он предложил мне подписать уже написанное им готовое показание на Стаскевича и дал мне «честное слово коммуниста» – так ведь и сказал!! – что он после этого мое дело тут же, на моих глазах бросит в печку...

Как пишут в коммюнике, – «стороны не пришли к согласию» – и разгневанный «опер» дал естественный ход делу. Меня, как числящегося «за судом», этапировали на другой лагпункт, а после того, как я там месяца два походил на повал, в суде дошла очередь и до меня (эта очередь была довольно длинной, и в ней никто не рвался вперед). Этап потопал в Вожаель. Был февраль сорок второго года, только что прошедшая метель уничтожила все дороги, перемела лежневки, конвой вел меня и еще троих отказчиков по сугробам, по еле

выдающимся вешкам, обозначающим трассы бывших дорог. Шестьдесят километров мы прошли за четыре или пять дней, ночуя в карцерах лагпунктов, лежавших на нашем пути. Это было очень важное для меня путешествие, потому что мне не на что было надеяться, и я мог думать обо всем: о своей жизни, о жизни других людей, о всех моих поступках и верованиях, с полной свободой, ни на что не оглядываясь, не пытаюсь нисколько хитрить с самим собой.

Нас довели до Вожаеля, посадили куда надо и через два дня судили. Суд был если и не справедливый, то во всяком случае – скорый. Из набитого коридора, где толпились абитуриенты, меня вызвали в суд, и через полчаса я получил новый срок за «пораженческую агитацию в военное время». Был уже вечер, когда меня вели из суда по вольнонаемному поселку на Комендантский лагпункт. Я знал, что теперь меня отправят на штрафной и я, очевидно, никогда больше не увижу этот нормальный человеческий мир, каким он мне представлялся сейчас, за марлевыми занавесками освещенных домов. Над столами, застланными белыми скатертями, свисали оранжевые абажуры, сшитые из марли и окрашенные красным стрептоцидом. Силуэты женщин и детей свободно и легко передвигались в этих комнатах, на столах расставлялась какая-то снедь. Они ждали прихода с работы хозяина, чтобы ужинать... Было что-то кроткое, домашне-умиляющее, просто что-то диккенсовское в этих мелькавших картинках быта жизни семейных тюремщиков. Но я не помнил, что здесь живут тюремщики. Для меня это был старый, добрый, милый мир, из которого я навсегда должен был уйти. И я прощался с ним, потому что меня из него уводили, и я считал, что у меня не хватит сил, чтобы дожидаться возвращения в него.

* * *

...Люди обычно считают себя слабыми и совершенно не знают свою физическую пластичность, свою фантастическую приспособляемость к почти любым условиям. Мне казалось, что есть предел усталости, когда исчезают желания и возможность сопротивляться обстоятельствам. Я еще так думал потому, что видел многих совсем молодых людей, которые, как мне показалось, – устали жить и от этого умирали.

Это было весной 1939 года. Меня, полуживого, покрытого – как леопард – большими черными, не проходившими много лет пятнами цинги, привезли на Головной с подкомандировки, где я провел зиму. Спас мне жизнь один красивый и необыкновенно занятый авантюрист, который работал врачом и которому я чем-то показался. У него было три года, он освобожденный и приехавшего ему на смену врача попросил меня найти и, если я еще жив, помочь выжить. Новый врач – Александр Кузьмич Зотов – был тоже довольно редкостным типом, может быть, я о нем расскажу. Он заявил Заливе, что ему необходим в качестве помощника студент, медик-пятикурсник... и назвал мою фамилию. Меня разыскали на командировке, положили на подводу и привезли в госпиталь на Головной.

Госпиталем назывался совершенно обыкновенный барак, в котором на нарах лежали и умирали дистрофики. Зотов быстро привел меня в порядок – он меня кормил так, как жена людоеда откармливала мальчика-с-пальчика... А когда я пришел в себя, раскрыл передо мною роскошную перспективу превращения меня в «лепилу» – медицинского работника. Пока я числился в слабкоманде, он меня назначил – как он пышно меня называл – ординатором. Это означало, что я оставался один дежурить ночью в огромном бараке. Три недели моего ординаторства, наверное, были самыми страшными в моей жизни. Обязанность моя была довольно несложна. Мне оставляли шприц и три (никогда больше) ампулы камфоры. Я мог их впрыскивать умирающим – по моему собственному выбору. Затем обходить нары и, когда замечал уже умерших, закрывать им глаза и связывать кусками бинта руки и ноги. Первая операция производилась по традиции и из эстетических побуждений, вторая же имела чисто практический смысл: мертвеца с наступившим трупным окоченением было удобнее бросать в ящик, – вывозить на кладбище.

Ампулы, в которые я наивно верил, я старался тратить на молодых – мне их было больше всего жаль. Но я видел юношей-подростков – главным образом из «осколков» (как поэтически-образно называли на Лубянке детей уничтожаемой партийно-государственной элиты), – которые умирали в полном сознании и без малейших признаков страха перед наступающей смертью. Они были как столетние старики, уставшие от длинной жизни и рассматривавшие смерть как отдых. Эти

17-, 18-летние мальчики уже так устали от арестов, обысков, допросов, этапов, голода, холода, непосильного труда, они так от этого устали, что не боялись, что все кончится. Никаких попыток удержаться у этих мальчиков уже не было, и когда я впрыскивал камфору, то они мне совершенно спокойно говорили:

– Зачем? К утру я уже умру...

А утром приходил начальник санчасти – высокий прыщеватый молодой фельдшер в форме младшего лейтенанта. Он вызывал меня и, деловито вынимая из кармана записную книжку, спрашивал:

– Сколько за ночь летальных случаев?

И аккуратненько записав – 15 или 20, а то и больше – уходил. И больше уже в больничный барак не показывался.

...Так вот: я думал, что у меня наступает то исчезновение сопротивляемости, которое я видел у этих умирающих мальчиков. Потому что я прощался с этим миром спокойно, без особого страха, просто с сожалением, с легкой, что ли, грустью. «Печаль моя светла, печаль моя легка...» Потом я понял, что все это не так. Бедные дети в бараке умирали как столетние старики от того, что были смертельно больны – от цинги, пеллагры, дистрофии, никем не замечаемой пневмонии. Их же никто не лечил, им и температуру не мерили, а если бы и мерили, то она у них была бы ниже нормальной: у дистрофика все жизненные процессы протекают не так, как у здорового человека.

А вообще-то теперь я твердо знаю, что из всех скольконибудь высокоорганизованных, во всяком случае из млекопитающих, человек – самое пластичное, самое приспособляющееся существо. Твердо знаю, что никакое животное – ни корова, ни свинья, ни собака – не выдержали бы того, что выдержали заключенные в лагерях.

Но тогда, в феврале сорок второго года, я этого еще не знал. И уж во всяком случае, мне не могло прийти в голову, что после этого пройдет почти тридцать лет, что я буду на свободе, в Москве. Что мне предстоит еще раз пройти по новому кругу арестов, суда, этапов, тюрем и лагерей, что опять будет свобода и многие годы счастья. Что вот эти воспоминания я пишу в Ялте в теплый и солнечный ноябрьский день. Сейчас закончу эту страничку и пойду с Рикой вниз к морю. Пройдемся по

всегда оживленной набережной, постоим у парапета, потом пойдем в парк, где южная меланхолическая осень пахнет вялым листом и все еще цветущими розами... А через несколько недель уедем в Москву, и там, в своем маленьком кабинетике, окруженный со всех сторон книгами, я привычно сяду в вертящееся кресло, достану рукопись и начну дальше заниматься историей жизни одного замечательного и грустного ученого, умершего в 1912 году... Конечно, с помощью машинной и машиноподобной логики можно – как ребячество – опровергнуть мою наивную веру в возможность человека сопротивляться обстоятельствам. Но как часто, прижатый в угол, я вспоминал, как прощался с прошлым и будущим февральской ночью сорок второго года...

...Но – как пушкинский Онегин, правда, по совсем другому поводу, – я «не умер, не сошел с ума»... И даже на штрафняк не попал. Мой приятель, уже отбухавший свое и дошедший до поста начальника отдела труда и зарплаты лагеря, добился, чтобы меня отправили назад, на Второй лагпункт для работы нормировщиком. Мне ведь удалось научиться этому дефицитному делу, и оно мне сослужило верную службу на протяжении моих многих лагерных лет.

И все кончилось тем, что я – уже конвойным, вторичником – снова засел в контору Второго лагпункта. Жил я все последующие месяцы без большого аппетита. Все же нелегко это перенести: получить новый срок за полтора месяца до свободы. Пусть условной, довольно мифической, но все же свободы. Трудно было прожить день 17 апреля сорок третьего года – день, когда я должен был освободиться. Трудным и почти совершенно необозримым – как всегда в начале срока – представлялся мне мой будущий путь.

Вот так я прожил весну и начал лето. В конце июня, встретив меня в зоне, начальник дивизиона охраны бросил мне на ходу:

– А насчет тебя, кажется, бумажка пришла об освобождении...

Я остался совершенно спокоен. Такие случаи уже бывали. Арестанту дали новый срок, а спустя какое-то время в учетно-распорядительном отделе кто-то натывается на перечень оканчивающих срока, где бедолаге забыли приписать новый... И идет на лагпункт лживая бумажка о вызове на пересылку для

освобождения... Я пошел к начальнику лагпункта. Об Анатолии Николаевиче Епаничникове я еще где-нибудь расскажу. Это был молодой и редкостный для тюремщика человек – добрый, вежливый, исполненный доброжелательства к заключенным. Он мне подтвердил, что бумажка о вызове меня есть, и прибавил, что она, очевидно, пришла по недогляду и что он меня отправлять не будет: слишком мучителен этап туда и обратно, мучительны дни, проведенные впустую на пересылке. Он просто сообщит в УРО о происшедшем недоразумении. Я поблагодарил Епаничникова и пошел в свою конторку.

И вдруг я почувствовал, что не могу работать... А вдруг? А вдруг это не недоразумение, а правда?.. Впервые за все эти месяцы мое сознание стало выходить из-под контроля.

Я не мог больше ни о чем думать. И я пошел в УРЧ – учетно-распределительную часть. Там работало несколько вольнонаемных, и была такая славная девушка Женя: дочка какого-то начальника, попавшего в немилость к Тарасюку и поэтому отправленного на фронт. Я начал просить Женю дозвониться до Управления и выяснить в УРО, почему прислана бумага с моим вызовом на освобождение в то время, когда... Женя вздохнула – до Управления от нас было очень трудно дозвониться, и она считала, что это все зря. Но она была добрым существом и жалела меня... Женя начала крутить ручку телефона и крутила ее час, два... Она не могла перестать, потому что я стоял рядом и не сводил с нее глаз. И она дозвонилась, позвала соответствующего инспектора и стала ему терпеливо объяснять о происшедшем недоразумении. Вдруг лицо ее изменилось, оно стало бледным, потом она прибавила: «Да, да, понимаю...» – и медленно положила трубку. Из глаз ее брызнули слезы и вдруг – неожиданно, неоправданно! – она бросилась мне на шею и, рыдая, стала говорить:

– Лев Эммануилович! Все правда, все правда! Вас освободили! Приговор отменили! Совсем отменили!..

...И это не просто – пережить вот такие минуты! Мне пришлось еще раз испытать почти такое в 1955 году, когда меня – тоже летом – освободили за пять лет до окончания срока... Да. Ночью Епаничников сделал совершенно неслыханное. Он снял с лесовывозки машину, посадил на нее меня с конвоиром и отправил на пересылку, приказав высадиться за несколько километров до пересыльного лагпункта: чтобы не погореть,

за такое с ним черт знает что могли сделать!.. Через неделю я – сам собой, как настоящий вольняшка! – вернулся на Второй лагпункт с бумажкой не из УРО, а из отдела кадров о назначении меня на ту же самую должность, на которой я работал заключенным. Я стал «закрепленным за лагерем» и переехал за зону в комнату вольнонаемного барака.

Почему меня освободили? Я получил довольно громкую известность в лагере – я был единственным, у кого отменили приговор по такому «пораженческому» делу. Как это произошло? Так как все – и даже в лагере – происходит по строго соблюденному закону, то, когда я получил новый срок, мне дали двадцать четыре часа для того, чтобы написать кассационную жалобу. Получив кусок бумаги, я сел за стол в пустом бараке Когдендантского лагпункта и стал обдумывать стоящую передо мной литературную задачу. Я понимал, что хотя и минимальный, но есть у меня шанс... Дело в том, что Чугунов в моем деле проявил откровенную халтуру. У него был штамп, который до сих пор действовал совершенно безотказно. Он его применил и ко мне. Забыв об одном – я был еврей... Почти все мои близкие были коммунистами и на фронте. Чтобы я стал пораженцем – мне следовало бы сойти с ума, не меньше!.. Да, тут есть какой-то шансик!.. Но как заставить того, неизвестного мне чиновника прочесть мою кассацию? Таких приговоров и жалоб – тысячи, они их не читают, наверно!.. Значит, нужно написать так, чтобы было прочтено. Во-первых – она должна быть написана отчетливыми буквами – тем библиотечным шрифтом, каким меня обучали когда-то на «спецкурсах», и занимать не более половины страницы. Во-вторых – она должна начинаться такой фразой, которая бы заинтересовала жреца правосудия... И заканчиваться чем-то таким, что не оставит этого жреца равнодушным...

Мою кассационную жалобу я теперь считаю лучшим своим литературным произведением. Первая фраза была такой: «Мое дело, очевидно, единственное в мире. Меня – еврея, у которого уже полтора десятка родных убито немцами в Белоруссии, а другая половина родных сражается на фронте, – обвиняют в том, что он, в здравом уме, за пять месяцев до освобождения, публично призывает Гитлера победить Советский Союз»... После этого шло лаконичное и весьма саркастическое описание моего «дела». Затем я стал думать над после-

дней фразой. И написал: «Обвинение, по которому я осужден, носит не частный характер, а имеет принципиальное значение. Я уверен, что Еврейский антифашистский комитет, к которому я – в случае надобности – обращусь за помощью, это поймет»...

И я стал думать, что произойдет, когда какой-то прокурор, или как их там называют, – когда он достанет из груды бумаг мое дело и привычно-лениво начнет пробегать мое заявление. Таких коротких кассационных жалоб он и не видел раньше! Он ее прочтет и начнет читать подшитое к жалобе обвинительное заключение и приговор. Потом он начнет мысленно или вслух материть «опера», суд – всю эту халтурную шарашку: «Не могли, идиоты, халтурщики, лентяи придумать для этого зэка что-нибудь другое! Разленились до того, что уже ни на что ума не хватает!» И – он заглядывает в анкетную часть обвинительного заключения – этот тип еще и журналист по профессии! И обязательно, сволочь, напишет в свой еврейский (а может быть, он сказал – жидовский) комитет и еще наберешься с ним неприятностей!.. И трижды выматерив своих лагерных коллег, он в сердцах пишет заключение: «Приговор ОТМЕНИТЬ»...

Так ли это произошло или иначе – я уже никогда не узнаю. Но думаю, что мои предположения довольно близки к истине. Во всяком случае, кассационная инстанция не то что послала дело на новое следствие – она просто отменила приговор. И даже не знаю, с какой мотивировкой. И я стал свободным, ну, конечно, с «закреплением в лагере до особого распоряжения».

Каков был статус «закрепленного»? Я считался вольным и мог жить за зоной, мог жениться и стать членом профсоюза. Я получал заработную плату, возможность ходить на собрания и посещать политзанятия. Мог свободно передвигаться в пределах лагеря, конечно, не пропуская службы, ибо лесной лагерь считался оборонным предприятием, а следовательно, за прогул полагался срок до пяти лет... Впрочем, «закрепленный» был избавлен от уже надоевшей процедуры ареста, следствия, суда, этапа... Если лагерное начальство усматривало в поведении вольного что-либо ему не нравившееся, то лагерный прокурор составлял постановление, на основании которого «закрепленный» раскреплялся и снова загонялся в зону в качестве заключенного «до особого распоряжения».

Но через несколько месяцев после окончания войны слово «раскрепление» приобрело новый и совершенно обольстительный смысл. Какая-то неведомая нам инструкция разрешала начальству особо отличившихся в поведении и труде бывших заключенных, а ныне «закрепленных» – раскреплять. То есть переводить их в положение почти обычных граждан. С паспортом, с правом передвигаться за пределы лагеря, с правом даже уезжать на время положенных, уже возобновившихся, отпусков. Правда, паспорт был с 39-й статьей положения о паспортах, и с этим паспортом нельзя было появляться почти во всех краевых и областных центрах, столицах союзных республик и многих других городов. И увольняться из лагеря тоже нельзя было. И много кое-чего нельзя было. Но этого «кое-чего» были лишены и другие – коренные вольные, и уже никто без суда не мог тебя загнать в зону. А главное, самое главное – можно было получить отпуск, уехать и увидеть все то, что у тебя сохранилось: дом, семью, родной город, друзей... Это была настоящая свобода, и желание «раскрепиться» стало самым главным в нашей жизни.

Я не стану здесь рассказывать, как я «раскрепился». У меня это тоже гладко не прошло. Помощник лагерного прокурора, ведавший раскреплением, меня не пропустил. Это был маленький чернявый украинский еврей – невежественный подонок, пьяница и хам, больше всего боявшийся, чтобы его не заподозрили в том, что он покровительствует «своим». У этого выродка была только одна хорошая черта – он боялся своего отца. А отец – крошечного роста, кряжистый старичок – работал диспетчером автоколонны. Мы с ним и знакомы не были, но когда я после посещения прокурора пришел на автостанцию, диспетчер бесцеремонно меня спросил, почему я такой и какое у меня несчастье?.. Узнав, что у меня есть мать, которая меня ждет, он сурово сказал:

– Никуда не уезжайте! Этот босяк, эпикейрес, галамыжник будет на улице ночевать, если он не пустит еврея к своей родной маме!.. Завтра вы получите эту бумажку, можете мне поверить!

И завтра я получил эту бумажку! И уехал в Княжпогост и там в самом настоящем районном отделении милиции получил паспорт. Ну, паршивый паспорт, конечно, но все же паспорт. И я уже довольно много знал, чтобы не относиться к нему

пренебрежительно. Миллионы людей, даже и вовсе никогда не осужденные, мечтали о таком паспорте, совершенно для них недоступном!.. А с этим паспортом я мог получить отпуск, мог уехать, уехать в Москву, как-никак у меня на руках было удостоверение, что я являюсь сотрудником Устьвымлага НКВД, сокращенно: «сотрудник НКВД», еще сокращенней и грозней – «сотрудник органов»... Имея такое удостоверение, можно рискнуть поехать в Москву и с подмоченным паспортом!

В октябре сорок пятого года я приехал в Москву! Я удержусь от соблазна вспомнить и еще раз пережить приезд в Москву, встречу с мамой, братьями, с долговязой девчонкой, которую я запомнил пухлым годовалым ребенком... С некоторыми друзьями, с прошлым, которое, оказывается, существовало, не исчезло полностью, сохранилось – пусть и в странном, деформированном виде.

Значит, я приехал, не прописанный в старом доме моего детства, ел вкусности, изобретаемые для меня мамой; ходил с дочкой в цирк и зоопарк; сидел в незнакомых мне квартирах, куда я приходил передать привет или письмо и слушал плач матери или жены, которые еще должны были ждать и ждать, чтобы увидеть своего... Вечером пировал с друзьями, которые глядели на меня как на выходца с того света и считали необходимым поить меня всеми забытыми мною напитками...

И вот я сижу – как некогда – в квартире старого дома, в переулке на Петровке у моего старого друга – Туся, пью жидкий чай и крепкую водку, и мы перебираем всех наших старых друзей – живых и мертвых, – мы вспоминаем их так, как будто и не было этих лет... Кроме того, что Туся была очень верным и надежным другом, она еще была и бесстрашна. Как я понимаю, одним из источников этого бесстрашия и уверенности в возможности невозможного была ее обаятельность, к действию которой она привыкла, и нежелание представить себе всю степень трудностей, которые следовало преодолеть. Во всяком случае, она настолько решительно считала, что я должен остаться в Москве и начать работать в редакции литературного журнала (только-то!!!), что почти уверила и меня в возможности этого...

Для начала надобно было сделать главное: уволиться из лагеря. И тут-то Туся вспомнила, что в эвакуации она работала в газете большого оборонного комбината, а парторгом ЦК там

был один человек, а теперь этот человек работает в ЦК и веда-ет, кажется, органами, и что он иногда даже звонит ей, хотя она – Туся – не представляет себе, о чем же можно с ним гово-рять!.. Но тут у нее предмет для разговора сразу нашелся. Она разыскала телефон своего знакомого, тут же позвонила ему, несколько минут своим быстрым воркующим голоском гово-рила ему какие-то светские, ничего не значащие слова, а по-том – как бы между прочим – сказала, что вот есть у нее при-ятель, которому надо помочь снова начать литературную работу, бросив другую, там, на Севере, где ему и делать-то не-чего...

Словом – как в сказке – на следующий день я сидел в ЦК у Тусиного знакомого. Он был – как и положено в этом учреж-дении – прост, внимателен и спокоен. Он деловито спросил, откуда я хочу уволиться, сколько лет у меня было, какая ста-тья, и, очевидно, остался удовлетворен ответами. Потом – при мне же – он снял трубку вертушки и позвонил «товарищу Ти-мофееву» – даже генералом его не назвал. И разговаривал с ним спокойно-равнодушно, как Тарасюк с мелким вольняш-кой. Сказал, что вот есть-де такой, в прошлом литературный работник, а теперь он собирается вернуться к старой своей ра-боте, а посему пусть товарищ Тимофеев даст указание уволить его с работы... Положив на рычаг трубку, человек из ЦК сказал мне, что товарищ Тимофеев просит завтра к нему зайти...

Просит!.. Товарищ Тимофеев меня просит... Ну, что ж – я могу и зайти, раз меня товарищ Тимофеев просит... На следу-ющий день мама рыдала, меня провожая, на все мои уговоры отвечала, что она хочет только одного: чтобы я вернулся до-мой... Ну, а я был более уверен, нежели мама. И бодро пришел на Кузнецкий мост, где меня уже ждал пропуск. Сначала меня принял начальник отдела кадров – долговязый полковник, который смотрел на меня как-то странно и даже с сожалени-ем. Я заполнил какую-то анкету, затем написал заявление с просьбой об увольнении из Устьвымлага НКВД. Затем полков-ник меня повел наверх, пошел к генералу, а я остался в рос-кошной приемной, отделанной панелями из дорогих сортов дерева – это был вкус самого Сталина. Так отделывали свои деловые апартаменты все начальники.

Вскоре плотно обитая дерматином дверь открылась, и пол-ковник жестом пригласил меня войти. Я прошел крошечный

тамбур, открыл вторую, обитую дверь и вошел в огромный кабинет. Генерал-майор Тимофеев сидел напротив двери, далеко, в самом конце широкой красной дорожки. Первый раз я видел вблизи, почти вблизи, живого генерала. В настоящей генеральской форме: тугой воротник, золото широких погон, цветные ряды орденских ленточек. Лицо у Тимофеева было совершенно привычно-генеральским, ожившей иллюстрацией Кузьмина к Лескову или Салтыкову-Щедрину...

Несмотря на все волнение, мне было трудно подавить улыбку от дикого, почти неправдоподобного соответствия действительности с книжным, классическим представлением о том, как должен выглядеть генерал. Но я сдержался и, остановившись на почтительном расстоянии от стола, бодро сказал:

– Здравствуйте, товарищ генерал-майор!

Генерал не ответил. Поджав нижнюю губу, он внимательно рассматривал меня глубоко спрятыми глазами цвета бутылочного стекла. Потом медленно сказал:

– А вы, оказывается, все еще думаете, что вы такой, каким были. По ЦК ходите, планы все строите...

– Я не нарушил никакой субординации, товарищ генерал-майор, – ответил я, стараясь сдержать начинающийся тик левой щеки. – ЦК директивное, а не административное учреждение, к нему может обращаться любой человек...

– Может, может... – примирительно-спокойно ответил Тимофеев. – Вы думаете, вы нам нужны? Да пусть они вас назначают хоть редактором «Правды»! Пожалуйста! Вы нам совершенно не нужны!..

– Конечно, я вам не нужен, – сказал я, осмелев, тик у меня уже прошел. – И я вам не нужен, да и вы мне не нужны...

– Вот, вот. Дайте ваше заявление!

Он взял из моих рук заявление и в углу синим толстым карандашом крупно написал: «Не возражаю. Тимофеев». Потом отдал мне заявление назад и, откинувшись, сказал:

– Идите! Распоряжение будет послано.

«Я вышел шатаясь...». Буквально. Прежде всего я уехал домой и стал размахивать перед плачущей мамой заявлением с резолюцией, написанной толстым синим карандашом. Потом мы обсуждали, как я буду жить в Москве, работать в журнале и еще что-то – столь же неразумное и детское... Впрочем, точно

так же думали и мои друзья, и Туся, которая была счастлива от того, что, оказывается, можно воздействовать даже и на них...

Это были хорошие дни: перед отъездом в Вожаель, куда я ничего не повез – я же вернусь скоро! И после приезда в лагерь, когда я поехал в Управление, сдал в отдел кадров драгоценный документ с синей резолюцией; и когда, приехав на лагпункт, начал собирать вещи и записывать адреса множества эков московского происхождения, к родным которых я должен был зайти...

И уже началась зима, а меня все не вызывали для расчета. и не вызывали... Я звонил в отдел кадров, и мне холодно отвечали: еще нет указания... И меня перестали вызывать в Управление на совещания, и Епаничников меня предупредил, что если я уезжаю на воскресенье, то в понедельник в девять утра должен быть на работе – об этом ему звонили из Управления, и есть люди здесь, которые за этим следят... Я написал заявление начальнику лагеря Выползову с просьбой о приеме. Только через полтора месяца я получил разрешение на приезд в Вожаель.

Выползов был как ощерившийся волк. Он выслушал меня и холодно сказал:

– Да, правильно, генерал Тимофеев не возражает против вашего увольнения. Я возражаю. Я не могу вас отпустить, пока не будет у меня равноценной замены... Те, кого вы называете, такими не являются. Вы свободны. Поезжайте на лагпункт.

Только через год, когда в лагере была получена инструкция, что бывшие эки могут уезжать туда, куда им положено «Положением о паспортах», я узнал причину необычно смелого отношения Выползова к генеральской резолюции. Выдавая мне документы, инспектор отдела кадров – крошечного роста молодой коми – сказал мне:

– Я думал, что раз образованный – значит, умный. А ты, оказывается, совсем, совсем глупый... Ты чего совался со своей резолюцией? Год назад сразу прибыли две бумаги на тебя: одна от отдела кадров ГУЛЛПа – по всей форме – дескать, отпустить такого-то, уволить... А с ней простая такая бумажка, и на ней самим генералом, его собственной рукой написано: не увольнять, держать в тайге, подальше... Понял миндал! И если бы твой Епаничников не был таким настырным, то быть бы тебе нормировщиком на Девятом, на штрафняке! Черта лысо-

го бы ты оттуда сюда к своей бабе пробирался бы!.. То-то умники! Начальство, оно сильнее всех умников!..

* * *

Вторая моя встреча с генералом Тимофеевым произошла лет через семь. Я был в Усть-Сурмогском отделении Усоляга, когда летом 1952 года стало известно, что в Соликамск прибыл со всей свитой сам генерал Тимофеев. И было очевидно, что он приедет на Сурмог, потому что это было большое отделение и всего сорок километров от города. Лагпункт нервно готовился к встрече высокого гостя. Начальство больше всего уповало на впечатление, которое произведет на генерала внешний вид зоны. Дело в том, что местный главврач – старый еще земский доктор – был большим любителем цветов. Сидеть ему еще предстояло долго, и он разбил вокруг стационара и конторы огромный, потрясающе красивый цветник. Возможности у него для этого были: за цветниками ухаживали два опытных садовника, которых он держал в слабкоманде. А семенами его снабжал я. Цветы я любил со всей силой нормального человека, по моей просьбе мама высылала мне целые посылки с семенами цветов.

На клумбах, тщательно окаймленных острыми уголками кирпича, цвели турецкая гвоздика и настурция, примулы и бегонии, пышные георгины и кудрявые астры... И очень много было пахучих цветов: резеды, табака, маттиолы... Вечером цветы пахли с такой пронзительной силой воспоминаний, что иногда останавливалось дыхание... Этот цветник был гордостью лагпункта, самый последний шакал не осмеливался сорвать цветок. Жалко было. Да и с доктором в лагере никто никогда не ссорится.

Тимофеев действительно к нам прибыл. Я всесторонне обдумал, куда мне спрятаться, чтобы он меня не увидел. Вдруг увидит, узнает, ну зачем я ему буду доставлять удовольствие? Его у него и так хватает. Забравшись в чулан КВЧ, куда сваливали старые лозунги, призывающие «честным трудом растопить свой срок», я в маленькое незастекленное окошко смотрел, как с вахты выплыла длинная колонна начальства. Впереди величественно и не спеша переступал короткими ногами Тимофеев. Солнце ликовало и переливалось на его ши-

роченных золотых погонах. За ним строго по званиям, по должностям – шли полковники и подполковники, майоры и капитаны, старшие лейтенанты и просто лейтенанты и даже младшие лейтенанты... И все – госбезопасности! Генерал-майор госбезопасности, и капитан госбезопасности, и даже заключающий шествие старший надзиратель Еремчук – и тот был сержантом госбезопасности. Сколько же генералов, офицеров, рядовых и штатских пекутся о безопасности нашего государства?!!

Я видел, как наше начальство первым делом повело генерала к стационару, к цветнику... И тут произошло что-то совершенно дикое, непонятное, происходившее как бы во сне... Все от меня происходило так далеко, что я ничего не слышал, я мог только видеть – как в немом кинематографе, когда на экране происходит нечто непонятное, еще не объясненное титром. Тимофеев остановился у самой большой и красивой клумбы, простер руку и поманил пальцем. К нему подскочил начальник нашего лагпункта. И выслушав, сейчас же позвал к себе Еремчука. Еремчук кинулся в сторону. Тимофеев и сопровождающие его лица двинулись дальше, к конторе. А старший надзиратель через несколько минут прибежал назад в сопровождении десятка людей: дневальных, конторских, еще каких-то «придурков». Все они были с лопатами, и все они немедленно начали уничтожать цветник. Они вырубали огромные кипы георгинов, с корнем выбрасывали примулы и резеду, растапывали маттиолу, раскидывали по мерзкой, оскверненной земле тщательно отобранные и уложенные уголки кирпича...

Я ничего не понимал. Смотреть на эту разрушительную, бессмысленную работу было страшно. Через десять-пятнадцать минут на месте цветника был обезображенный, грязный пустырь. Еремчук, который сам работал с ээками, разогнулся, вытер пот со лба и удовлетворенно осмотрел свое дело. Потом он отпустил свою сборную команду, еще раз пихнул ногой сломанный, но еще сидящий в земле георгин и побежал. Докладывать.

Тимофеев к цветнику не вернулся. Он знал, что его приказания выполняются. И больше я его не увидел. Генерал со своей свитой, не заходя в бараки и другие помещения, вышел из зоны. И кортеж двинулся на катище. Начальство любит бывать

на катищах. Аккуратно укатанные по сортиментам, с побеленными торцами высятся огромные этажи штабелей круглого леса. Ни в чем, как в этих красавцах-штабелях, так не сказывается мысль Маркса об обезличенности окончательного продукта труда. Вот лежит этот лес, и ничто в нем не только не кричит – не говорит, не шепчет о том, как были сюда доставлены люди, которые этот лес пилили, как они ходили в заснеженную тайгу, как ворочали дрынами хлысты, когда кряжевали их на сортименты, как грузили, разгружали, укатывали... И если начальство и нуждается в каком-то чувстве оправдания (что маловероятно), то им способны давать это чувство бесконечные насыпи железных дорог, зеленеющие откосы каналов, многоэтажье Ангарска, Воркуты и Норильска, громадина Московского университета – да мало ли есть прекрасного, что раньше именовалось «объектами», «подразделениями», «хозяйствами», «почтовыми ящиками»...

А слова, которые генерал Тимофеев сказал у лагерного цветника, были всего-навсего раскавыченной цитатой. Он повторил слова Сталина о том, что «тюрьма не должна напоминать санаторий»... Кстати, совершенно правильные слова, против которых невозможно что-либо возразить. Тимофеев вовремя напомнил о них нашим маленьким начальникам. На другой день надзиратели ходили по баракам и обрывали у любителей домашнего уюта бумажные кружева на нарах, выкидывали цветы, сорванные в лесу и доцветающие в жестяной банке, срывали с подушек, набитых стружками, домашние наволочки с вышитыми цветочками.

А я, когда мне передали слова Тимофеева, испытал какое-то, странное чувство. Как и все, я знал, что мы живем под Сталиным, и если наши жизни имели видимый конец, то жизнь Сталина была бесконечна, она – почти как вселенная – не имела ни начала, ни конца. Но вот так – как это сделал генерал Тимофеев: вещественно, непосредственно – Сталин редко напоминал о себе. А сейчас он снова прилез мне в голову. С внезапно обрушившейся на меня тоской я думал, что фора в возрасте мало что значит, что Сталин переживет меня, а значит, все они – от генерала Тимофеева до сержанта Еремчука – все они меня переживут. Я не знал, что буду испытывать всего лишь через каких-нибудь восемь месяцев...

О, этот март пятьдесят третьего! За это время нас из старой зоны перевели в новую, которая строилась почти два года. Лагпункт был перспективный, и новая зона строилась на много тысяч эков, на многие годы. Забор зоны делали из крупномерной деловой сосны, из тысяч бревен, вкопанных глубоко в землю, тесно прижатых друг к другу. Через четыре месяца мы этот забор растаскивали трелевочными тракторами и жгли на огромных кострах: лагерь спешно переоборудовался в поселок для вольнонаемных лесорубов...

Но тогда мы этого не знали, и тоскливо было жить в новой просторной зоне, в новых сырых, необжитых бараках. В кабинке нашей жил счетовод продстола Костя Шульга, о котором я уже рассказывал. Радиотрансляционную линию в новую зону еще не провели, и я лишился моего удовольствия: сидеть ночью в пустой конторе и обрабатывать рабочие наряды под бормотание и музыкальное журчание самодельного репродуктора. Но Костя меня очень почитал, а связисты получали сухой паек, который Костя выписывал, и свиную тушенку любили больше склизкой и тухлой трески. Поэтому первого марта они протянули отдельную линию и протянули провода в контору, в кабинку, где мы жили, и в санчасть – ведь связисты были заключенными и отлично знали, кого надо кнать...

Слушайте! Помните ли вы эту паузу в радиопередачах третьего марта?! Эту невероятно, невероятно затянувшуюся паузу, после которой не было еще сказано ни одного слова – только музыка... Только эта чудесная, эта изумительная, эта необыкновенная музыка!!! Без единого слова, сменяя друг друга, Бах и Чайковский, Моцарт и Бетховен изливали на нас всю похоронную грусть, на какую только были способны. Для меня эта траурная музыка звучала как ода «К радости». Один из них! Кто? Неужели? Господи, неужели он?!!

И чем длиннее была эта невероятная музыкальная пауза, эта длинная увертюра к неизвестному, тем больше я укреплялся в уверенности: Он! Наверняка Он! И наконец-то знакомый, скорбный и торжествующий (наконец-то есть возможность пустить в ход этот знаменитый тембр, этот низкий, бархатный тон!) голос Левитана: «Говорит Москва! Работают все ра-

диостанции Советского Союза...» Передавалось первое правительственное сообщение, первый бюллетень...

Я уж не помню, после этого ли бюллетеня или после второго, в общем после того, в котором было сказано: «чейнстокское дыхание» – мы кинулись в санчасть. Мы – это Костя Шульга, нормировщик Потапов, еще два человека конторских – потребовали от нашего главврача Бориса Петровича, чтобы он собрал консилиум и – на основании переданных в бюллетене сведений – сообщил нам, на что мы можем надеяться...

В консилиуме, кроме главврача, принимали участие второй врач – бывший военный хирург Павловский и фельдшер – рыжий деревенский фельдшер Ворожбин. Они совещались в кабинете главврача нестерпимо долго – минут сорок. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, и я не мог унять этот идиотский, не зависящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась, оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало все понятно еще до того, как он сказал: «Ребята! Никакой надежды!!!»

И на шею мне бросился Потапов – сдержанный и молчаливый Потапов, кадровый офицер, разведчик, бывший капитан, еще не забывший свои многочисленные ордена...

И весь последующий день (или дни – не помню...) мы сидели у репродуктора и слушали музыку – чудную, божественную музыку, самую лучшую музыку на свете. А пятого вечером солдат из охраны за десять банок тушенки и еще сотню рублей принес Косте Шульге бутылку водки. Мы зашли с Костей за недостроенную баню, разлили по приготовленным банкам водку, и я сказал:

– Пей, Костя! Это и есть наша свобода!

...Я освободился лишь через два с лишним года. Костя и того дольше. Но все равно – и эти два года я жил с наступившим чувством свободы. Сталин – кончился. И генерал-майор государственной безопасности Тимофеев – тоже. Не имело значения, жив ли физически этот малорослый генерал из кузьминских иллюстраций. Этот генерал кончился, а время других еще тогда не настало...

«ПОЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ»

ОТЕЦ

Читатели русских газет и журналов начала нашего века на всю жизнь, наверное, запомнили назойливо вбиваемое в голову название «Крем Казими-метаморфоза». На каждой последней странице большинства газет и журналов – от «Вестника Европы» до «Сатрикона» – среди объявлений и реклам обязательно бросались в глаза эти слова над изображением бассейна, в котором резвились полуобнаженные одалискообразные женщины и мужчина, лицо которого было аккуратно разделено пополам. Одна половина блистала свежестью и чистотой, другая – от множества веснушек – напоминала кукушечье яйцо. Это была реклама крема против веснушек, «единственного крема, удаляющего все веснушки на лице и руках» – как гордо сообщало рекламное объявление. То ли крем действительно был «единственным», то ли реклама его была мастерски поставлена, но крем «Казими-метаморфоза» был чрезвычайно популярен в предреволюционной России.

И мало кто знал, что эти тщательно упакованные нарядные баночки с необыкновенно приятным своеобразным запахом изготавливаются в незаметном городке Могилевской губернии – Горы-Горки. Разорившийся польский шляхтич Казимир Падзерский, вынужденный стать провизором в маленьком и грязном белорусском городке, благодаря изобретению крема против веснушек составил себе большое состояние и приобрел громкую славу среди ревнителей белой, не тронутой загаром и веснушками кожи. Он построил в Горках прекрасный большой каменный дом, украсил его фламандскими картинами, редким фарфором, музейными коврами – он имел вкус к вещам, этот шляхтич, – и с удоволь-

ствием отдался страсти к приобретению. Позади дома он разбил огромный сад с редкими сортами фруктовых деревьев, цветниками, фонтанами, золочеными клетками, в которых разгуливали павлины.

Все эти блага добывали для него люди, работавшие в длинной полуподвальной мастерской во дворе. На рекламных объявлениях была нарисована «Парфюмерная фабрика Казими-метаморфоза» – многоэтажная, с длинной, тонкой трубой, из которой шел игривый завиток дыма. Все это было неправдой. В действительности «фабрика» была кустарной мастерской, в которой трудились всего несколько десятков рабочих. Одним из них был мой отец.

У моего старшего брата Соли – хранителя семейных реликвий и фотографий – был старый фотографический снимок: на нем все, кто делали крем «Казими-метаморфоза». В центре, в окружении мастеров и наиболее приближенных рабочих, сидит сам Казимир Падзерский. Поодаль от него сидят и стоят рабочие победней. Среди них – отец: молодой, с закрученными усами, с ясными, живыми глазами за стеклами очков, в грубом брезентовом фартуке. Место его на фотографии довольно точно определяло и его положение на фабрике Падзерского. Он был рабочий-упаковщик и не допускался к тщательно охраняемому хозяином таинству смешения масел и духов, из которых составлялся знаменитый крем. Тем не менее запахом этого крема отец был пропитан до того, что даже пасхальные омовения и праздничная одежда не могли его приглушить. И этот запах неизменно связан с моими воспоминаниями об отце.

Отца я любил страстно. Он был моей первой привязанностью, к нему я питал какое-то особое чувство, сродни обожанию. Каждый вечер был праздником – потому что приходил с работы отец, и жизнь сразу становилась интересной, вкусной, еще вкуснее, чем днем. Он приходил усталый после долгого рабочего дня, но для детей всегда находил улыбку, ласковое слово, а то и конфету, пропахшую запахами крема против веснушек. Его легко было уговорить помочь изготовить лодку из сосновой коры, сыграть на флейте, просто походить с нами по тихой вечерней улице.

Моя пылкая и восторженная любовь к отцу вызывала удивление и снисходительные насмешки взрослых. Бывало, мать, уходя в гости, отведет меня к знакомым и уговорится с отцом,

что тот зайдет за мной. Я сижу в большой комнате, среди знакомых и полужнакомых людей и чутко вслушиваюсь в наступающий вечер, в шаги на улице. И злые взрослые догадываются, почему я молчалив и насторожен. Какой-нибудь шутник обращается ко мне и с удивлением в голосе говорит: «А ты все отца ждешь, мальчик? Не жди – его повесили на перегорелой соломинке». Я знаю, что это шутка, что моего большого и доброго отца нельзя повесить на соломинке, да еще перегорелой. Но чем больше я думаю об этом, тем страшнее делается от одной только мысли, что отца могут повесить – пускай хоть на соломинке. Я начинаю плакать. Ни громкий смех, ни шутки окружающих не могут меня успокоить. Я плачу все громче и громче, в какой-то тайной уверенности, что чем сильнее я буду плакать, тем скорее увижу отца. Слезы заливают мое лицо, праздничную курточку, и, когда мои рыдания, несмотря на все попытки хозяев успокоить меня, становятся совершенно безудержными, я слышу, как открывается дверь на кухне, слышу знакомое покашливание, шарканье вытираемых ног и бегу навстречу отцу. Меся окутывает родной и милый запах крема «Казими-метаморфоза», я прижимаюсь к отцовским коленям и плачу еще сильнее – на этот раз от счастья, что он здесь, со мною, и навсегда со мною будет. Натруженные, заскорузлые руки отца гладят меня нежно и осторожно, он приподнимает меня, я слышу его укоризненный голос, но уже не в состоянии отвечать – я выбился из сил от плача. Спокойная, счастливая сонливость одолевает меня, и я уже чувствую, как отец бережно уносит меня домой.

Среди моих многочисленных родственников отец имел не слишком завидную репутацию человека, не хватающего звезд с неба, не умеющего найти легкую работу, обеспечить семье сытую и безбедную жизнь. Таково было отношение еврейской мещанской среды к человеку, не пытавшемуся стать ни маклером, ни ремесленником, избравшему для себя профессию рабочего.

Думая об отце – а я о нем сейчас очень часто и много думаю, – я прихожу к заключению, что чертой, наиболее ярко в нем выраженной, было чувство долга. Жизнь представлялась ему несложной, но требующей упорства и преодоления. И он преодолевал ее молча, не отступая от правил, раз и навсегда принятых. Каждое дело, за которое он брался, он делал медленно, но основательно, не ловча, не хитря. Он был хорошим

семьянином, очень любил своих детей и считал себя вечным их должником. Чтобы заработать на хлеб детям, обуть и одеть их, он готов был копать канавы, чистить улицы, выполнять самую черную работу. И он ее делал – без жалоб, молчаливо, как должное.

По всем понятиям среды, из которой он вышел, отец мог сделать себе «карьеру» при советской власти. Его родные были крупными работниками, с первых же лет революции отец шел всегда за большевиками. И тем не менее он не стал «комиссаром», не носил кожаной куртки, не выступал на митингах – он остался таким же рабочим, как и раньше. В начале тридцатых годов отец работал на фабрике в Москве и был одним из самых уважаемых людей в своем коллективе, избравшем его в Московский Совет. Но и здесь он оставался таким же тихим и скромным человеком, незаметно делающим свое дело. В самые трудные годы я никогда не слышал от него ни одной жалобы. Году в тридцать втором – тридцать третьем, когда в Москве было очень голодно, я прибежал в родительский дом (я жил тогда уже отдельно) и немного удивлялся, что родители мои похудели, побледнели, что мои любимые блюда, которыми неизменно угощала мама, стали более постными, не такими вкусными, как прежде. И только тогда, когда получил кучу каких-то пайков и принес их маме, я узнал, что много месяцев родители мои не видели мяса, не ели ничего, кроме скудного рядового пайка тех трудных лет.

Как и большинство людей, отец мой был честолюбив. Но это честолюбие проявлялось в одном – в гордости за своих детей. Он никогда не вмешивался в нашу жизнь, предоставлял нам полную самостоятельность и в то же время страстно, с любовью и гордостью следил за нашими первыми жизненными успехами. Журнал с моей статьей, газету, в которой говорилось о работе другого сына, Соли, он всегда клал на видное место и сердился на маму, когда она их убирала во время уборки. Он любил выпить, мой отец, и тогда в кругу родных и друзей любимой темой наивного хвастовства были его дети.

Думая сейчас об отце, поражаюсь душевному оупению, овладевшему мной позже, в самостоятельной жизни. Как я любил отца в детстве и как отвратительно равнодушно и снисходительно обращался с ним, став взрослым. До сих пор не понимаю природы этого!

Как все в нашем роду, отец был радикально настроен. В юности, до женитьбы, увлекался политикой, был членом «Бунда», а уже очень немолодым, обремененным большой семьей, в 1924 году, в «ленинский призыв» вступил в партию. Почему? Не корысти ради. Всю жизнь до самой смерти он был рабочим и никогда не пытался изменить свой социальный и общественный статус.

Отец, при всем своем вольнодумстве, был по натуре глубоко верующим человеком. Марксизм-ленинизм ему заменил не созревший в нем иудаизм. Был он не очень грамотным, книги читал редко, но в свободные часы брал «Азбуку коммунизма» Бухарина и Преображенского и читал – медленно, про себя, шевеля губами. Часто он не понимал какой-нибудь марксистско-теологический термин и робко обращался к Соле или ко мне за разъяснениями. И мы быстро, как надоевшему школьнику, объясняли, что и как, торопясь в ячейку, в театр, на диспут. И убежали, слыша за спиной тихое, будто виноватое покашливание отца.

С партией он расстался так же спокойно и обдуманно, как вступил в нее. Он был уверен, что вступает в партию, добывающую равенства для всех людей. Свое положение в обществе он считал нормальным, но не мог понять, почему утверждение справедливости должно сопровождаться жестокостью. Он был убежден, что рабочий класс делает революцию, чтобы жить лучше и справедливее. Жизнь неумолимо выбивала из него эту убежденность. И когда его начали таскать по райкомам – ибо уже два сына сидели в тюрьме, а два любимых племянника были расстреляны, – он наивно и убежденно говорил людям за казенным зеленым сукном:

– Мы же не для того делали революцию, чтобы наших детей сажали в тюрьмы.

И однажды вынул из кармана бережно хранимый им, как икона, партбилет, положил на стол и ушел.

А когда его любимый сын в отчаянье воскликнул: «Как ты мог так спокойно расстаться с партией? Вспомни, с каким трудом тебя принимали из-за того, что ты был бундовцем!» – отец со своим обычным спокойствием ответил:

– Сынок! Так я же из этой партии вышел! А вступал тогда в другую, совсем другую...

Ну, да, он так думал, так думали тогда многие, стараясь обмануть себя, защитить свою совесть, свое сознание.

Теперь, когда кости моего отца лежат в давно уже исчезнувшей могиле маленького татарского городка Билярска, я вспоминаю его часто с грустью и жалостью. Ну зачем этот добрый и очень хороший человек оказался втянутым в дьявольский хоровод? Мы – его дети – понятно еще почему, мы согрешили, мы за это расплатились, а он-то зачем?!

Он писал мне в лагерь каждую неделю. Каждую неделю я получал большой, вырванный из конторской книги лист бумаги, исписанный крупными буквами, не очень грамотно. Отец сообщал мне о всех домашних новостях, о моей дочери, о том, что меня все и всегда любят и ждут. По-прежнему в его письмах чувствовалась неиссякаемая и огромная любовь к своим детям, гордость за них. Когда Соля стал профессором и вышла его книга, отец мне обстоятельно описал и толщину книги и цвет обложки, и цену, и то, что на титуле перед фамилией автора стоит звание – профессор. С прежней аккуратностью он продолжал мне писать и в военные годы, из эвакуации. Последнее письмо было написано за десять дней до его смерти. Смертельно больной, он настойчиво и упорно уговаривал меня жить, цепляться за жизнь, выжить, чтобы увидеть лучшее, испытать счастье, которого он добивался для своих детей – мой добрый, мой хороший отец!

МАТЬ

Мать моя была человеком с совершенно другой духовной конституцией, нежели мой отец. Насколько ясны, прямолинейны и открыты были душевные помыслы и поступки отца – настолько же сложна и глубоко спрятана от людей была духовная жизнь матери. С тех пор, как себя помню, я всегда все понимал в своем отце: сердится он или радуется, чему он радуется, на что сердит, как относится к людям, явлениям, событиям – все мне было понятно. И с этих же лет меня никогда не оставляло ощущение того, что я не в силах проникнуть в душевную жизнь матери, разгадать ее мысли, ее желания.

Бывало, в субботние кануны я остаюсь один с мамой дома. Отец с двумя моими старшими братьями Солей и Ильей ушел

в синагогу. В доме уже все чисто, прибрано, грядет царица-суббота. Я сижу в углу, притихший, и меня удивляет и обижает, что мама, обычно такая ко мне внимательная, не замечает меня. Она сосредоточенно и медленно – совсем не так, как всегда – достает из комода праздничную скатерть, накрахмаленную, с пышной бахромой, стелет ее на стол, вставляет в подсвечники новые свечи, зажигает и останавливается в задумчивости перед ними. Я смотрю на маму внимательно, стараюсь понять: что в ее лице появилось нового, совершенно для меня незнакомого? Она стоит перед горящими свечами в праздничном платье с кружевной наколкой на голове, ее молодое лицо напряжено от какой-то внутренней духовной работы; лоб ее то собирается в морщины, то разглаживается; губы шепчут что-то мне непонятное. Она разводит руками над пламенем свечей, закрывает глаза, и на скатерть, оставляя большие мокрые пятна, падают слезы. Мама беззвучно плачет, и мое детское сердце трепещет от волнения. Так же трепещет оно и сейчас, когда я вспоминаю эти вечера.

О чем она плачет, моя мама, чего она просит? Счастья ли своим детям, удачи ли в жизни – какой смысл вкладывает она в эти слова? Мне это было неизвестно в детстве, мне это неизвестно и сейчас, когда приходит в конце жизнь моей мамы и когда я сам уже близок к этому рубежу.

Мама была очень умна. С молчаливым уважением это признавали все, кто ее знал, даже в девичьи ее годы. Всегда к ней ходили за советами по самым разным жизненным вопросам женщины даже с отдаленных улиц. Считалось, что она обладает какими-то редкими способностями, знает секреты лечения некоторых болезней.

Не только незаурядный природный ум, но и большие духовные запросы выделяли мою мать среди женщин ее круга. Мама много читала, еврейскую литературу она знала в совершенстве, великолепно владела литературным еврейским языком, и ее письма служили образцом эпистолярного искусства. Она не только знала огромное количество еврейских народных песен, но и сама сочиняла песни. И, уже будучи взрослым человеком, я с удивлением узнал, что некоторые песни, услышанные в детстве от посторонних людей, сочинены мамой еще до ее замужества. Любовь к книгам, к песням она стремилась привить и нам, своим детям. В длинные зимние вечера, когда мы вынуждены были сидеть дома (у нас не

было обуви), мать подолгу читала нам Шолом-Алейхема, Перца, Менделе Мойхем-Сфорима – читала она по-еврейски необыкновенно выразительно и красиво, выделяя не только мысль писателя, но и поэзию, красоту его слова.

К концу своей жизни мама была больной, раздраженной, страдающей от того, что жизнь сложилась неудачно, даже трагически. Трагедия состояла не только в том, что дети ее разбрелись, что их сажали в тюрьмы, держали в лагерях, что старость оказалась одинокой и тоскливой, рядом была только внучка, не желавшая считаться ни с интересами, ни с привычками старой бабушки. Нет, трагедия маминой жизни была глубже. Все духовные интересы ее были тесно связаны с умирающим миром еврейской культуры. Только этот мир был ей понятен и ею любим. В своих песнях мама воспевала поэзию еврейских праздников, религиозных традиций, национального единения евреев. «Нас угнетают, мы странны и смешны другим людям и народам, но зато мы цари, когда объединяемся, мы богаты, потому что у нас есть Песах, наши молитвы, наши песни» – так говорится в одной из маминых песен.

Замужество и последние долгие годы забот о семье, детях, их болезни, нужды, необходимость защитить их от голода почти лишили ее той духовной жизни, которой она жила прежде. Тщетно пыталась она привить нам любовь к тому, что было любимо ею. Бездна была ее борьба с могучей машиной жизни, и маме пришлось увидеть, как все, что ей было дорого и близко, становилось ненужным, чужим и смешным для того круга людей, в котором она жила и вне которого у нее ничего не было.

Пыталась ли она сопротивляться этой чужой для нее жизни, чужим и враждебным ее натуре интересам? Нет, конечно. И не потому, что у нее не хватало характера, воли – она не могла бороться со своими собственными детьми. Ее, конечно, огорчали и наша мальчишеская агрессивность, и благоприобретенная демагогия, просто хамство. Она нас оттаптывала. Но с таким тактом, с такой деликатностью, какую мы с трудом воспринимали.

Году, наверное, в двадцать первом, когда из исчезнувших продуктов ощутилее всего стало отсутствие соли, мама, что случалось с ней редко, вслух высказала недовольство. Я уже тогда был напичкан бесчисленными прочитанными мною аги-

тационными брошюрками, считал себя якобинцем, народо-вольцем, большевиком и еще неизвестно кем и объяснил маме, что она обывательница и не в состоянии оценить величие времени и необходимость терпеть такую малость, как отсутствие какой-то соли. Мама, как всегда, смолчала. Было время обеда, мама варила мое любимое блюдо – гороховый суп.

Я съел первую ложку супа и остановился: он был совершенно несоленый. Я поднял глаза на маму. Она смотрела на меня спокойно, без всяких признаков гнева или раздражения. Я поперхнулся и под пристальным взглядом мамы с трудом съел любимый суп, оказавшийся без соли невкусным и даже противным варевом. Больше я по поводу необходимого для революции терпения не высказывался и на завтра ел нормальный подсоленный суп.

Нет, мама не могла сопротивляться этой чужой жизни, которая отнимала у нее – шаг за шагом, день за днем, год за годом – все, что было главным в ее духовной и душевной жизни. Она лишилась не только того еврейского мира, какой она любила, которому была предана. Она лишилась большего – Бога. Еврейского Бога в чью справедливость, величие и всемогущество она непоколебимо верила. В нашей безбожной семье она была единственной, кто убежденно проявлял свое еврейство. Мама не ходила уже в синагогу, не соблюдала строгих правил, не считалась с запретом смешивать молочное и мясное, вероятно, примирилась с невозможностью отличать кошерное от трефного.

Но в пятницу она зажигала в своем углу на подоконнике две тоненькие свечки, а за столом, угощая нас всеми лакомствами тогдашней обильной Москвы, никогда не притрагивалась ни к аппетитному розовому салу, ни к разнообразным и вкуснейшим колбасам, инкрустированным шпиком. И, при всей грубости, свойственной времени и молодости, мы никогда не затрагивали эту сторону маминой жизни и не отпускали шуток, хоть бы и безвинных. Но я однажды пошутил, и сейчас содрогаюсь, вспоминая мамино лицо и ее глаза.

Это было в конце сорок пятого года, когда нам, отбывшим сроки и продолжающим работать в лагере, вдруг выдали паспорта и отпустили в месячный отпуск. Конечно, ни в Москву, ни еще в 272 города мне являться не следовало, но кто мог меня удержать от свидания с мамой и дочерью! Я приехал богатый: весь сухой паек на месяц отпуска мой приятель

главбух выписал мне американской тушенкой, бразильской ветчиной, яичным порошком.

Как изменилась мама за эти семь лет! Высохшая и внутренне потухшая, одна – без мужа, умершего в эвакуации, без благополучных и здоровых сыновей. Старший – на фронте съездил по морде начальнику, схлопотал штрафбат, уцелел благодаря тяжелому ранению и до сих пор не вылезает из тыловых лазаретов; средний – вот он сидит вроде как бы и свободный после семи лет... И все же мама смотрит на меня так, будто видит мое будущее: ссылку, новый арест, срок, лагерь... И младшенький, которому она выплакала замену восьми лет лагерей на три, отбыл свой маленький срок, отвоевался, был многожды ранен и служит до сих пор в оккупационных войсках.

В порыве собственной радости я не умел пробить пелену печали и тоски, окутавшую маму. И видя, как она кладет себе на тарелку кусок ветчины, с шуточным испугом, как-то ска- зал ей:

– Мама! А как же Бог? Ты ведь еврейка!

Мама не принимает моей шутки. Она подымает ко мне навсегда заплаканные, потускневшие глаза.

– Какой он мне Бог, такая я ему еврейка...

И я замолкаю. И тогда, и много позже, вспоминая маму, я думал о том, что мы отняли у нее Бога.

Наши родители совершенно не вмешивались в нашу жизнь, проявляя в этом не столько «нейтралитет», сколько величайшую деликатность. А у нас не хватало ни ума, ни такта того, чтобы понять, как оскорбительно было для родителей, и прежде всего для матери, что мы не считали нужным не только советоваться с ней, а даже сообщать о самых важных событиях в нашей жизни. О женитьбе своих сыновей она узнавала от посторонних, с невестками знакомилась, когда должны были появиться внуки и требовалась ее помощь и участие. И, от природы замкнутая, мать становилась еще менее общительной, все чаще неодобрительно сжимала губы, все больше холодной рассудочности появлялось в ее словах и поведении. Так постепенно угасал огонь ее жизни, она превращалась в вечно всем недовольную, постоянно опасующуюся за завтрашний день старуху. Единственно близким, неразрывно с ней связанным человеком оставалась моя дочь, Наташа, и на ее долю выпала вся мера старческого раздраже-

ния и ропота, которая в любой нормальной семье равномерно распределяется между всеми ее членами. Но ей же, Наташе, почти полностью досталась и вся мамина любовь. Любовь, запасы которой у нее были огромны, неисчерпаемы.

БРАТЬЯ – ДРУЗЬЯ

Из всех моих троюродных братьев, собственно говоря, моим сверстником был только Нема – несколько угрюмый, медлительный мальчуган, необычайно рассудительный. Старшие его братья – Леком и Миша – были ровесниками моих старших братьев. Но именно они, и прежде всего Леком, были наиболее любимыми моими друзьями всех лет, проведенных в Горках. Миша – веселый, красивый, похожий на свою мать – ухитрялся скрывать свою сильную склонность к озорству под личиной вполне благонаправленного мальчика.

С удивлением думаю, что редко вспоминаю Мишу. А ведь кроме того, что был он веселый, озорной и изобретательный мальчишка, он был творец. Художник. Настоящий. Всего лишь бережно тронув ножом кусок корня или сосновой коры, он вдруг вытаскивал на свет нежную обезьяну, задумчивого котенка или – это было просто страшно! – всем нам знакомое лицо дяди Гили, а то и самого Тони Падзерского. Мы были слепые, а он – зрячий. Его глаза смотрели на мир с любопытством. Иногда он останавливал нашу компанию и показывал на небо, на облака, на опушку леса, на спрятавшееся внизу озерцо.

– Смотрите, смотрите же, да что вы, черти, не видите! – не говорил даже, а кричал он.

Но мы были черти и ничего не видели. Видел только он. И рисовал. На листках из школьной тетради, картонке, куске газеты. Это были очень странные картины, вызывавшие у нас град насмешек. Пейзаж не пейзаж, человек не человек, что-то на что-то похожее и не похожее ни на что. Миша на нас не обижался, смеялся вместе с нами и дарил нам свои «мазилки», как он их называл, не требуя ни внимания, ни сохранности.

Еще не кончив школу, он поспешил в Минск, в этот белорусский Париж будущих Фальков, Шагалов, Аксельродов. Поступил в какую-то художественную школу, обрел учителя, захлабывался от счастья настоящего и предвкушения будущего. Миша погиб в первый день войны.

Старший, Леком, не был сколько-нибудь в состоянии скрывать свой характер. Да в этом и не было нужды, настолько характер этот был целен и обаятелен. К Лекому я всегда питал нежную любовь, это чувство до сих пор сохранилось во мне. В этом маленьком крепыше бросалась в глаза необыкновенная ясность в понимании того, чего он хочет, правдивость, чувство юмора, кристальная честность. Именно он был заводилой и инициатором всех наших шалостей и нарушений всех родительских запретов. Но когда мы попадались, он не вилял, наоборот, смело брал вину на себя, выгораживая других, и жесткий отцовский ремень гулял по нему больше, чем по ком бы то ни было.

Необыкновенно приятно было в обществе Лекома – всегда, в любой обстановке. Он никогда не терялся, здравый смысл помогал ему найти быстрое и правильное решение – касалось ли это школьных дел или отступления с боем из чужого сада, в котором нас заметил бдительный хозяин. В любом месте, при любых обстоятельствах он достигал главного – люди верили ему. После окончания горецкого сельскохозяйственного института Леком стал землемером. Я его много лет не видал, но часто вспоминал о нем, и мне очень легко представить, как Леком ездит по селам, спорит с колхозниками и пьет с ними водку и как легко им с этим ясным и справедливым человеком.

В годы заключения и во время войны я ничего не знал о нем и его братьях. Потом мне написали, что Леком в армии, Миша погиб под Минском, тетя Гита, Вера и Сарра, успевшие выйти замуж и обзавестись детьми, убиты немцами в Горках. В 1944 году в лагере я услышал спор двух моих товарищей о том, существует ли странное имя Элиокум. Они мне показали газету, давшую основание для их спора, ожесточенного и бесполового, какой бывает только у арестантов. В газете сообщалось, что Указом Президиума Верховного Совета за форсирование Днепра награждается орденом Суворова III степени полковник Элиокум Израилевич Шапиро. Это был Леком. И мне не потребовалось больших усилий, чтобы представить себе

мирного землемера в роли командира полка. В характере Лекома совершенно отсутствовали черты того, что называется «военная косточка». И в то же время он в высшей степени обладал качествами, необходимыми для того, чтобы вести людей в бой: он был прост, добр, справедлив и не щадил себя.

Я много и с радостью вспоминал о Лекоме, когда думал о своем детстве. К этой радости примешивалась беспочвенная вера в то, что я еще увижу его, буду с ним. Не очень-то я верил, что меня освободят, но если будет воля, то будет и ней и Леком. И это очень украшало мои, естественные для зэка, мечтания о воле. Конечно, это будет другой Леком, но еще лучше, еще надежней, еще добрей.

Леком, бесстрашный, суровый командир полка, награжденный орденом Суворова III степени № 1, человек мужественный и веселый, никогда не унывающий, всегда смеющийся, никого на свете не боящийся... Как мне с ним было хорошо и радостно в детстве! Может быть, и другая, закатная жизнь тоже будет освещена им?

Нет, все было иначе. Новый, встреченный мною на воле Леком – плотный и коренастый, громогласный и веселый, донашивавший свою командирскую шинель, – внешне был похож на того, прежнего, из детства.

Он ее донашивал, как донашивал лучшую часть своей жизни – войну. Да, да, для Лекома годы войны были лучшими годами жизни. На войне тихий провинциальный землемер превратился в военачальника, там он обрел абсолютную уверенность в себе, в своей правоте, в своей силе. Там он обрел братство, скрепленное кровью, смертельной опасностью. Он был воином и гордился иконостасом орденов на широкой груди. Он переписывался со многими однополчанами, со слезами в голосе читал нам их письма. Когда кто-нибудь из них приезжал в Москву, то останавливался обязательно у него, и Леком в честь боевого друга устраивал обильное застолье. Частенько бывал там и я. Каждый встреченный им человек в потрепанной фронтовой шинели, с боевым орденом был ему другом.

Леком был воином. Но прежде всего он был евреем. Его еврейство бродило в нем, кипело, выплескивалось гордостью, горем и ненавистью. Не дай Бог сказать при нем про еврея что-нибудь уничижительное. Леком не просто отвечал словами из солдатского лексикона, он лез в драку. Однажды в

трамвае кто-то громко сказал обычное: евреи-де всю войну провели в Ташкенте, по-настоящему воевавшего еврея никто не видел... Леком схватил зачуханного антисемита за ворот, расстегнул шинель и начал тыкать его мордой в свою бронированную орденами грудь. Затем дернул за сигнальную веревочку, остановил трамвай и выкинул окровавленного оппонента на улицу.

Но, рассказывая про этот случай, Леком хмуро уточнял:

– А трамвай молчал. Понимаешь, все молчали. Ни слова не сказали, как будто их это не касалось...

Молчали не только в трамвае. Молчали все. Тогдашние куныевы и шафаревичи громко выкрикивали свое в журналах и газетах – от «Крокодила» до «Коммуниста». А молчали, как казалось Лекому, все. Общительный по натуре, Леком состоял в разных воинских обществах, ассоциациях, комитетах. Но его все реже и реже приглашали на заседания. И не всегда звали даже на торжественные собрания фронтовиков. Однажды, закусив губу, Леком показал мне какой-то журнал. На развороте были нарисованы ордена Суворова всех степеней и указаны фамилии обладателей орденов № 1. Все, кроме одного: орден Суворова III степени не имел владельца...

Умный и добрый Леком не понимал, что происходит. И в его душе неутоленно и страшно жило то, что он не в состоянии был понять и простить.

Наше детство, проведенное в городе с многонациональным населением, не знало антисемитизма. Наши русские друзья были для нас не лучше и не хуже одноплеменников. Самыми близкими друзьями Лекома были братья Селезневые – Борис и Глеб, дети известного в городе врача, состоятельного человека. Несмотря на разный социальный уровень, старший из братьев, Борис, был не только близким другом Лекома, но и своим человеком в доме. Он пропадал в семье друга, возился с его сестренками, тетя Гита чинила ему рубашку и штаны, пострадавшие после налета на чужой сад.

Однажды, когда мы были вдвоем, Леком задал мне вопрос – не сказал, а рывкнул:

– Ты, ты все понимаешь! А можешь мне объяснить про Бориса, можешь? Ах, ты не знаешь, так я тебе расскажу. В Горки я приехал, как только вышел из госпиталя, война кончалась уже без меня, наши воевали в самой Германии. Горки были сожжены; все дома, весь город, кроме Слободы и Заречья. От

нашего дома даже сруба не осталось. Но в городе были люди, знавшие меня, пережившие немцев. Они мне рассказали, как выводили из нашего дома на расстрел маму, Веру, Сарру с детьми. И знаешь, кто их выводил, кто их гнал на кладбище и, наверное, убивал? Борис! Да, они с Глебом были у немцев не просто полициями, а в зондер-команде. Понимаешь, маму, которая его кормила, девочек – Верочку и Сарру, он их знал почти с рождения, его отец их лечил...

Леком посмотрел на меня страшными трезвыми глазами, уронил голову на стол и зарыдал, громко всхлипывая. Никогда, никогда прежде не видел я плачущего Лекома.

– Ну, ты мне можешь объяснить, почему? Конечно, никаких следов я не нашел, братья бежали с немцами. Я писал друзьям на разные фронты, описывал внешность – найдите, найдите их мне! И сам, как сумасшедший, искал – нет, не нашел, не нашел! А как жить после этого, как жить, а?

Но разве месть могла бы успокоить Лекома, ответить на главный, мучивший его вопрос: почему? Вообще, может месть успокоить? Ни тогда, когда мне Леком рассказывал про Бориса, ни много после, до самого его отъезда, мне не пришлось поведать ему историю одного моего солагерника из Кушмангорта в Усольяге.

Он был из Гомеля, конец войны застал его в чине капитана наших оккупационных войск в Германии. Об участии оставшихся в Гомеле матери и сестренки он уже знал. Хорошо знакомый парень с их улицы, ставший полицаем, доложил своему начальству, что на вверенном ему участке живет семья красного командира – мать и сестра. Они были русскими, но, очевидно, понадобились для круглого счета: учет есть даже у убийц. Полицию приказали их убить. И он сделал это. Но судьба этого мелкого палача сложилась неудачно: видно, не успел скрыться, его схватили.

Первая волна сталинского гнева, когда подручных немецких оккупантов вешали и стреляли, прошла. Сталин даже отменил ненадолго смертную казнь, заменив ее двадцатью пятью годами: то ли расчувствовался – то ли прикинул, что так надо. Но суды над неудачливыми доброхотами из зондеркоманд еще продолжались. В Гомеле открытым показателем судом судили и знакомого моего солагерника. И даже уведомили об этом капитана, прислали приглашение на суд. Начальство разрешило съездить.

А далее я передаю, почти стенографически, его рассказ:

– Когда мне предложили ехать, я решение принял сразу же. Командование меня любило, я со многими сжился, сдружился, грустно было расставаться – я-то знал, что сюда не вернусь, навсегда расстаемся.

В Гомеле для суда отвели большой зал, народу полно, меня посадили в первом ряду – как раз напротив. Суд тянулся целых два дня – со всеми онёрами: прокурор, защитник, свидетели. Подсудимый ведет себя так, будто он из их команды, – свободно, без страха. А какой у него может быть страх? Расстрела нет, в лагере перекантуется, снова шестеркой станет.

Ему говорят: расскажите подробно о вашем преступлении.

Судья на меня смотрит вопросительно, дескать, может я не хочу, тяжело? Я киваю: давай, давай, пусть говорит! Он и рассказывает. О том, как доложил своему начальству про семью красного командира, как ему сказали – пойди убей, как пошел убивать. Дом-то знакомый, не раз бывал там. Пришел, мать мою сразу пристрелил, а сестренка убежала в другую комнату, спряталась под кроватью, он ее вытащил, застрелил и пошел докладывать – приказание исполнено.

Рассказывает размеренно, без страха – так, изредка, одним взглядом зыркнет на меня и все. А я сижу спокойный-спокойный. Что мне волноваться, когда у меня все решено. Вот кончается эта заседательская муть, прокурор его заклеил и потребовал полную меру – двадцать пять лет, защитник что-то провакал, что, дескать, подсудимого принуждали, и ему дают последнее слово. Но оно и действительно было последним.

Разливается, паскуда, благодарит советскую власть, что жизнь ему оставляет, он-де еще искупит и прочее такое. А у меня мой трофейный вальтер уже в кармане взведен и с предохранителя снят. Когда он все это выложил, я встаю, подхожу к нему – два шага всего – и говорю:

– Это тебя советская власть помиловала. А я – не помилю!

Вынимаю вальтер и двумя пулями наповал убиваю гада. Ну, суд как взвизгнул и зачем-то убежал в другую комнату. А зал ахнул, но молчит, все молчат, никто с места не встает. Я иду по проходу мимо них, мне никто слова не говорит. Вышел, а напротив клуба ларек. Подхожу, беру стакан водки – надо ж напоследок, не скоро еще выпью, потом иду в милицию. А там уже знают, вскочили все, всполошились. А я им:

– Чего вскочили-то, чего испугались? Вот вам мой пистолет, чего еще – ремень, что ли, снимать?

Ну, вот. Восьмерку дали, я и обжаловать не стал. Хотя, говорят, командование писало, хлопотало. Ну, у них выхлопочешь! Вот, пятый год тяну, скоро освобожусь, по амнистии скинули.

– И теперь спокоен ты? И не жалко, что жизнь свою сломал?

– Не жалко. Раньше не мог вспомнить про мать да сестренку. Вспомню, заскрежещу зубами, вот-вот забудьсь в падучей. А теперь могу, вспоминаю. А жизнь – что? Жизнь – штука наживная.

Не рассказал я эту историю Лекому. И не жалею. И вовсе не уверен, что стало бы ему легче, если бы нашел Бориса и убил его.

А может быть, я думаю так потому, что я – другой, не такой, как раньше. Тогда, полвека назад, был бы я готов убить убийц Оксаны, Израиля, всех моих близких? Да, был готов, хотел этого!

А сейчас мне безразлично, что живы, наверное, Лобанов, Гадай, другие палачи и мучители – большие и маленькие. И не получил я никакого удовлетворения, когда из дел в архиве КГБ узнал, что комиссар государственной безопасности Бельский, мучивший, пытавший мать моей первой жены Софью Александровну и ее мужа Ивана Михайловича, сам был замучен и расстрелян своими дружками-помощниками. Нет, не возлюбил я никого из них и не простил, и не прощу никогда. Но месть меня не насыщает, не радует, не нужна мне она. И меня тошнит от отвращения и горя, когда по телевизору вижу трупы, трупы, трупы людей, убитых из мести, злобы, зависти – всего, что сопутствует якобы «самоопределению народов», «национальному самосознанию» и прочей лабуде для дураков. Чума на оба ваши дома!

С тоской думаю: неужели, чтобы утратить жажду мщения, выработать в себе отвращение к убийству, надобно стать – подобно мне – стариком, прошедшим весь крестный путь испытаний, какие могли выпасть на долю человека нашей эпохи?

Но хватит отступлений. Буду продолжать свой рассказ о Лекоме. «Печален будет мой рассказ....»

Противоестественное, античеловеческое выдавливало Лекома из страны, где он родился, любил и страдал, где покоят-

ся кости его предков и близких, из страны, которую защищал, не жалея жизни ни своей, ни своих товарищей. Леком – с его общительностью, интересом к людям – днями, а то и неделями не выходил из дома. Недобрый, а то и просто насмешливый взгляд, брошенный на него, на его донельзя еврейское лицо, приводил его в бешенство. Его спасало только то, что рядом была Сима. Сима – первая девушка, за которой он стал ухаживать подростком; Сима, ставшая его женой, народившая ему сыновей; тихая, улыбчивая Сима – наверное, основной стержень его жизни. С ней в любом столкновении со злом можно было все вынести, обрести покой. Это я как раз понимаю.

Уехать бы Лекому в Израиль! В тот, тогда еще малоизвестный, официально ненавидимый Израиль, до которого можно было дотянуться, добраться. Там он нашел бы почти все, что ему, человеку, сражавшемуся с фашистами, было дорого: удовлетворение национальной гордости, фронтовое братство, уважение государства и общества. Но его прагматичным сыновьям плевать было на свое и не свое еврейство, их больше привлекали возможности богатой и необъятной Америки. И они уехали туда, оставив родителям возможность «воссоединиться». Мне тяжело вспоминать последние дни московской жизни Лекома, несвойственную ему растерянность, прощание с родными, друзьями, с улицами и домами, с городом...

Он и Сима уехали в Италию, в Рим, тогдашний «отстойник» для евреев, желавших ехать в Штаты. И, как все, жили там более полугодом в каком-то жалком жилище, на скудное пособие. Впрочем, как писал мне Леком из Рима, многие и на это пособие да еще случайные заработки ухитрялись объездить чуть ли не всю Италию. Леком и Сима никуда не выезжали из Рима, вернее, из Остии, где находилось еврейское преамериканское чистилище. Он довольно часто писал мне оттуда. Писал, что обычное их занятие – ходить на берег, садиться на скамейку и смотреть на море – за ним, казалось, находилось все, что они оставили, и все, к чему должны пристать.

Потом Леком надолго замолчал. И однажды – непривычно краткое письмо. Леком писал, что Сима умерла, он ее похоронил и уезжает в Америку.

Весной 1992 года я был в Италии и впервые в Риме. Мой друг Алеша Букалов, работавший в Риме корреспондентом,

показывал мне великий город, разделяя мою радость, мое удивление, мой восторг.

– Алеша! Поедем в Остию, – сказал я ему.

– Поедем. А то ты и не знаешь, что Рим стоит у моря.

Остия. Провинциальная окраина столицы. Апрель, до сезона еще далеко. Пустые гостиницы, заколоченные киоски, скучные, почти «хрущобные» дома. Наверное, в них и жили еврейские пилигримы.

На берегу – скамейки, почти у самого моря – плоского, серого, спокойного, малоинтересного. Вот на такой, а может и на этой самой, скамейке сидели Леком и Сима, взявшись за руки, молча – им ничего не надо было говорить друг другу.

– Алеша, а ты не знаешь, где здесь еврейское кладбище?

– Знаю, но оно очень большое, там и римлян хоронят. И это далеко отсюда.

Так я и не побывал на могиле Симы, как больше никогда не побывали там ни ее муж, ни сыновья. Да и сохранилась ли она, эта бедная, беспризорная, всеми забытая могила?...

А сам Леком начал писать письма из Калифорнии. Сначала восхищался роскошью природы, пальмами, парками, комфортом, встречей с сыновьями и внуками. Потом письма становились все более редкими, все менее восторженными. И стала в них прорываться тоска одинокого, ненужного, потерявшего все самое дорогое человека. Там никому не была интересна его воинская слава, воспоминания о войне, о ее трагизме, героизме. Там всем было безразлично его еврейство, не с кем было вспомнить маму, братьев, сестер, друзей, вспомнить Симу. Не с кем.

Леком держался, но письма его становились все более отчаянными, и он просил у меня за это прощения, но ведь, кроме меня, не было у него на свете человека, с которым он мог бы поговорить. Что это было – ностальгия? В словаре сказано: «Ностальгия – тоска по родине, по родному дому». Нет, в этом было что-то более сложное, трагичное, это был конец жизни человека, загнанного в пальмово-парковый тупик.

Леком замолчал внезапно. И лишь года через два какой-то знакомый его сыновей, с которым я случайно встретился, с удивлением выслушал мой вопрос и спокойно ответил:

– Так он же умер. Не помню точно, когда, но давно, кажется, давно...

Ах, Леком! Не такую жизнь, не такую смерть заслужил ты у Бога и у людей.

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

МНЕ НЕ ВЕЗЛО СО СТАЛИНЫМ

Надеюсь, я выразился достаточно скромно, потому что такому количеству людей не везло с товарищем Сталиным, что мне выделяться в этой толпе было бы нескромно и неверно. Но как-то получилось так, что большие куски моей жизни, и даже, может быть, наиболее значительные, были связаны именно с личностью товарища Сталина. Не с тем далеким «небожителем», а вот с этим реальным человеком небольшого роста, в длинной красноармейской шинели, сухоруким и рябым, которого я встречал множество раз, не думая о том, чем эти случайные встречи могут обернуться. В юности я дружил с его сыном Яшей, человеком, по-моему, необыкновенной чистоты, скромности и благородства, который терпеть не мог отца, как и тот его. Может быть, поэтому или по какой другой причине, ну не нравился мне Иосиф Виссарионович. Только я не знал, что это может обернуться ко мне неожиданной и малоприятной стороной.

Первая встреча состоялась, когда я учился в 17-й школе имени Бухарина Замоскворецкого района на Большой Ордынке, и это были прелестные годы.

* * *

Нам было по 16 лет, и мы осуществили нашу детскую мечту – организовали комсомольскую ячейку. Вначале было это весело, пока в нашем 9-м классе не появился новый ученик – маленького роста, хромоватый Володя Климушев. Нас он потряс тем, что в графе «национальность» у него было указано –

зырянин. О зырянах я знал только слова Фета о том, что к зырянам Тютчев не придет. После близкого знакомства с ответственным секретарем нашей ячейки понял: да, не придет Тютчев к зырянам. (Я не знал, что кое-кого к зырянам приведут. Я провел 8 лет в стране, которую населяли зыряне, они же «комики».) Но все это было потом, а тогда новый секретарь ячейки начал вносить новые порядки в нашу жизнь. Прежде всего все члены ячейки получили разные задания. Я получил, по моему, наиболее безобидное: мне вменялась работа с беспартийной молодежью. Важнейшим элементом работы являлось толкование этой молодежи какой-то лабуды, с которой выступил товарищ Сталин не то в конце 24-го, не то в начале 25-го года. Из всей беспартийной молодежи я занимался только одним ее представителем. Лида Комарова была красивой и, я бы сказал, изысканной девочкой. Из всей многочисленной беспартийной молодежи я уделял ей больше всего внимания, невзирая на ее мелкобуржуазное происхождение. Она была дочерью бухгалтера на заводе Михельсона, жила недалеко от этого завода, и каждый вечер, когда кончались наши школьные комсомольские посиделки, я ее провожал до дома. И надо было так случиться, что однажды наши девочки увидели, как я, провожая ее, у дома поцеловал ей руку.

Активный комсомолец, член бюро ячейки, ответственный за работу с беспартийной молодежью, вместо того чтобы объяснять, что говорил по какому-то поводу товарищ Сталин, он вместо этого пошло ухаживал и, как мелкобуржуазной даме (это подчеркивалось), поцеловал ей руку. И расплата наступила очень скоро. Володя Климушев немедленно собрал по этому поводу закрытое бюро нашей комсомольской ячейки. Надо сказать, что наш новый ответственный секретарь ввел в практику непрерывные закрытые собрания. Наиболее врезалось мне в память шестичасовое собрание – да-да, шестичасовое, – на котором обсуждались итоги расширенного пленума исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. Но то собрание. А тут бюро ячейки по персональному вопросу. Вот так я впервые получил персональное дело. И грех мой был настолько велик, что Володя Климушев расстарался и добыл на наше заседание специального представителя районного комитета комсомола. Это был парень, по моему, токарь, а может, и слесарь, завода Бромлея, теперешнего «Крас-

ного пролетария». Он первый раз попал в школьную ячейку и не знал, как себя вести, был мрачен и смотрел на жизнь и на нас с отвращением. И не мог понять, в чем дело. Он долго выслушивал выступления почти всех членов бюро, которые меня клеймили. Не знаю, чем бы все кончилось, но этот парень с Бромлея прервал нашу дискуссию и, обращаясь ко мне, сказал: «Слушай, ты что, с ней не по-комсомольски поступил?» Он обвел широко свой живот, и наши девочки стыдливо потупились. «Да нет, – сказал я отчаянно, – нет. Я ей руку поцеловал». Он был удивлен несколько, а потом подумал и спросил: «Это что, твоя деваха?» Я не был уверен в точности моего ответа, но мне некуда было деваться, и я храбро ответил: «Да, это моя деваха». И тогда удивленный представитель райкома сказал: «Слушайте, вы что, опупели? Это что, мы будем постановлять, куда комсомолец может свою деваху целовать, а куда ее не целовать? А?» Первая моя виртуальная встреча с товарищем Сталиным и то, что я забыл объяснить Лиде Комаровой, что он там говорил, прошла в общем для меня довольно безболезненно.

* * *

Спустя пять лет я стал редактором издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». И здесь-то я вновь встретился с товарищем Сталиным.

Мы издавали разные книги. Среди них была одна рукопись, которая лежала уже несколько лет. Ее автор, старый большевик Овсянников, на протяжении десяти, а может, и двадцати лет составлял словарь современного литературного языка. Он исходил из самых благородных побуждений. Дело в том, что ни газеты, ни тем более многочисленные издания, предназначенные для молодежи, читать было невозможно. То есть читать можно было, но понимать, про что это написано и что хотят сказать авторы, было очень трудно. И это касалось прежде всего речей товарища Сталина. Вождь пролетариата, прежде чем стал вождем, как известно, учился в духовной семинарии. И уж что-то, а Священное писание знал прекрасно. Мало того, мерекал что-то даже в античной или полуантичной литературе. И вообще надо сказать, что при всем своем людоедстве Сталин был, в общем, довольно культурным тираном, он был книголюб, много читал. Его наследники читать не люби-

ли, а он читал, читал и высказывался. И это отражалось в его многочисленных выступлениях. И бедный Овсянников в своей книге, которую он назвал «Словарь современной литературной фразеологии», популярно объяснял, что хотел сказать товарищ Сталин, когда говорил «валаамова ослица», что такое «первородный грех», а что такое «козел отпущения», и чем был плох поцелуй Иуды, и кто такой Иуда. Одним словом, этот словарь оказался, как было сказано в решении МКК – Московской контрольной комиссии, сознательно засорен религиозной фразеологией.

Расплата наступила довольно быстро. Меня вызвали к партследователю. Эта шмакодявка, не знаю, чему училась и училась ли чему-нибудь, но к литературе она вообще никакого отношения не имела. Сужу по тому, что, когда ей встретилась в книге фраза «слова товарища Сталина стали крылатой фразой», она на меня посмотрела и сказала: «Вы что хотите сказать, что товарищ Сталин пускал слова на ветер?» И было подсчитано, что в этом словаре Библия цитируется 17 раз, Евангелие – 12 раз, а товарищ Сталин – только 68 раз. Итак, вопрос был ясен. «Словарь современной литературной фразеологии», на котором гордо значилось «редактор Л.Разгон», вместо того, чтобы пропагандировать великое учение Ленина – Сталина пропагандировал опиум для народа, за что онный редактор должен быть подвергнут строгому наказанию. И привет!

Я обругал ее и был вызван к председателю МКК товарищу Губельману (это старший брат Емельяна Ярославского), и товарищ Губельман сказал мне: «Ой, товарищ Разгон, вы ругаете своего следователя и даже, говорят, по-французски». В итоге постановлением МКК в мое партийное дело был записан строгий выговор.

А ведь я не был тогда совсем беспомощным, зеленым редактором. Я предпринял какие-то действия, которые должны были меня обезопасить. И притом на самом высоком уровне. Мне нужен был авторитетный рецензент. Литературоведов, специалистов по фразеологии, лингвистике было тогда в Москве еще достаточно – их не всех выслали. Мне нужен был самый главный лингвист. И я его нашел и мало того – уговорил. Был это блаженной памяти Иван Капитонович Луппол – академик, директор Института мировой литературы, автор мно-

жества трудов. Я уговорил его прочитать рукопись. И получил отзыв, что словарь этот выдающееся произведение. Там было сказано множество превосходных слов, и эта бумажка казалась мне непробиваемым щитом.

Но на том памятном заседании московской партколлегии одним из самых моих отвратительных впечатлений было поведение академика Луппола. Он извивался, как угорь, говорил, что написал эту рецензию легкомысленно, пожалев молодого редактора, в чем глубоко раскаивается. Он выплакал себе пощадку. Ему только «поставили на вид».

Я вспоминаю его без всякого озлобления, с глубоким сочувствием. Ему – как и другим подобным – ничего не помогло. Его расстреляли в те самые годы...

* * *

Моя следующая встреча с товарищем Сталиным произошла довольно быстро – года через полтора. За это время забылись приключения, связанные с литературным словарем, меня перестали снисходительно похлопывать по плечу коллеги, перестали надо мной зубоскалить. И я уже втянулся в обычную и довольно рутинную жизнь редактора большого комсомольского издательства. И тут вновь – опять товарищ Сталин! В нашем издательстве выходил толстый, очень красиво оформленный сборник, который назывался «О Ленине, о комсомоле». Это был сборник статей Ленина и главным образом товарища Сталина, посвященный так называемым молодежным вопросам.

Книга вышла двумя изданиями. Ни к первому изданию, ни ко второму я не имел никакого отношения. Но редактор первого и второго изданий был в отпуске, сукин сын. И случилось так, что меня вызвал директор издательства и сказал: «Вот, Разгон, значит, давай берись, будешь редактором третьего издания». Мои жалкие потуги вывернуться ни к чему не привели. На этот раз я работал квалифицированнее, чем в первую неудачную мою книжную встречу с товарищем Сталиным. Я внимательно прочел поабзацно, построчно первое издание и сравнил его с версткой третьего, потом сделал то же самое со вторым изданием. Я обнаружил, что ни в первом, ни во втором издании нет одной речи товарища Сталина. Она не была адресована специально молодежи, но это была знаменитая

речь в Большом театре после смерти Ленина, знаете: «Клянемся тебе, товарищ Ленин!» и т.д., и т.п. Так вот, этой речи не было. Правда, была отдельная, выпущенная партийным издательством брошюрка. И я ее внимательно проштудировал и сравнил с версткой третьего издания – все было в порядке. И все-таки меня что-то тревожило. Я вспомнил желтые глаза товарища Сталина и его рябое лицо и понял, что нет, что-то мне еще надо сделать. И сделал. Послал верстку третьего издания в учреждение, которое называлось «Секретариат товарища Сталина». Я послал эту верстку с коротенькой бумажкой о том, что, мол, направляю вам верстку и прошу дать указания, есть ли возражения против ее публикации. И получил ответ секретаря товарища Сталина: «Не возражаем против публикации выступлений товарища Сталина в том виде, в каком это есть в верстке третьего издания». И третье издание вышло. И тут настала расплата.

Мне уже не раз объясняли, что множество неприятностей, которые происходят с редакторами, случаются из-за переводчиков. И на этот раз вышло именно так. Книжку стал переводить на татарский язык какой-то татарин. Он начал сравнивать не с первым, не со вторым, не с третьим и даже не с первым партиздатовским изданием, он стал сравнивать речь товарища Сталина с текстом, опубликованным в газете «Правда», то есть сделал то, что вообще редакторам запрещалось, поскольку периодика – вещь непостоянная. Он стал сравнивать с газетой и быстро установил, что в исторической речи товарища Сталина «Клянемся тебе, товарищ Ленин!» отсутствует целый абзац – 12 строчек. И эти строчки не о чем-нибудь, а о необходимости смычки рабочих и крестьян. Обрадованный татарин немедленно направил все свои историко-литературные изыскания в Центральный Комитет нашей родной партии. Реакция была немедленной.

На этот раз, когда я был вызван на партколлегию в Центральную Контрольную Комиссию, я уже был во всеоружии и захватил толстую пачку книг: три издания этой книги, отдельное партиздатовское издание и, наконец, то, что я считал непробиваемым щитом, – бумажку из секретариата товарища Сталина. Мне казалось, что этого всего вполне достаточно для того, чтобы я выглядел идейным и зрелым редактором издательства «Молодая гвардия». О, как я ошибался! На следующий

день, после того как я вышел, шатаясь, из здания ЦКК, я получил бумажку, в которой за всеми грифами, подписями и даже печатями удостоверилось, что я «за притупление партийной бдительности» – так было написано – получил строгий выговор с предупреждением. Это был максимум партийного наказания перед тем, как человека просто вышибали из партии.

Я был очень молод, опыт отношений с властями, а особенно с товарищем Сталиным, у меня был ничтожный, и мне было очень горько. Я долго думал: что же я могу сделать? И придумал. Я пошел на прием не к кому-нибудь, а к председателю партколлегии ЦКК товарищу Емельяну Ярославскому. Это был очень известный человек, с огромным партийным авторитетом. Я пришел к Ярославскому и говорю ему: «Товарищ Ярославский, я не пришел жаловаться на несправедливость наказания, которое я понес. Я наверняка его заслужил. Но ведь в Уставе партии сказано, что наказание дается в целях воспитания коммуниста. То есть мне должны объяснить. Так вот, товарищ Ярославский, – сказал я проникновенным голосом, – я не знаю, за что наказан. И прошу только об одном, чтобы вы мне объяснили, за что я получил такое строжайшее наказание. Вот, – и тут я начал выкладывать, – первое, второе, вот третье издание, вот отдельное партиздатовское издание, в котором нет этого абзаца. Вот бумажка, – я потряс ею, – из секретариата товарища Сталина. Может быть, товарищ Сталин сам это вычеркнул? – сказал я с жалкой надеждой. – Вы же знаете, есть инструкция, запрещающая сверять с периодикой, и я поэтому с газетой не сверял. Уж вы-то это знаете». Я изложил это все и сказал: «А теперь, пожалуйста, товарищ Ярославский, объясните мне, в чем моя вина? – Ярославский молчал как пень. – Ну так объясните мне». Ни фига он мне не объяснил. И тут дернул меня черт сказать: «Господи, если бы просто наказание или строгий выговор, а ведь строгий выговор с предупреждением». Ярославский встрепенулся: «А у вас что, с собой это постановление?» – «Конечно, со мной». – «Дайте его мне сюда». Я отдал ему роковую бумажку. Он внимательно посмотрел и зачеркнул слова «строгий с предупреждением». И сказал: «Ну вот и все – получили вы обыкновенный выговор. Знаете, товарищ Разгон, вы журналист, а у журналиста выговоров должно быть как репья на собаке. Без этого не бывает. Мы же с вами оба журналисты и должны это понимать».

Новая встреча с товарищем Сталиным состоялась через большой срок, тянувшийся годами, потому что это были годы внутренней тюрьмы, Бутырской тюрьмы, этапа, лагерей. Это был, кажется, 1948 год. К этому времени вдруг по совершенно непонятным причинам был издан указ, по которому отбывшим свои сроки заключенным выдавали паспорта и разрешали уезжать. Конечно, уезжать не в Москву, не в Ленинград и даже не в свой родной город, если только это не какая-нибудь Чухлома. А в один из тех 220 городов, которые не были запрещены для проживания бывшего зека. Странно, но город сравнительно большой, известный и к тому же краевой, в котором прописывали бывшего заключенного, – был Ставрополь. Меня там взяли на работу. Я работал преданно, старался изо всех сил. Я только не рассчитывал, что и тут мне придется снова встретиться с товарищем Сталиным, но эта встреча произошла.

Ставропольский край был избран тогда для того, чтобы осуществить пресловутый сталинский план преобразования природы. В этот план входило множество разных мероприятий: проведение каких-то каналов, устройство лесозащитных полос, внедрение таких культур, о которых местные землеробы понятия не имели. А кроме того, надо было вести активную пропаганду этого сталинского плана преобразования природы. Передвижную выставку, составленную из разных плакатов, было поручено изготовить методическому кабинету, то есть мне. И я старался.

Что было центральным в этой выставке? Конечно, портрет товарища Сталина, ибо это был все-таки сталинский план преобразования природы. Почти все репродукции, а их было до черта на этих семи или восьми больших плакатах, были напечатаны почти прилично. А вот портрет, главный портрет товарища Сталина, оказался типографским браком. Он был размазан, и в таком виде явно его нельзя было выпускать. Это неприятность, потому что речь шла о том, чтобы заново перепечатать весь лист. Местной типографии этого вовсе не хотелось. И поэтому было создано нечто вроде производственного совещания из директора кабинета, директора типографии и некоторых сотрудников, включая и автора плака-

та, то есть меня. Каждый высказывал свою точку зрения на причины постигшей нас неудачи. И когда очередь дошла до меня, я сказал, что, по-моему, такая петрушка (я часто употреблял это выражение), такая петрушка получилась потому, что слишком подпилили клише и оно размазалось. Ну, в общем, типографию заставили перепечатать. А результатом этого обсуждения были совершенно неожиданные последствия. Сначала была арестована моя жена по ее старым делам, а затем был арестован и я по обвинению в том, что нанес оскорбление одному из руководителей партии и правительства (фамилию Сталина не разрешалось упоминать), назвав его Петрушкой. Это не так смешно. Я за эту петрушку получил 10 лет лагерей и 5 лет ссылки в результате «открытого и справедливого суда», который был учинен надо мной после того, как я отсидел положенные месяцы во внутренней тюрьме.

* * *

Потом был длинный месячный этап в лагерь, из Георгиевска в Соликамск. Первые недели и месяцы, проведенные на общих работах. Потом естественное продолжение жизни зека, когда он начинает, если он что-то умеет, делать лагерную карьеру. Я ее сделал. Стал нормировщиком. Это была жизнь, которая меня устраивала, потому что ее главным преимуществом было то, что я работал по ночам в конторе один. Я нормировал рабочие наряды, и мне никто не мешал. Утром шел к начальнику лагерного пункта капитану Намятову, и давал ему подписывать рабочие наряды, и слышал от него равнодушную грубость, и умиротворенно шел спать почти до вечера, во всяком случае до обеда. Это была приемлемая жизнь. И мне никогда в течение этих лет не приходило в голову мысли о Сталине. Он был далек, не ближе, чем Александр Македонский или еще кто-нибудь из этой сволочной породы. И все-таки, как ни странно, мне пришлось с ним столкнуться.

Было так. Я пронормировал рабочие наряды, они были, в общем, все совершенно одинаковые, в них – типичная туфта, которая была запланирована бригадиром и нормировщиком. И хотя по-прежнему действовал строгий приказ, что кормить заключенных надо по труду, тем не менее каждый, выходящий на работу, делал ли он что-нибудь, ничего ли не делал или по-

что ничего не делал, свою пайку получал. Свою пайку, свою баланду, свое премблюдо в виде кусочка дополнительного хлеба. Для этого надо было иметь не меньше, чем 105 процентов выполнения плана. И он имел всегда. Да и сам начальник наш, капитан Намятов, привык уже к тому, что есть такой стандарт – 105–110 процентов выполнения. И подписывал их, не сопровождая никакими комментариями. Но в то летнее утро, когда я закончил работу и принес ему наряды, он их просмотрел и глубоко задумался, насколько можно употреблять это выражение по отношению к нему, и сказал: «А вот скажи, Разгон, почему это у нас такая низкая производительность труда? Почему это в леспромхозах, а мне тут показывали, как работают леспромхозы, производительность труда чуть ли не в два раза выше? Почему они работают хорошо, а мы работаем так плохо?» Я подумал и сказал: «Капитан, так ведь леспромхоз – это последовательное социалистическое предприятие». – «Да ну. А мы?» – «А мы нет». – «То есть как нет?» – «Мы не социалистическое предприятие, – сказал я гордо. – Разве вы когда-нибудь слышали такое выражение – “социалистическая тюрьма”, “социалистический лагерь”?» Он посмотрел на меня и только поблел. «А что же мы такое?» – «А так, – сказал я, рассыпая блески эрудиции. – Еще Маркс, Ленин и Сталин говорили, что при социализме и даже при коммунизме останутся еще пережитки капитализма в виде таких принудительных учреждений вроде тюрьмы». Он думал минут пять, потом очнулся: «То есть я, выходит, работаю в пережитке?» – «В пережитке», – подтвердил я. «В пережитке капитализма?» – «Да, – подтвердил я не очень уверенно. – В пережитке капитализма». Наша теоретическая дискуссия закончилась довольно банально. Он вызвал надзирателя и сказал: «Надеть наручники, отвести в карцер и пусть думает». И обращаясь ко мне: «И вы там думайте, как вы смели сказать такое про Ленина и Сталина». Ну, меня отвели в карцер. Это было не очень страшно, потому что было лето, тепло. С меня сняли наручники, я остался один в этом крошечном деревянном гробу, впереди у меня был целый день, потому что я знал, что меня, вероятно, закатают на пару суток, и начал думать. Про кого? Я начал думать про товарища Сталина.

И вдруг я понял, что я живу в соревновании не с Александром Македонским, не с Наполеоном, а с совершенно реальным моим современником – Сталиным. И кому-нибудь из нас надо кого-то пережить. Или Сталин переживет меня, или я должен был пережить Сталина. Я подсчитывал, и мне казалось, что больших шансов пережить Сталина у меня нет – у меня только начинался новый десятилетний срок и впереди еще маячила ссылка. Сколько же мне будет тогда лет? Но с другой стороны, я начинал подсчитывать: Сталин-то еще старше. И потом я утешал себя: ведь он живет менее здоровой жизнью, чем я. Я знал, что он много и жирно ест, много пьет, что в распорядок его жизни входят бессонные ночи и кутежи. Это был очень нездоровый образ жизни по сравнению с тем, как тихо, скромно жил я на свою пайку, на свою ложку каши, на свою миску баланды. И я, сидя по ночам в конторе, не так уж и много растрачивал физических сил. Иногда я даже подсчитывал, сколько же холестерина потребляет Сталин, опасного холестерина, который образует бляшки на сосудах, и как в этом отношении здорово везет мне. Никакого холестерина и никаких бляшек, а кроме того, я ведь моложе. В этих размышлениях у меня прошел весь день.

Вечером за мной пришел надзиратель и сказал: «Пошли к начальнику». Капитан Намятов явно был помятый, неотдохнувший; как мне потом сказали, он весь день названивал в управление лагеря в Соликамск начальнику политотдела, выясняя, кто прав в той теоретической дискуссии, которую он вел с заключенным Разгоном. Мрачно посмотрев на меня, сказал: «Вот что, Разгон, запомните: Ленин и Сталин никогда не писали для заключенных. К вам это отношения не имеет. Возьмите наряды и идите». И на этом закончился еще один эпизод моих отношений со Сталиным. Эпизод, но не конец. А ведь конец был.

Однажды из черных раструбов громкоговорителей в зоне послышалась музыка, и это были не комсомольские песни, это была инструментальная музыка, нечто давно забытое. И не просто музыка, это был струнный квартет Чайковского. Почему вдруг струнный квартет Чайковского с его бесконечной печалью? Не просто вопрос, а радостный вопрос – почему? –

он сразу возник. И не только у меня одного, а и у моих товарищей по 58-й статье, да и просто у всех остальных, наверное. И тут же было высказано предположение: наверное, кто-то сдох. Но кто? И вдруг мне в голову пришла мысль: «Слушайте, а вдруг он, а?» Не может быть. Он же вечный. Я жил в соревновании с ним, с его жизнью, я знал точно, что, пока Сталин жив, я буду сидеть всегда, до конца жизни. Я живу в соревновании с ним. И не имеет уже никакого значения, что он старше, а я моложе, потому что я смертен, и смерть меня поджидает чуть ли не каждый день в лесосеке, под топором оголтелого уголовника или еще как-нибудь, но я смертен. А Сталин бессмертен. И тут мы услышали скорбный, величавый, незабываемый голос Юрия Левитана: «Говорят все радиостанции Советского Союза». Я не могу точно вспомнить дату, наверное, это было 3 марта, когда был опубликован первый бюллетень, в котором с некоторыми предосторожностями, оговорками советскому народу сообщалось об огромном несчастье: шли какие-то медицинские слова... Мы кинулись в санчасть и потребовали, чтобы все собрались, устроили консилиум и сказали, на что нам надеяться и можем ли мы надеяться. Они вышли и вернулись, и у каждого сияла на лице улыбка, не оставляющая никаких сомнений... И старый профессор из Харькова, выйдя, как ему и положено было, вперед, сказал: «Ребята, ему пиздец». И мы стали целоваться друг с другом. И хотя то, что доктор назвал, наступило через день – 5 марта, но это был день, который я ощутил как мой личный главный день рождения. Я в эту русскую рулетку выиграл, я переиграл его – Сталина.

Я знал, что я в этот день никогда трезвым не буду. И я не был трезвым ни 5 марта 1953 года, ни 5 марта 1954 года в лагере, ни 5 марта 1955 года – накануне моей почти уже свободы. И уже никогда не был трезвым в этот день, с тех пор как вернулся в Москву.

И вот мне скоро будет 91 год. Я пишу это в середине января. Совсем скоро будет февраль, а февраль коротенький, а потом всего каких-нибудь 3–4 дня и наступит 5 марта 1999 года. И я, если буду к тому времени жив, а я, естественно, все же надеюсь на это, я опять буду пьяным. На этом мои личные счета со Сталиным окончены.

ЖИЛ КАК ДУМАЛ

Женя Гнедин был счастливым человеком: он всегда жил, как думал. Не забудем, что счастье его было очень трудным, и для этого потребовались огромные душевные, да и физические силы. Общеизвестно циничное выражение о том, что «русский человек умен поротой задницей». Каждый из нас, прошедший через тюрьмы и лагеря, мог убедиться как быстро люди умнеют, когда осмысление приходит под влиянием внешнего и весьма грубого воздействия на эту часть тела, впрочем, как и на любые другие...

Уж как его «учили», как в него вбивали новые представления об обществе, в котором он жил и для которого жил! Он об этом немного написал в своей книге, да и я сам увидел страшные следы «вбивания ума» в первый же раз, когда пошел с Женей в лагерную баню. Но это всё было для него совершенно неубедительным. Ведь он не думал, как жил, а жил, как думал. И расставание со многими иллюзиями, которые были содержанием его жизни, было для него процессом долгим и бесконечно мучительным. Я – этому свидетель.

Я знал о Евгении Гнедине задолго до того, как впервые его встретил. Лагерь – это не только место потерь, но и приобретений. Иногда – самых значительных в жизни. В этом смысле не следует «обижаться» на годы, проведенные в «Архипелаге». И среди многих замечательных людей, мне встретившихся, был Александр Сергеевич Лизаревич, сыгравший в моей жизни огромную роль и ставший мне одним из самых близких и дорогих.

В моей памяти он тесно связан с жизнью Евгения Александровича. Александр Сергеевич знал Женю по Одессе. Несмотря на разницу в годах они были в одной компании любителей литературы; у Асы (как я звал Александра Сергеевича) к Жене было какое-то любовное отношение старшего к младшему из одного племени, и Асы мне иногда с какой-то ностальгической нежностью рассказывал об обаятельности Жени, его поэтическом даре, о его блестящих литературных способностях.

... В Москве Асы и Женя уже почти и не встречались. Сначала «почти», а потом и вовсе. Ну, а начало тридцатых годов

уничтожило всякую возможность какого-либо контакта между ними. И, очевидно, в этом была для Асы какая-то боль, он говорил об этом как об очень большой потере. Безнадежной потере.

– Мы с Женей, слава Богу, больше никогда не встретимся...

– Почему слава Богу?

– Потому что встретиться мы можем только здесь. Не приведи Бог!

... Вечер. Александр Сергеевич вошел в барак необычный: очень бледный, с какими-то остановившимися глазами.

– Вы знаете, кого я сейчас встретил в бане, в новом этапе?

– Кого?

– Женю Гнедина. Сейчас я пойду за ним и приведу его сюда.

А вы сбегайте за кипятком. У нас есть еще хлеб?

Я составил себе о Жене Гнедине некое романтическое представление. Но он оказался очень простым, естественным, душевно-контактным и даже веселым. И в его упоминании о пребывании в Сухановке не было ничего драматического. Хотя мы уже были хорошо наслышаны об этой специальной пыточной тюрьме.

Женя Гнедин прибыл в наш лагерь, когда – несмотря на войну, на поток всяких ужесточающих инструкций, – начальству волей-неволей приходилось отдать какую-то часть своей власти нам – «придуркам». Без нас у них не было никакой возможности выполнять производственные задания. А план с наших начальников требовали по-военному – беспощадно.

Женю мы поселили у себя и, конечно, ни одного дня он не был «на общих». Он делал обычную лагерную карьеру: «точковщиком» на лесосеке и катище, бригадиром, десятником, приемщиком леса. Мне пришлось быть его лагерным учителем. Я был тогда бесконвойный, приходил к Жене на лесосеку и учил его немудреным азам лесоповала. А когда он стал бригадиром и десятником, обучал самой важной из лагерных премудростей: заполнению рабочих сведений.

Не буду сейчас рассказывать о технике «туфты». Женя оказался очень способным учеником. Но у него всегда было стремление улучшать все, к чему он имел отношение. Что нельзя туфтить на кубатуре, он понял сразу. Но в рабочих сведениях, которые он заполнял, доходяги из его бригады со-

вершали чудеса трудового героизма: они таскали баланы на руках чуть ли не на километры, прокапывали снежные траншеи глубиной до трех метров, ремонтировали лежневку в местах, где ее никогда не было... Со мной – нормировщиком – он торговался страстно, с темпераментом торговли с одесского Привоза. Когда я убеждал его, что никакие трудовые подвиги его доходяг не прибавят к максимуму, который они все равно получают, ни одного грамма хлеба к пайке и ни одной крупинки сечки к «премблюдю», он, соглашаясь со мной, вздыхал:

– А может быть, они их пожалеют за это, может быть, это скажется на разборе их дел?..

Свою веру в «может быть», в то, что зло – обратимо, Женя терял долго и мучительно. В наших долгих, часто мучительных спорах втроем о том, что произошло, что происходит и произойдет, Женя со страстью, с ожесточением пытался удержаться на своей вере. Он приводил на память цитаты из основоположников, ссылаясь на уроки истории, начиная с времен Ромула и Рема. Александр Сергеевич устало вздыхал:

– Ну, да – вы же с Левого считаете, что вам подменили хороший социализм на плохой и все дело в том, чтобы все вернуть на свои места...

И – как это ни странно сейчас звучит, – особенно трудно было Жене расстаться с образом сурового, но великого и мудрого вождя всех времен и народов... Ну, тут уж мы были беспощадны! К тому же я был крупным специалистом по биографии Сталина, знал о нем множество таких подробностей, каких не знали даже руководящие работники Наркоминдела; и мы с Александром Сергеевичем загоняли Женю в угол без всякой жалости и однажды довели его до того, что он уткнул голову в руки и заплакал... Мне сейчас грустно вспомнить о своей жестокости по отношению к Жене, но даже веротерпимый Александр Сергеевич, добрый и тактичный, оказался тут неуступчивым. И не хотел ждать, когда у Жени пройдет его болезнь, которую он не считал «высокой».

Гораздо приятнее проходили у нас вечера в активированные (по случаю необычайных морозов) дни, посвященные тому, что тогда постоянно жило в нас – поэзии. Когда-то я допытывался у Бориса Слуцкого – никогда не сидевшего, – откуда ему известно, что «разве утетишься в прозе» и что нас на нарах

«качало поэзии море»... Но нас оно действительно не только качало, укачивало, но и утешало, спасало, давало волю и простор духу. Александр Сергеевич и Женя знали бесконечное количество стихов, у меня тогда память тоже была лучше теперешней, и мы читали друг другу стихи по многу часов. Читали, переписывали, удивлялись их действию на нас. Причем иногда самых что ни на есть далеких от нас, от нашей жизни. Например, итальянских стихов Вячеслава Иванова, Блока и Гумилева... А Женя сам писал стихи, но говорил об этом редко, читал еще реже. Была в них подлинная поэзия, и грусть, и – в этом он был совершенно неодолим! – вера в преодоление, в победу духа.

Вообще, когда я вспоминаю Женю – не только там в лагере, но и здесь, на воле, в Москве, – меня всегда приводит в восторг и удивление его удивительное душевное здоровье. В нем не было ничего элитарного, никаких признаков духовного высокомерия, он не спасался – как это делали многие в его положении, – в отъединении от людей, в погружении только в свою собственную душевную жизнь. В Жене Гнедине была неистребимая потребность быть с людьми и среди людей. И это ему было легко, потому что он не только был «валентным», но и испытывал огромный интерес к людям. К самым разным людям, с самыми разными биографиями. Некоторые из них были для него – городского интеллигента – открытиями, и он о них мне рассказывал с горящими глазами.

И еще в нем была неистребимая жажда культуртрегерской деятельности. Уже через несколько месяцев после прибытия на наш лагпункт, он начал устраивать вечера ко всяким памятным датам, писал литературные монтажи, подбирал участников того, что именуется «художественной самодеятельностью»... Когда Женю от нас отправили на 11-й лагпункт, он вместе с другими ставил спектакли, организовывал концерты. Тем более, что в отличие от нашего начальника Заливы, их начальник считал себя покровителем искусства и даже делал некоторые послабления для служителей муз.

Во всем этом присутствовал какой-то органический демократизм, свойственный Жене Гнедину. Его интерес к людям никогда не зависел ни от прежней номенклатуры, ни от высокой эрудиции человека, ему люди были интересны и значительны сами по себе, в своей неповторимости. Гнедин ни

от кого не зависел и никому не покровительствовал. Он являл собой пример человека, которого нельзя было унижить ни каторжным бытом, ни надзирательскими оскорблениями. Я никогда не знал его ДО, но понимал, что он был таким всегда. Через много лет, когда я уже был не в Устьвымлаге, а в Усольлаге, на Усть-Сурмоге, мой новый знакомый Костя Шульга с восторгом рассказывал мне о Евгении Александровиче, с которым он был вместе на лагпункте «Селянка» километрах в полсотни от Усть-Сурмога. Костя Шульга не был интеллигентом, не был даже с 58-й статьей. Он попал в лагерную мясорубку почти в отроческом возрасте да еще по статье 59-3 – бандитизм... Хотя был добрейший малый и никакого отношения к бандитизму не имел. «Селянка» была сельскохозяйственным лагпунктом, куда посылали последних доходяг с тем, чтобы они там или выжили, или же умерли. И с ними Женя щедро делился всем, что имел: вольным и отважным духом, верой в возможность преодоления зла и невозможность уничтожить в человеке чувство собственного достоинства.

Лагерные судьбы нас раскидали на много лет, но когда мы встретились в Москве, я увидел, что он остался таким же, каким я его узнал на первом лагпункте. Он изжил в себе не только иллюзии, но и то, что мало кому удавалось – конформизм. Он не только свободно думал, он и свободно жил. Общение с ним было всегда радостным и наполненным.

Что остается после таких людей, какими были Александр Сергеевич и Женя Гнедин? Книги, статьи? Они и в самой малой доле не отражают их личности. Но у каждого человека, который имел завидную долю знать их, соприкоснуться с ними, работать, разговаривать, у каждого из них остался даже не след, а большая или меньшая часть их духа и души. Это живет в нас и, вероятно, какими-то неисповедимыми способами передается тем, кто около нас и вокруг нас. Эти два человека не были ни великими реформаторами, ни генераторами новых великих идей, но мне кажется, что роль таких людей в том, чтобы люди оставались людьми, гораздо значительнее, нежели других, великих...

ВЫЖИТЬ – ЭТО БЫЛ СПОСОБ ПРОТИВОСТОЯТЬ РЕЖИМУ И РАССКАЗАТЬ ВСЕ

Когда я вернулся из лагеря, у меня было чувство, что я вернулся в другой мир, ничего не имеющий общего с тем, который я оставил 17 лет назад. Это был мир абсолютно чужой, чужих людей. Мне было непривычно видеть партийных дам с бриллиантами в ушах и мужчин с перстнями. Я был удивлен тем, как берут взятки, чего раньше не было. Довоенная партийная среда была ужасной, но она была ригористской. Сталин держал их жестко.

Вернувшись из лагеря, я включился в работу. Это был период так называемой оттепели. Не только мне, вернувшемуся и поэтому радующемуся, но и тем, кто оставался на свободе, казалось, что наступает время искоренения всего сталинского – не только государственного тоталитарного режима, но и новое время в литературе, искусстве, духовной жизни.

Я вернулся к своим старым занятиям, к детской литературе. (В 30-е годы многие талантливые писатели, такие, как Корней Чуковский и Евгений Шварц, ушли в детскую литературу, поскольку это была единственная возможность иметь большую свободу творческого выражения. – *Ред.*) Я это делал с большим увлечением. Меня хорошо приняли. Я стал директором своеобразного научно-исследовательского института детской литературы, который назывался Дом детской литературы.

Я считал, что к детской литературе надо подходить с критериями большой литературы. И в результате оказался не ко двору и вылетел из этой системы через пять лет.

У меня также было другое дело, которое мне казалось чрезвычайно важным. В лагере выживание было единственной формой сопротивления режиму. Каждый день, в который я выжил, – это удар по Сталину. Я думал, что если я выживу, я все расскажу. Я смогу рассказать то, что не смогут рассказать те, кто умер. Это было одно из самых горестных ощущений, что уходят люди и от них ничего не остается, потому что все их близкие «пущены в распыл».

В этом была особая бесчеловечность системы. И с этим было очень трудно примириться. Я думал о том, как я все рас-

скажу. И когда я стал работать в Доме детской литературы и у меня даже появился свой кабинет, я начал писать, не думая о том, что написанное когда-нибудь опубликуют. Я думал: «Ну, ладно, пусть прочтут мои близкие». Но у каждого литератора, даже пишущего дневники как бы для себя, есть потаенная мысль, что его прочтут.

Я написал то, что хотел, стал печататься и сделался очень популярен. Литературный журнал «Юность», который опубликовал мою книгу в 1988 г., имел тираж 3,5 млн. После этого она стала издаваться на многих языках. (В прошлом году в Калифорнии вышло английское издание, сейчас его выпускает также британское издательство.)

Но такой ничтожный резонанс в моей стране! Мою книгу практически невозможно достать. Вышло четыре издания крошечными тиражами. Почти все, кто знает ее, – читатели «Юности» 1988 г.

Я думал, что моя книга будет одной из тех, что разбудят историческую память, наполнят людей ненавистью и отвращением к прошлому и навсегда предотвратят возможность его реставрации. Я этим занимался не только как писатель, но и как общественный деятель.

Группа людей, подвергавшихся репрессиям, среди которых были я и Сергей Адамович Ковалев, организовала в начале перестройки общество «Мемориал». Мы хотели сохранить память о жертвах репрессий и построить им памятник. Начали получать отовсюду деньги, организовалось жюри из авторитетнейших художников, скульпторов, общественных деятелей. Потом все рухнуло в песок. Кончилось тем, что мы решили привезти из Соловков камень и установить его на Лубянской площади перед зданием КГБ. И сделали это в День памяти политзаключенных.

Он стоит. Но позавчера мне позвонила журналистка из Мюнхена и говорит: «Странно, я была в Москве и фотографировала здание бывшего КГБ – мне никто не мешал. А потом сфотографировала надпись на камне и ко мне тут же подошли и велели стереть эти кадры».

Оказалось, что ни власть, ни общество не желают возвращаться к памяти о прошлом.

И можно ли говорить об исторической памяти, когда по телевизору мы видим оголтелых пикетчиков и демонстрантов

с портретами Сталина. Когда на всех углах продаются просто фашистские книги, прославляющие не только Сталина, но и Гитлера. Когда существуют баркашовцы из Русского национального общества – уже наполовину организованные отряды эсэсовцев. Это очень опасно. Тем более что власть ведет себя совершенно слепо и незащитно, не понимая, что это ей угрожает. И никакие напоминания о Германии 1932 года ей не помогают.

Через несколько дней мне исполнится 90 лет, и я с грустью думаю об этом. Не потому, что кончается жизнь, – это естественный биологический фактор – а исторически, социально.

Историческая память нашего народа не была разбужена. Такое впечатление, что общество, наоборот, пытается забыть все, чем мы возмущаемся. Эсэсовцы в Латвии гордятся тем, что они были эсэсовцами, а у нас по телевидению выступают руководители КГБ – преступники, которые всю жизнь должны сидеть на тюремных нарах. Они живут в комфорте и довольстве, с ними подобострастно здороваются за руку. Например, бывший председатель КГБ Семичастный. Мы помним, что он делал с диссидентами. Бездна наказанность полная. Мы возмущаемся тем, что в Латвии происходит. А что в Москве происходит?

Мы все были свидетелями чудовищного преступления – это бойня в Чечне, уничтожение не менее 100 тыс. людей. Нашлись отдельные люди, которые выступали, писали, активно боролись против этого. Но антивоенного движения, такого, например, какое создалось в Соединенных Штатах против вьетнамской войны, у нас не было.

Я чувствую себя в чем-то виноватым – не сумел. Мы все не сумели, нас не поддержали. Почему? Этот вопрос требует длительного осмысления. Наше общество до сих пор – общество, которое было расколото на тех, которые сажали, и тех, кто сидели. И в большой мере стала превалировать та половина, которая сажала.

Коммунисты остались при власти: секретари обкомов, райкомов, ЦК. Больше того, они стали сильнее. Они сами создали финансовые олигархии, беспардонно наворовав. Они не хотят ничего другого. Меня выгнали из Детгиза, потому что я хотел видеть другой уровень художественности. И, как выразился главный бухгалтер: «Почему мы должны платить деньги за то, что нас ругают?»

Я после этого, став членом Союза писателей и «свободным художником», писал книги. Сегодня одну из них – о моем детстве в еврейском местечке – мне привезли из Италии, где она выходит в переводе на итальянский. Я был знаком со множеством очень известных и менее известных замечательных людей, оставивших после себя светлый след. Я жил интересной, содержательной, наполненной жизнью.

СПАСАЯ ДУШИ, МЫ СТРОИМ ХРАМЫ. А НАДО БЫ ПОСТРОИТЬ ТЮРЬМУ

Всякая тюрьма – и в том числе тюрьма наша, современная, российская – это отражение общества. И жестокость, царящая в местах заключения, это наша жестокость. До революции к заключенным, арестантам, преступникам относились как к людям, с которыми приключилось большое несчастье. Душу спасали – подавая арестантам гроши или калачи. В праздники богатые люди отправляли в тюрьмы корзины со снедью. А кто сейчас подаст заключенному?

Конечно, это следствие многолетнего страха перед государством, которое принуждало видеть во всяком узнике врага народа, исчадь ада, попросту карало за сочувствие к осужденным. Постепенно страх кары превратился в душевную черствость. Ныне власть за сострадание к узнику никого карать не намерена – но милосердие сходит на нет.

Войны и массовые репрессии приучили нас ни во что не ставить жизнь отдельного человека. Все одинаково ничтожны. И уж тем более те, кто перед обществом провинился. Виноват – дави его до конца. Сама мысль о, так сказать, качестве тюрьмы большинству абсолютно чужда. Между тем Чехов полагал, что устройство тюрем не менее важно, чем устройство школ и больниц. В тюрьмах и лагерях люди постоянно погибают из-за своих союзников. Кого-то убивают, кого-то доводят до самоубийства. Мне плохо – отыграюсь на слабом. Конечно, так бывало во все времена, но нынешние нечеловеческие условия прямо-таки пестуют внутритюремное зверство.

Вот Москва. В Москве дореволюционной было столько же тюрем, сколько сейчас. Только Таганку срыли. И затем – это большое достижение, действительно благое дело – построили под Москвой женскую тюрьму. В той Москве жило полтора-два миллиона человек. Сейчас десять. Тюрем столько же. И потому это не тюрьмы, а пыточные учреждения. Я попал в Бутырки в апреле 1938 года. И мне казалось, что более ужасных условий нет: камера рассчитана на 20 человек, а в ней – 70. Уже как члену комиссии по помилованию мне снова довелось побывать в тех же камерах – и теперь там по 150 человек. Тогда мы спали, прислонившись друг к другу, а сейчас – сесть негде. В этой обстановке жить практически невозможно.

Страшно говорить, но попытки либерализовать тюрьму ухудшили положение заключенных. Например, в камерах уничтожили парашу и поставили там унитаз. А ведь то, что называется оправкой, было второй, по сути, прогулкой: камера шла на оправку, там мылись – теперь второй прогулки нет и умыться негде. На 150 человек – один унитаз.

Меж тем гуманные тюрьмы существуют. Я видел такие тюрьмы в Германии. Самое главное – твердая установка: заключенный должен жить один. Он – личность. И его личная жизнь неприкосновенна. В камерах нет глазков. Начальник одной из тамошних тюрем мне так и сказал: «Нельзя подсматривать за человеком». Комфорт, по сравнению с этим, вторичен.

Само отделение от внешнего мира – уже достаточно серьезное наказание. Ведь это лишение свободы. Может, и жестокость наша связана с утратой чувства свободы. Не ценим мы ее – и ни за что считаем, когда кого-то ее лишают.

Мне кажется, что я в сталинских тюрьмах и лагерях чувствовал себя более свободным, чем сегодняшние заключенные. Слишком силен теперь обоснованный страх за свою жизнь. В тюрьме ведь все знают и про туберкулез, и про взаимное озлобление. В этой обстановке человек лишается чувства самоопоры. Он перестает чувствовать себя человеком. Страх уничтожает иные чувства. И это при том, что среди тюремной администрации теперь есть немало людей, всерьез озабоченных участью заключенных. Они не видят в них врагов народа, они хотят как-то облегчить участь своих подопечных. Прежде (за редкими исключениями, люди – всегда люди) такого

быть не могло. В лагере я встречался с хорошими добрыми людьми. Ситуация парадоксальна: изменилось государство, есть даже порядочные тюремщики, а заключенным – хуже.

Мы в последнее время непрерывно строим храмы, дворцы, многоэтажные офисы. И не построили ни одной тюрьмы. Ни одной. Получается, что наша новая идеологическая взвинченность основана на том же равнодушии к человеку. На той же нравственной тупости и жестокости.

Конечно, нужны деньги. Но не только они. На мой взгляд, переход тюрем в ведомство Минюста – важный шаг. Конечно, очень многое зависит от государства.

У меня был разговор об этом с принцем герцогом Эдинбургским на приеме в честь визита королевы Елизаветы. Он спросил, что я думаю о смертной казни, – я ответил, что ее не приемлю. Тогда он спросил, как на это смотрит народ. Я ответил вопросом: а каковы были бы результаты референдума о смертной казни, если провести его в Англии. Мой собеседник (я только потом узнал, что он муж королевы) развел руками, признал: печальные были бы результаты. И тут же добавил: вот потому-то и невозможен такой референдум.

Власть – особенно в нашей стране с ее жуткой историей – обязана сочетать силу с гуманностью. И все же властью дело не исчерпывается. Что держит человека в тюрьме? Ниточка, связывающая его со свободным миром, вера, что он там кому-то нужен. Не только родным. Поэтому так важны все виды помощи заключенным. Поэтому так важен наш – каждого из нас – выход из тенет равнодушия.

Мы миримся со смертной казнью и нечеловеческим содержанием узников по одной и той же причине. Мы забываем, что ценен всякий человек. Если нам удастся преодолеть в себе это мертвящее начало, жизнь в тюрьмах – все равно горькая, ибо нет подлинной жизни без свободы, – станет относительно сносной. Тюрьма останется тюрьмой, но нельзя мириться с ее нынешним бытием, с тюремной смертностью, с тем, что покидают наши «исправительные учреждения» люди, искалеченные физически и психически.

*Лев Разгон
дает
интервью*

ПРИМИРИТЕЛЬ

Урок писателя Льва Разгона

Мы знакомы уже... да лет тридцать, если не больше. По той причине, что мне уже в самых первых моих публикациях случалось задеть весьма влиятельных графоманов, ходу мне в большинство издательств не стало; по дорожке, испытанной многими, я был оттеснен как бы на периферию, в критику литературы для детей, чем занимался, впрочем, с усердием. А уж там заметной фигурой был мой нынешний собеседник, человек, что сразу бросалось в глаза, редкостной доброжелательности и приветливости. По молодой колючести я, грешным делом, сомневался: не слишком ли эта приветливость всеохватна и неразборчива?

И вот еще задолго до того, уже недавнего времени, когда я услышал от моего друга Натана Эйдельмана, что «Левушка Разгон» читает приятелям свою потрясающую лагерную прозу, – до того, говорю, в годы, когда эта проза писалась, но не рисковала показываться сторонним глазам, до меня стали доходить обстоятельства его прошлого, также потрясавшие воображение...

– Кстати, Лев Эммануилович, давайте я вам расскажу, какие про вас ходили легенды, а вы поправите – где правда, где вымысел. Итак: в 38-м вам дали десять лет...

– Уже неточность. Да, взяли меня в апреле 1938 года, но получил я сначала пять лет. В лагере, правда, добавили еще столько же – за антисоветскую агитацию, но я сочинил такую гениальную жалобу, что мне второй приговор отменили. Исключительный случай.

– Ладно. Вы дослушайте. Значит, когда вы, отсидев, стали уже ссыльным, то познакомились с Ревеккой Ефремовной,

с вашей Рикой, которая еще отбывала свой срок. И стали дожидаться ее освобождения. В то время вы работали в типографии...

– Да не работал я в типографии!

– *Потерпите, Лев Эммануилович! Любопытно же, как возникают легенды... В общем, там, в этой типографии, где вы, оказывается, не работали, в газетный номер шел, как обычно, портрет Сталина, но клише было такое неудачное, что вы будто бы сказали: «Да это же не лицо, а какая-то свиная морда!» И – готово: еще десять лет. Так что уже Рика, закончив свой срок, стала дожидаться вас...*

– Ничего похожего. Вернее, очень немногое. Когда после лагеря кончились три года моей ссылки, мы с Рикой поехали в Ставрополь, где снова арестовали сначала ее, потом и меня. А что касается клише... Я работал методистом в кабинете культпросветработы и однажды написал либретто плаката об, извините, сталинском плане преобразования природы. Портрет действительно вышел плохим, и я предположил: «Наверное, слишком подпилили клише, вот и получилась такая петрушка». Немедленно – донос: вождя мирового пролетариата назвали Петрушкой! Вот тут в самом деле – еще десять лет и пять по рогам.

– *Понятно... Но я ведь зачем ворошу прошлое. Я сейчас читал посмертную книгу Лакишина, в частности, его знаменитый ответ Солженицыну по поводу книги «Бодался теленок с дубом», где покойный Володя защищает «Новый мир» и Твардовского от, мягко говоря, несправедливостей со стороны Александра Исаевича. И говорит: дескать, какой теленок? Не теленок, а лагерный волк – именно там он обрел свойства, которые помогли ему выжить и на воле вести свою борьбу, подчас не разбирая средств... Хочу вас спросить, имея в виду, что сталинский лагерь – это ведь крайность той несвободы, сгусток тех испытаний, тех противоестественных условий жизни, которые всех нас в той или иной степени не отпускали никогда: как сохранять себя в условиях, диктующих волчьи законы? Сам-то Солженицын считает, что лагерь помог ему стать тем, кем он стал («Благословение тебе, тюрьма...»). Шаламов говорил: «Лагерь – это только отрицательный опыт». А для вас как?*

– Мои семнадцать лет, как я назвал свою книгу, «плена в своем отечестве», были, конечно, годами самых больших не-

счастливых, но и самыми важными. До лагеря я был другим человеком. Не то чтоб плохим – нет, никого не предал, никого не обидел. Но, будучи верующим в коммунизм, любя советскую власть, понял свою ответственность за все только в лагере. Понял свою главную вину и стал дико жалеть людей – а до лагеря не жалел... То есть, что значит: не жалел? Разумеется, было жалко, что люди гибли от голода, жаль кулаков, которых ликвидировали как класс, но, говорил я себе, что делать, историческая необходимость! Такая жалость вообще могла быть у кого угодно, даже у Берии, но в лагере я научился жалеть просто людей. Как Ивана. Как Петра. И, кроме того, возникло чувство стыда перед ними, которое меня не оставляет и теперь: я ведь подерживал эту власть...

– И долго в вас пробуждалась эта жалость?

– Вы знаете, Стас, пробудилась сразу, в тюрьме. Наверное, душа была готова: характер ведь был не злой, скорее добрый.

– Вот! Когда появилась ваша проза, она, помимо всего прочего, восхитила меня своей, простите за старомодное слово, безгневностью. Тем, что страдания вас настолько не ожесточили против людей и мира, что вы способны сдержанно рассказать даже о таком чудовище, как палач Ниязов. Мне кажется, я бы так ни за что не смог, но я понимаю, что в этой скорбной сдержанности – особая нравственная сила. Это с одной стороны. А с другой – знаете, что меня удручает, когда я читаю сочинения некоторых из тех, чья судьба сходна с вашей? Казалось бы, обнимитесь после общей трагедии, которая вас настигла, но нет. Идут какие-то счеты. В книге Олега Васильевича Волкова, перед судьбой которого готов склониться, встречаю странички о Евгении Семеновне Гинзбург, которую я хорошо знал: как грубо, да и просто факты искажены. Бог знает, чего ей не наприписано!.. Да что там, если и в переписке Варлама Тихоновича Шаламова попадает что-то похожее... Горько. Как можно?

– Да, это недостойно. То есть лагерные счеты возможны, но совсем в другом смысле: есть ли в воспоминаниях вранье, лукавство? А попадают. Даже, как я считаю, в солженицынском «Архипелаге». Великая книга!.. Правда, не соглашусь с авторским определением «опыт художественного исследования» – скорее так можно сказать об «Одном дне Ивана Денисовича», а «Архипелаг ГУЛАГ» – публицистика, пусть не

всегда точная, но прекрасная в своем запале, великая в своих последствиях. И все же в ней есть то, чего я не принимаю: партийность Солженицына, в которой, как во всякой партийности, неизбежен элемент лукавства. Например, умолчание о 37-м годе: мол, коммунисты резали друг дружку – и хрен с ними... Лукавство и в том, что будто единственно идейными людьми в лагере были православные священники. Но к тому времени, когда Солженицына перевели из шарашки в лагерь, там уже не было священнослужителей: их освободили в 43-м году, когда Сталин заключил конкордат с Православной церковью. Лагеря были, наоборот, полны людьми, которые страдали за веру, но не ортодоксальную: евангелистами, баптистами, иеговистами – теми, кто попал туда не без помощи официальных церковников...

– Но в «Иване Денисовиче» как раз есть Алешка-баптист, изображенный с любовью!

– Да, но я – об «Архипелаге». Партийность, пусть даже православная партийность, – вот то, чего я лично принять не могу. А если вы правы в оценке моей прозы, она такова, наверное, потому, что я, как говорили в партии, оппортунист...

– Или, выражаясь не по-партийному, слишком мягкосердечны? Для классовой борьбы не годитесь? Но если так, то до лагеря-то таким, наверное, не были.

– Я и до лагеря уклонялся от того, что мне неприятно. Скажем, искренне верил в необходимость коллективизации, но хоть и был журналистом, никогда о ней не писал. Что-то мешало. Знаете, все сознают необходимость ассенизации, но не все за нее берутся. Вот и я думал, что Сталин – единственный и законный лидер, но сам его терпеть не мог. Или допускал, что главная опасность для партии и страны – правая, однако Бухарин, наоборот, был лично мне симпатичен, ну уж а с Рыковым я просто был хорошо знаком. И потому на собрания, где их клеймили и требовали расстрела, не ходил. Да, я был верующий, но – оппортунист. Не фанатик. Не думайте, что я этим горжусь, тут ведь была и плохая сторона. Например, мой отец, простой рабочий, который вступил в партию в «ленинский призыв», был истовым коммунистом, не то что я, – но когда нашу семью впервые задел 37-й и арестовали моего младшего, семнадцатилетнего брата, отец не только не открестился от него, а больше того. Я ему сказал: «Папа, тебя же

исключат из партии», и он ответил: «Сынок, меня исключат не из той партии». И на партком: «Мы не для того делали революцию, чтобы сажали наших детей»... Видите? А я открепился.

– Но если продолжить наш разговор о том, что вы назвали оппортунизмом и чему я готов приискать массу синонимов, включая терпимость, умеренность, нравственную безразличность и т.д. и т.п., то здесь у меня созрел, может быть, главный из всех вопросов, которые я хотел вам задать... Власть и интеллигенция – вот проблема! Вообще-то я всегда помню слова Достоевского: мол, если бы нам пришлось строить здание самого светлого будущего, но для этого в фундамент необходимо положить одного-единственного замученного человека, согласились бы мы на таких условиях быть архитекторами этого здания? Для меня ясно: и Достоевскому, и просто традиционному российскому интеллигенту это претит. Но разве политику – не злодею, даже не дураку, а самому благородному и разумному – не приходится каждый день принимать такие противоестественные решения, идти на такие вынужденные жертвы? Даже если речь идет не о таком кошмаре, как война в Чечне. Егор Гайдар – разве он не пожертвовал тысячами стариков, начав шокотерапию?.. А с другой стороны – Андрей Синявский со своим диссидентским опытом говорит, что сотрудничество с властью в принципе исключено, что традицией нашей интеллигенции всегда была оппозиционность власти. Всегда – и навсегда? Но ведь это тоже попытка отнять личную волю, тоже стадность, пусть интеллектуальная... Можете размотать этот клубок? Тем более вы вроде бы близки к власти: как-никак, член Комиссии по помилованию при президенте.

– Попробую размотать. Все эти годы я был ельцинистом, помогал Ельцину, видел в нем много положительного – в том числе и решение создать нашу комиссию... Вернее, создал-то ее Сергей Ковалев, но Ельцин поставил подпись, и вот мы, как умеем, помогаем несчастным. Приговоренным.

– Для вас это всегда синонимы?

– Вы знаете, Стас, в последний год доброго и либерального Горбачева было казнено сто шестнадцать человек. А в первый год существования нашей комиссии это число уменьшилось до четырех. Ну, скажите, чего ради я, Булат Окуджава,

Мариэтта Чудакова, занятые люди, тратим три дня в неделю – два из них читаем дела, на третий встречаемся, не получая за это, естественно, ни копейки? Почему Булат, которого палкой нельзя загнать на писательское собрание, не пропускает ни одного заседания? Почему? Я отвечаю Пушкиным:

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Мы даем не свободу, но жизнь.

И выходим со своих заседаний измученные, но с удивительно радостным чувством. С чувством, представьте себе, демиурга! Вот этому человеку должны были выстрелить в затылок, и он – да, негодяй, да, ужасен, но что бы вы мне, Стас, ни говорили: дескать, вечное заключение страшнее смерти, попробуйте об этом сказать Нельсону Манделе. Или – Вере Фигнер, Николаю Морозову, шлиссельбуржцам...

– Вы угадали: скажу. Да ведь и помилованные говорят. Некоторые, как уж вы-то знаете, просят, чтоб их расстреляли – в наших тюремных условиях тянуть бессрочно действительно страшнее мгновенного конца.

– Да, просят, бывает. Но, говоря по-лагерному, или с понта, или в приступе отчаяния. Им кажется, что смерть лучше.

– Допустим. Но вот на днях я услышал по телевизору, что президент подписал указ о помиловании человека, который изнасиловал и убил четырех женщин. Тут вы тоже испытываете радость демиурга?

– Представьте, да. У нас в комиссии очень разные люди. Что касается меня, то я принципиальный противник смертной казни, но все решает голосование.

– Что ж. По крайней мере, вот вариант отношений власти и интеллигенции. Что до вас, то вы-то исполняете чисто интеллигентскую роль – еще Бердяев определял ее как сострадание, сопечалование. С вами – или с Карякиным, с Марком Захаровым – все ясно, хотя... Читаю в недавней газете: академик Петраков напустился на Юру Карякина: как он во время чеченских событий может оставаться в президентском совете? Или все еще надеется повлиять на взбесившуюся-

ся власть?.. Одним словом, неужели интеллигенции действительно надо окончательно отвернуться от Ельцина, что бы с ним сейчас ни происходило?

– Нет. Я так не считаю. Войти во власть – не значит поддерживать ее во всем. С ней можно сотрудничать, если она не безнравственна и не антинародна, а аморальна лишь в такой степени, в какой аморальна всякая политика. Я имею в виду ваш пример с Достоевским. Конечно, случай с Чечней – экстремальный, но и сейчас проявлять интеллигентское чистоплюйство глупо. «Ах, не тронь мои ризы, они белы!» Пример для меня – тот же Сергей Ковалев, который не требует импичмента президенту. Я думаю: Господи, ну я же не могу попросить у Ельцина взять на полгода отпуск и уступить место Черномырдину, и поскольку это невозможно, я согласен с Сергеем Адамовичем, который борется с президентом, по существу ему помогая. Подумайте сами: гипотетический уход Ельцина вовсе не предполагает появления вместо него, скажем, Гайдара, – ведь так очевидно, что на подходе совсем иные фигуры. Мы должны примириться: президент, которого мы избрали, окружен... Ну сами подберите слово, чем он там окружен, – и это в силу того, что вокруг власти не бывает иначе. Мы должны с этим бороться, в то же время понимая, что подобное неизбежно, что власть действительно разращает...

– Невеселый у вас получается вывод. Выходит примерно то же, что знаменитый адвокат Плевако сказал некогда про свечные щипцы: они, снимая нагар, помогают пламени быть ярче. Только Плевако это сказал про цензуру, а вы – про роль интеллигенции возле власти...

И Лев Эммануилович Разгон разводит руками: дескать, а вы от меня чего же хотели? Утешительства, то бишь лукавства?

Нет. Утешительства от него не хочу. И тем не менее получаю от разговора с ним, с восьмидесятилетним человеком, узнавшим оглушительный литературный успех ровно в восемьдесят и с той поры ставшим столь авторитетной общественной фигурой, – словом, получаю совсем иной урок. Веселого в его словах действительно мало – поздняя мудрость всегда печальна, – да и утешаться в наших условиях значит

сладко и жестоко самообманываться. Просто – Разгон вспомнил Пушкина, я вспоминаю Тютчева:

*...И на бушующее море
Льет примирительный елей.*

Сказано – о поэзии, но два крылатых слова «примирительный елей», то есть масло, проливаемое на бушующие волны, дабы их утихомирить, – эти два слова, как я заметил давно, чаще всего цитируются с иронической целью. Отчего? Да оттого, что такими мы воспитались и выросли. Мы даже трагические слова Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль» сумели превратить в дежурно-бравурные заголовки победных статей. Злые, всегда агрессивно встопорщенные, взаимно ожесточенные – даже в относительно мирные дни, мы не сознаем, что, может быть, больше всего нуждаемся именно в «примирительном елее». Тем бесценнее для нас люди наподобие моего собеседника – и беда, что их так мало.

«И МИЛОСТЬ К ПАДШИМ ПРИЗЫВАЛ...»

Несколько солнечных дней с Львом Разгоном

Его имя стоит в одном ряду с именами Александра Солженицына, Евгении Гинзбург, Варлама Шаламова. «Лагерная проза», ставшая таким же явлением русской литературы, как проза «деревенская» (так жестоко распорядилась история, что лагерь стал такой же естественной средой обитания русского человека, как и деревня), не просто появилась на волне гласности – принесла ее, гласность, свою волну.

Мы провели рядом почти неделю на семинаре Московской школы политических исследований в Голицыно. Он занимал место «на галерке» и внимательно слушал почти все, пропустив ради интервью лишь две лекции по экономике. «Сам я никогда не выступаю». «Почему?» – спросила я. «Это дело молодой России, молодых политиков». – «Россия общая. Ваша тоже». Он ничего не ответил, но именно в этот день Лев Эммануилович присоединился к дискуссии.

Я попробовала сохранить те крупицы мудрости и человечности, которыми были полны несколько дней в Голицыно со Львом Разгоном.

– Вы действительно из Риги? Я очень любил отдыхать в Юрмале. А ведь Дом писателей в Дубулты строился на наши писательские деньги, в том числе на мои, – хитро улыбается Лев Эммануилович, – но нам почему-то никто не предложил доли нашего имущества. Жаль, что связи с Латвией оборвались: я очень люблю и Юрмалу, и Старую Ригу... То кафе с тринадцатью стульями на Домской площади еще живо?

– Изменилось до неузнаваемости.

– Как и вся Рига, должно быть. Если этот наш разговор примет к публикации, можно, я, как в «Поле чудес», буду передавать приветы?

– *Можно. А кому?*

– Имант Зиедонис, боюсь, уже не примет привет от русского писателя, а мы много с ним разговоров переговорили. (Оживляясь.) Леночке Антимоновой, чудесному рижскому графику, привет! Очень люблю ее эротические озорные миниатюры. А вы, как рижанка, знаете, где самое вкусное пиво?

– *Где?*

– В Цесисе. Самое-самое вкусное. Доведется ли еще раз попробовать?..

«Если не считать ближнего зарубежья, я за границу впервые попал в возрасте 80 лет», – говорит он. От многого сказанного Львом Эммануиловичем невольно вздрагиваешь: и от самих слов, и от подтекста, контекста судьбы этого человека.

Теперь он много путешествует. Университеты Европы и Израиля считают за честь пригласить к себе с лекцией свидетеля страшной истории сталинизма. Осенью, когда спадает жара, Разгон проводит месяц-полтора у друзей в Италии, которую очень любит. На неделю выбирается в монастырь Лаверно у францисканцев. «Это изумительное по красоте место в окрестностях Флоренции и изумительные люди, – восклицает он. – В капюшонах, сандалиях на босу ногу... Их учитель Франциск Ассизский с птицами разговаривал, и они такие же добрые и тонкие души. А рядом монастырь доминиканцев, которые носят такие белоснежные рясы!.. И все живут очень дружно и весело».

– *Хорошее завершение жизненного пути.*

– Да. Но много и молодых монахов. Я всегда принимаю участие в их коллективных молитвах о мире, о прощении. Службы идут по-латыни, на итальянском, немецком... Очень искренне. Мне вообще как-то ближе католицизм. Намного. Он терпимей. Моя дочка православная, она обижается, что я не хожу в московские храмы, но мне эти четырехчасовые службы просто не выстоять.

– *А иудаизм как собственный религиозный путь вы никогда не выбирали?*

– Нет, я, в общем, атеист. Для меня иудаизм – это воспоминания детства, память о прошедших годах. Я родился в еврейском местечке Горки в Белоруссии, в Москве живу с 1922 года.

Может быть, к сентябрьской поездке Разгона в Италию будет закончен перевод на итальянский его новой книги. Ее тема – детство и идентификация себя как еврея. А то, что с первого взгляда он становится живым образцом русского интеллигента – так в этом нет никакого противоречия.

Мы быстро подружились. Встретив его утром в коридоре, я спросила: «Как здоровье? Как самочувствие? Как дела?» «Здоровья никакого, самочувствия никакого, дела отлично», – бодро отрапортовал Разгон и проиествовал дальше. У него легкая походка. Старые люди часто кажутся невесомыми: видимо, уже сказывается преодоление ими земного притяжения.

Я все думала, как пригласить его на разговор о прошлом, когда соседка по столу, прихлебывая суп, с неуклюжестью, принимаемой ею, очевидно, за светскость, спросила: «А вы помните семнадцатый съезд ВКП(б)?» «Помню, – ответил он совершенно спокойно, чуть прикрыв глаза, – помню, как ангел смерти пролетел...» И начал рассказывать о Кирове, Сталине, Ежове... Оставалось только сожалеть, что обедать я ходила без диктофона. Впрочем, эта история, рассказанная за тарелкой супа, почти слово в слово приведена в «Непридуманном».

Дела членов семей врагов народа, как позже узнал Разгон, называли «осколками». Он да дочь Наташа – осколки уцелевшие.

Сегодня Наталья Львовна выглядит почти ровесницей своего отца. Между ними царят отношения заботы и искренней любви. Как положено близким людям, давно живущим бок о бок, они часто пикируются, ведя спор из-за флакончика с лекарством, но легко и весело, не утомляя этим окружающих. В адрес непокорной дочери пришлось услышать такую вот угрозу, семейную, любимую, которую суровым голосом начинает Лев Эммануилович, а заканчивает уже сама провинившаяся: «С тобой будет поступлено в соответствии с нормами правосознания революционного времени!» Он может и шутить над прошлым, но мы в его присутствии нет-нет да и замираем, глотая ком в горле: этот человек, ставший таким близким, с таким смиренным и веселым духом – прошел ад.

И жив. И смеется. У него славное чувство юмора, отзывчивость на чужие шутки, и, как уверяют, виртуозное знание русского мата... После выхода из лагеря он вернулся в детскую литературу, а ведь писать о детях и для детей могут только очень добрые люди.

– Меня спрашивают, как мне удалось выжить. Как я могу на это ответить? Удалось. Как может солдат ответить, почему его не убило на поле боя? Может быть, меня спасло то, что я никогда не искал никакой логики, тайного смысла в арестах, репрессиях, лагерной жизни. Не считал палачей людьми. Не переставал считать себя человеком. Я вышел из лагеря совсем-совсем другим. Лучше. Я нигде не был так свободен, как там. И пытаюсь быть свободным сейчас. Ведь Пушкин, а за ним Блок говорили о тайной свободе. Человек имманентно свободен, и никто не может с ним ничего сделать. До самого того момента, когда он кладет голову на плаху...

В свои 89 лет Разгон – активист «Мемориала», правозащитник, член Комиссии по помилованию при президенте РФ. Он рассматривает дела осужденных, ездит по тюрьмам. В день, когда был записан основной фрагмент этого интервью, в «Moscow News» вышла его статья о положении дел в российских тюрьмах. Убежденный противник смертной казни.

– Это, наверное, очень тяжелый груз – быть общественной совестью?

– Речь не об этом. Важно, чтобы в Комиссии по помилованию были простые, не зависимые от государства люди, не чиновники. У нас ведь нет никаких полномочий. Наше оружие – слово. Но мы говорим и говорим, пытаюсь дать людям возможность задуматься о милосердии.

Проблема наказания всегда стояла перед человечеством: в чем цель наказания, как относиться к преступнику? В старой России всегда существовала забота о «несчастненьких», как называли в народе заключенных. В воскресенье булочки посылали в тюрьмы корзины плюшек. Чехов говорил, что нужно думать о трех вещах: школах, больницах и тюрьмах, и показал пример милосердия, отправившись на Сахалин. Помните «Славное море – священный Байкал»? В наше время – совершенно невозможная песня. Наше время – антигуманно. Найти нравственное общество не так легко, но наше – глубоко безнравственно.

– *Более, чем прежде, тоталитарное?*

– В известной мере, да. Тогда у людей не было выбора, и жизнь человеческая ничего не стоила. Сейчас выбор есть. Но повсюду озверение, ожесточение... Наша комиссия подсчитала, что наибольшее число преступлений сегодня связано с убийствами. И убийство – иногда единственный способ разрешить ситуацию, ставшую невыносимой. Убивают лишних родителей, с которыми не могут ужиться на одной жилплощади, убивают из ревности супругов – не молодых Ромео и Джульетт, а проживших в браке целую жизнь и продолжающих жить вместе после того, как брак распадается. И 87% всех убийств совершено в пьяном виде.

При старой комиссии Президиума Верховного Совета в год расстреливали несколько сотен. Вступление России в Совет Европы потребовало от президента моратория на смертную казнь.

– *Российское общество готово к отмене смертной казни?*

– Есть мало обществ, готовых к отмене смертной казни. Может быть, мне легче: я принципиальный противник смертной казни.

– *И даже в случае Чикатило вы голосовали за отмену смертного приговора?*

– Расстрел его – тоже преступление, ведь он был большим человеком.

– *Ваше гуманистическое мировоззрение сложилось под влиянием пройденного пути, лагеря?*

– Да, мой жизненный и исторический опыт мне подсказывает: государству нельзя давать право убивать! Это более опасно для общества, чем то, что в нем есть убийцы.

Я застрелю без всякого зазрения совести мерзавца, который будет покушаться на ребенка. Могу применить оружие для самообороны. Но государство не может казнить, потому что казнь – сама по себе безнравственна. Почему профессия палача считается нечистой у всех народов? Вы отдадите дочь за военного, который убивал, и, может быть, убил больше людей, чем палач, но палачом побрезгуете. В царское время на всю Россию был один палач из Бутырок, которого возили по стране, если надо было совершить экзекуцию. В средние века одно лишь прикосновение палача требовало церковного очищения. Почему? Ведь солдат мог убить добропорядочно-

го человека, а уж палач-то имеет дело только с преступником?

– *Наверное, потому, что он имеет очень сильное отрицательное поле, пропитывается смертью.*

– Позиция жертвы абсолютно другая. Палач убивает беззащитного, не давая ему никакого шанса спастись.

– *Я недавно первый раз услышала ту песню Александра Галича о палаче, которому в санатории мешает спать Черное море... Что происходит с Россией, в которой по-прежнему такое количество нераскаявшихся, неосужденных палачей?*

– В апреле этого года в Лондоне я читал лекцию «Возможно ли примирение в России?» И сам не знаю, как ответить на этот вопрос. Подумайте, ведь для того, чтобы казнить те десять миллионов в сталинское время, нужно было по меньшей мере в четыре раза больше палачей, то есть всех тех, кто работал: арестовывал, допрашивал, выносил приговор, этапировал, расстреливал, уничтожал трупы. Где они? А где то золото партии из зубов зека, подобно золоту нацистов, которое нашли в Швейцарии? Ведь я точно знаю, что у нас в лагерях всем казненным выдирали золотые коронки!..

Фашизм был менее тоталитарен, чем сталинизм, ведь суть тоталитарного режима не в том, что «не смей со мной бороться», а «принимай участие». Германия прошла через прощение и наказание: нацистские преступники были наказаны. Сталинские – нет. Потому что в нашем случае не было победителя, который провел бы свои Нюрнбергские процессы. И палачи, и жертвы – часть одной нации. В этом случае ситуация в Латвии чем-то легче.

– *Почему процессы над сталинскими палачами не инициировали сами жертвы репрессий?*

– Сил не было. Из лагерей вернулись человеческие останки. Способные доживать, а не бороться. Им подбросили палку колбасы, сто рублей денег и откупились. «Мемориал» при Сахарове пытался добиться хотя бы исторической истины: цифры уничтоженных режимом. Даже этого не удалось сделать!

– *Вы можете простить своих палачей?*

– Любое преступление может быть прощено при условии, что преступник понес наказание.

– *Уголовное?*

– Да. Хотя в этом случае компенсация и наказание могли бы быть и моральными. Но ведь и этого-то нет.

– *А инициатива Ельцина объявить этот год годом Соглашения и Примирения?*

– Знаете, Ельцин был членом первого совета «Мемориала». Тот совет не выбирался: мы просто ходили по учреждениям, организациям и спрашивали, кого люди в нем хотят видеть. Среди первых семнадцати, набравших наибольшее количество голосов, был и опальный Ельцин. В отличие от Солженицына, который отказался от участия в «Мемориале», он приходил на все наши заседания.

– *Так что, он уже забыл об этом?*

– Не знаю. Может быть. А может, просто не хочет поднимать эту волну, которую будет не удержать. Вырастает новое поколение, которому будет легче разобраться. Но разбираться придется.

– *Наше интервью затянулось. Вы устали, Лев Эммануилович!*

– Нет, но там гремят чашками: сейчас будет кофейная пауза. Пойдемте пить кофе!..

Прощаясь, он спрашивает разрешения подарить мне «свою книжечку – маленькую и грустную». Это «Перед раскрытыми делами» из библиотечки «Огонька».

Работа с пишущей машинкой требует определенных физических усилий, которые даются Разгону все с большим трудом...

– *А компьютер?*

– Не доверяю я ему. Стараюсь осилить свои три страницы в день, но это становится все труднее. Много выступаю по радио, это физически значительно легче.

– *Откуда вы берете силы?*

– Характер такой.

– *Какой?*

– Я Овен первоапрельский.

«Литература, как кровь, – говорит он, делая паузу, чтобы взять дыхание. – Гениальные писатели окрашивают ее в красный цвет, как кровяные тельца, но кровь состоит из многих других веществ. Бесцветных. Но они тоже – кровь». Подобно тому, как жизнь состоит из простых солнечных дней, на которых лежит отблеск тех событий, которые будут считаться жизненным подвигом.

Лев Разгон: «Я НАПИВАЮСЬ
КАЖДЫЙ ГОД ПЯТОГО МАРТА»

– Лев Эммануилович, зная вас, я воспринял как первоапрельскую шутку весть о том, что первого апреля вам исполняется девяносто лет. Но ведь на самом деле это означает, что вы должны помнить живой, а не книжной памятью все основные события уходящего века в России, за исключением революции пятого года.

– Да, я помню даже празднование трехсотлетия дома Романовых в 1913 году. Я жил тогда в городе Горки Могилевской губернии, где я родился. Там было восемь с половиной тысяч жителей, пять церквей, шесть синагог, один костел. Я пережил там много интересных дней, включая период, когда все вывески у нас в городе были на четырех языках. В Белоруссии было четыре государственных языка на равных основаниях: русский, польский, еврейский и белорусский. Это было в двадцатых годах. И вот там, в Горках – это было незабываемое событие для пятилетнего мальчишки, – праздновалось трехсотлетие дома Романовых. С иллюминацией, парадом потешных, когда приезжал губернатор.

А в пятнадцатом году я поступил в школу уже в другом городе, в Касимове Рязанской губернии, и там каждое занятие начиналось с пения «Боже, царя храни». Потом мы рвали царские портреты и знамена, и я никогда не думал, что в девяностых годах нашего столетия я, проходя по Арбату, опять увижу эти знамена и услышу, как поют «Боже, царя храни». Мне трудно понять нынешние восторги по поводу старого времени, которого никто из наших современников не видел.

– И по поводу сталинского времени тоже?

– Со Сталиным сложнее. Сталинское время многие из ныне живущих видели и многие были довольны теми временами, потому что им жилось неплохо.

– *По поводу сталинского времени существуют не только мифологические, но и вполне сознательные восторги.*

– Да, Россия разделилась на две части.

– *По поводу Сталина?*

– Не по поводу Сталина, а при Сталине. Недаром же Анна Ахматова сказала, когда начался великий исход из лагерей, что сейчас Россия разделится на две части: на тех, которые сажали, и на тех, которые сидели.

– *Была еще и третья часть, которая не сажала и не сидела, но она была так или иначе связана или с теми, или с другими.*

– Или она ждала. А как вы думаете: сколько людей должно было служить в лагерях? И весь этот аппарат. В тридцать седьмом году в Москве убивали две тысячи человек в день. Нужно было убить, закопать. А сколько было занято в предварительных идиотских процедурах, с протоколами, бумажками.

Я сейчас читал в «Русской мысли» о большом событии: о постановлении комиссии при папе римском о Холокосте и об отношении христиан к евреям. Это вообще большое событие, о котором у нас почти не писали.

– *Католическая церковь не очень торопилась с покаянием. Если нам от государственных антисемитов ожидать признания вины в таком же темпе, то дождутся только наши далекие потомки.*

– Я не о Холокосте сейчас говорю, а о сталинщине. Ведь это по крайней мере десять миллионов убитых.

– *Как считать. Всех жертв сталинщины не менее 30–40 миллионов.*

– Но вот этот геноцид против собственного народа не хочет государство признавать по сей день.

– *Замечательный же эпизод в Думе, когда отняли льготы у совсем уж немногих оставшихся в живых жертв репрессий и депутат Рыбаков попытался возражать – что там Жириновский кричал и как на это реагировала Дума. В ответ на эти подлые оскорбления в адрес миллионов безвинно пострадавших не было проявлено депутатами и сотой доли того пыла, какой мы видели чуть позже из-за того, что на кого-то побрызгали боржомом.*

– Я участвовал в создании общества «Мемориал». Какой был подъем и какие надежды! И я думал – вот оно, началось. И чем все это кончилось? Ничем. Кое-что нам удалось поднять из архивов, когда они чуть-чуть приоткрылись, кое-что удалось издать, в том числе часть расстрельных списков. Но ведь государство не дало на это ни копейки денег. Вот Френсис Грин, сын покойного Грэма Грина, распорядился отдавать все поступления от издания своих книг в России «Мемориалу». Вот на такие пожертвования все делается. И из самых богатых людей России никто ничего не дал. Само общество не хочет помнить о сталинском прошлом.

– А как отреагировала Государственная дума на законопроект, внесенный Московской городской думой, о признании уголовным преступлением попыток отрицать преступления тоталитарных режимов? Ни малейших шансов не было у этого законопроекта – а ведь подобные положения есть в законодательстве многих стран.

– У нас продают фашистскую литературу и существует полуфашистская организация – я имею в виду баркашовцев.

– Не лучшим образом ведет себя и православная церковь. Ведь отобрали для церковного прихода землю Бутовского полигона, где собирались устроить мемориальный комплекс в память захороненных там более двадцати тысяч расстрелянных советских людей. Кому-то нужна память, а кому-то – земельная собственность. Не хочу преуменьшать заслуги множества чиновников, которые очень много делают для сохранения памяти, но они это делают по личной инициативе по разным причинам: у кого-то родные погибли, у кого-то ума и совести побольше. Но государство как таковое к этому равнодушно.

– Единственное, что сделал Лужков для нас, – дал дом для «Мемориала».

– Ну, это по нынешним временам совсем не мало. И он не только это сделал.

– Верно. Но в обществе существует упорное сопротивление тому, чтобы сохранялось знание о страшном прошлом. Есть люди, заинтересованные в этом политически, а кроме того, есть желание избежать душевного дискомфорта. Зачем знать?

– Да, если не знать, то удобнее гордиться собой. Но не понимают, что это может повториться. Гарантия неповто-

рения сама не приходит, в обществе должна поддерживаться атмосфера невозможности повторения. Ведь смог же Трофимов, преследовавший диссидентов и возглавлявший еще недавно московское управление ФСБ, засадить Орехова, помогавшего в свое время диссидентам.

– Я знаю это по делам президентской комиссии по помилованию, в которой я состою. Мы помиловали Орехова и только так смогли его освободить. Другого способа не было. И Трофимов не один такой, они никуда не делись.

– *Но они не понимают, что машина террора не щадит никого, они сами не будут застрахованы, если пустят ее в ход.*

– Да, эта технология так странно устроена. Я был арестован в апреле тридцать восьмого года. Я пережил тридцать седьмой. И помню это ощущение страшного давящего страха. Я знал, что меня посадят. Но множество людей, с которыми я общался, считали: меня это не коснется, не может коснуться, я-то знаю, что я не виноват. И сейчас многие не понимают, что если это развязать, то никому не надо рассчитывать на пощаду. Страх был главным орудием сталинской власти, с помощью страха он всю страну держал за шиворот. Для этого и уничтожалась масса людей, абсолютно лояльных Сталину: чтобы все боялись. И он знал, что палка должна опускаться непрерывно. В этом смысле не произошло достаточных изменений по сравнению с прошлым. ФСБ такая же закрытая организация, каким был КГБ, общество ничего не знает, что там происходит внутри. А раз не знает – значит, боится.

– *Что же надо сделать, чтобы это изменилось?*

– Должно смениться поколение. Вот я с удовлетворением воспринял выдвижение Кириенко на пост премьера именно потому, что он молод.

– *Ох, это недостаточное соображение. Я не раз встречал людей моложе себя, из поколения, вошедшего в политическую жизнь в застойные годы, более склонных к восприятию сталинских догм, чем наше поколение, пришедшее в пору хрущевской оттепели.*

– Потому что они не знали. В застойное время было сделано все, чтобы никто ничего не знал.

– *Да, суловские идеологи были достойными продолжателями дела Сталина. Он постарался запудрить народу мозги со всех сторон.*

– Вы никогда не видели Сталина?

– *Нет.*

– Я видел много раз. Это было страшно. Завораживающе и страшно.

– *Только страшно, или он убеждал?*

– Вы знаете, я, видимо, остался последним в живых, кто был на семнадцатом съезде партии – том знаменитом «съезде победителей», про который во времена оттепели печально острили: победителей не судят, их расстреливают без суда. Я там был в качестве гостя и присутствовал на том заседании, на котором оглашались результаты выборов. Список избранных в состав ЦК был составлен не по алфавиту, а по количеству поданных голосов. И вот читают: первый – Калинин. Не Сталин. Потом Ворошилов. Не Сталин. Киров. Не Сталин. Сталин был восьмым или девятым. И это молчание зала, когда произнесли первую фамилию, и она была – не Сталин. Как будто ангел смерти пролетел. Я не знаю, понимали ли они, что не останутся в живых, но какое-то предчувствие возникло.

– *Упорно говорят, что его вообще не было в числе избранных, и счетная комиссия его туда вписала.*

– Но если это так, то они не решились вписать его первым.

– *Как вы думаете: Россия была неотвратимо обречена пережить все это, что-то такое было заложено в ее политических генах, или все-таки мог быть избран иной путь при каком-то другом сочетании личных факторов?*

– Менталитет народа и политические традиции закладывались веками. И, оглядываясь назад, я думаю, что Россия, начиная с Петра, была обречена. Потому что, начиная с Петра, было подавлено самое главное: достоинство человека. Когда говорим, какую Россию мы потеряли, то забываем: крестьян освободили, но после того их пороли по приказу земского начальника. До февраля семнадцатого года официально солдат пороли. Не говоря уже о том, что им говорили «ты» и били их по морде.

– *По морде бьют и сейчас, только неофициально.*

– Так это и есть наше прошлое. Это и есть продолжение прошлого. Хамство и холуйство – это две стороны одной медали. Мы ничего не сделали, чтобы одолеть это. А единствен-

ное, что нужно сделать, – это бороться за достоинство человека и выращивать в нем чувство достоинства. Для этого нужна защищенность, а наша действительность не дает больших оснований верить в защищенность.

Я шесть лет работаю в комиссии по вопросам помилования, и каждый вторник мы обсуждаем толстые папки дел, которые предварительно просматриваем. И я вижу, какая страшная, недостойная жизнь, когда люди убивают друг друга: мужья – жен, жены – мужей, родители – детей, дети – родителей. Большинство дел, которые мы рассматриваем, – это убийства. За которые суд, между прочим, часто дает три-четыре года. Потому что убийства оказываются иногда единственным способом развязывания каких-то бытовых узлов. Потому что разведенные муж и жена вынуждены жить в одной квартире. Потому что дети вынуждены жить в такой среде. Это – недостойная жизнь. Я знаю и то, что творится в следственных учреждениях. И я все это готов простить за одно: за то, что сейчас есть свобода слова.

– *Пока есть.*

– Пока есть. И мне представляется это главным, за что надо держаться изо всех сил.

– *Что до убийств, я думаю, много страшного оставили после себя две войны: в Афганистане и в Чечне. Человеку это несвойственно, большинство людей не в состоянии убить своими руками. А там солдат этому учили.*

– Да, у нас в комиссии проходит очень много «афганцев».

– *Мы же знаем по американскому опыту вьетнамский синдром, а законы человеческой психологии одни, и мы имеем таких же несчастных.*

– Таких же несчастных. И мы вспоминаем об этом, когда смотрим дела «афганцев» в нашей комиссии. Не потому, что они имеют заслуги как «интернационалисты», а потому, что это жертвы. У нас ведь нет социальной помощи и для тех, кто вышел из заключения. А они ведь тоже в этом нуждаются.

– *Может быть, вы и правы, что мы были обречены. У нас исследование корней сталинизма чаще всего сводится к рассмотрению личности Сталина. Но ведь один человек не может покорить страну, ему в его преступлениях должны были помогать миллионы. Страна должна была его ПРИНЯТЬ. Для торжества хамства необходимо холуйство.*

– Что вы хотите, когда виднейшие демократы восхваляют царя Петра. А ведь это был человек, которому Россия обязана тем, что она не стала европейской страной.

– Почему так? Он вроде был за европеизацию.

– Он ездил по Европе, когда там были свободные крестьяне. Когда там были ганзейские общества, развивалась свободная торговля. И он ничего не понял, он брал оттуда только военную технику. Изучал кораблестроение, а личность осталась ничем. Он создавал промышленность на основе крепостного права. Он дарил промышленникам заводы с крестьянами. И вся казенная промышленность была крепостнической. При нем население России убавилось на четверть!

– Да, в нашей современной демократической идеологии есть пристрастие к восхвалению всех реформаторов без разбору, независимо от реальной сущности их реформ. Вплоть до того, что Гайдари приписывают дальнее родство со Столыпиным.

– Я был другом его дедушки и могу сказать, что ни Аркадий Петрович Голиков, ни его супруга к Столыпину отношения не имели.

– А Аркадий Петрович был хороший человек?

– Очень. Очень интересный и глубоко несчастный.

– Вы с ним встречались в тридцать седьмом году?

– Последний раз я его видел в феврале тридцать седьмого. Ему исполнилось тридцать три года. Я ему говорю: «Возраст Христа, пора распинать». Он говорит: «Да, ты же из распинальщиков». Он имел в виду, что я был в Детгизе редактором, а он был нашим автором. Я ему говорю: «Аркадий, когда тебя распнут, посмотри направо. Я буду на соседнем кресте. Только я буду разбойником, а ты Христом».

– Мне кажется, что его «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Тимур» содержат глубоко зашифрованный, но достаточно прямой ответ на события тридцать седьмого года. Там все время проходит мотив: человеку надо верить. А уж то, что главный герой «Судьбы барабанщика» – сын заключенного-беломорканальца, – это совсем прямой ответ на происходившее. Как вам кажется?

– Вы знаете, некоторые исследователи его жизни полагают, и я с ними согласен, что его смерть была самоубийством. Когда он взял пулемет, сказал: я вас буду прикрывать,

и остался один – это было не случайное решение. Он искал смерти.

– А может быть, было не самоубийство, а убийство? На войне очень легко устранить нежелательного человека – в бою пуля прилетела не с той стороны, и все.

– История еще не написана. Есть много такого, чего мы не знаем и не узнаем.

– Да вот про смерть Орджоникидзе сначала Сталин объявил, что это сердечный приступ, потом Хрущев рассказал, что это самоубийство, а сейчас в архивах открыты такие документы об отношениях между Сталиным и Орджоникидзе, в последние дни Серго, что приходится думать: это убийство.

– Скорее всего – убийство. Мне рассказывали люди, которые очень многое знали, что это было убийство. И что Зинаида Гавриловна зажата была так, что она не смела и слова сказать. Орджоникидзе был обречен на гибель.

– Он знал об этом? Он не был наивным человеком?

– Я вам расскажу такой эпизод. Другом моей юности был Яша Джугашвили, сын Сталина. Яша был не в ладах с отцом, жил один, со своим дядей. И вот случилось так, что наших общих друзей арестовали в феврале тридцать пятого года. Причем людей, которые жили в Кремле! Андрея Свердлова и Димку Осинского. И вот Яша стал кричать: «Я сейчас пойду к отцу, я пойду к отцу!» Я ему говорю: «Яша, не ходи». Он говорит: «Нет». Я говорю: «Яша, обещай мне, что ты посоветуешься с Серго». А Серго обожал Яшу. Вот он пришел, я спрашиваю: «Ну что? Что тебе сказал Серго?» Он сказал: «Если ты пойдешь к отцу, то знай: кровь этих ребят будет на тебе». Серго не был очень умным человеком, и наивности в нем было много, но кое-что знал, не мог не знать. В тридцать седьмом арестовали его брата, крупного военачальника, и он ничего не мог сделать.

Но вернемся к нашим дням. Как сохранить человеческое достоинство – главная задача. Как вырастить сознание необходимости достоинства.

– В одной радиопередаче мне был задан вопрос, что я считаю главным итогом двадцатого века. И я сказал: главное – мы выстрадали понимание ценности человеческой личности. Мы начинали с того, что «единица – вздор, единица – ноль», а пришли к тому, что человеческая «единица» должна быть

целью всех усилий общества. И вы бы знали, какое злобное письмо я получил от незнакомого радиослушателя. Как я смею такое говорить, когда из-за этих демократов все так ужасно. Он даже не понял, что я сказал. Я не сказал, что сейчас все хорошо для личности. Но я сказал, что мы поняли, как должно быть. Он о существовании дела и не думал, но почувал, что замахнулись на привычное холуйское миропонимание, когда можно ходить строем и ни о чем не думать.

– Советская власть жива. Сталин не умер вчера, как было сказано. Он жив, хотя я и пережил его на сорок пять лет. Пятого марта я напился. Я каждый год напиваюсь в этот день. Я это сделал еще в пятьдесят третьем, в лагере. Тогда это стоило мне и счетоводу продстола десять банок тушенки и двести рублей, но солдат из охраны принес нам двести граммов. Я знал, что я живу в соревновании со Сталиным и что, пока он жив, я буду сидеть. И я еще дважды в лагере пил, меня освободили в июне пятьдесят пятого.

Лев Разгон: «ОБЩЕСТВО ЗАБЫВАЕТ,
ЧТО БЫЛ 37-й ГОД»

– Лев Эммануилович, мы вместе с нашими читателями поздравляем вас с девяностолетием. Какие чувства испытываете вы, по сути, ровесник этого мятежного и трагического века?

– Я хотел бы сказать вот о чем. О нравственном состоянии нашего общества. И это грустные размышления не только об обществе, но и о самом себе. 90 лет – в определенной мере конец жизни, время окончательных итогов.

Я не буду говорить о всей моей жизни. Она долгая, разная, сейчас я хочу сказать о той жизни, которая у меня началась в 55-м году, когда я приехал из лагеря, где провел 17 лет. Но и в самые плохие дни и часы, которые перепадали мне в годы несвободы, я с некоторым злорадством, да и не только со злорадством, думал: я им все напомяну. Вот если останусь в живых – я верил, что останусь, это одно из условий существования человека, тому, кто не верит, не выжить, – в самые крутые моменты я был убежден, что если выживу – я им все напомяну, я все расскажу. Потому что я был все-таки литератор.

Каждый раз, когда исчезали, уходили, пропадали люди, мне знакомые, – а среди них были необыкновенно интересные личности, – я с отчаянием думал: боже мой, кто их вспомнит? Я так же жил, и там же жил, и то же ел, и так же работал, как все, но вот я жив, а их нет. И когда я освободился, то первая мысль была: ну теперь я могу вспомнить это. Шел 55-й год, и я понимал, что очень больших возможностей мне не представится, но я был воодушевлен событием, которое произошло за два с половиной года до моего освобождения. Я в лагере пережил смерть Сталина. Это мой праздник.

– *Вы начали писать о пережитом?*

– Я сразу же после освобождения попал на волю в момент хрущевской оттепели. Это была пора, когда возникла наивная вера в то, во что поверил Дубчек, – в возможность социализма с человеческим лицом. И первое время я, конечно, даже не вспоминал о лагере, я входил в новую жизнь. Ну а потом постепенно я начал думать не о сегодняшнем дне, а о вчерашнем. О том, что произошло. И начал понемножку писать.

– *Вы собирались тогда публиковать свои воспоминания?*

– Нет, конечно. Я писал для себя, в силу профессиональной привычки: то, что думаешь, записывать, но я бы слукавил, если бы сказал, что был уверен, что мои воспоминания никогда не найдут читателя.

И вот наступило то, что наступило, – крушение советской власти. Началась другая эра. Я был один из тех вернувшихся, которые верили: необходимо, чтобы прошлое стало известно во всех подробностях. Потому что это единственное средство избежать такого же будущего. Я принял активное участие в организации и работе «Мемориала», помогая Андрею Дмитриевичу Сахарову. И потом – это было как чудо – один мой хороший знакомый, работавший в «Огоньке», когда я начал читать мои воспоминания друзьям, сказал: «Дайте мне ваш рассказ «Жена президента». Мы попробуем его напечатать». Коротич умирал от желания напечатать рассказ, но и от страха, что тот будет напечатан. Но он, как говорится, поставил тогда на перестройку и все-таки дал добро на публикацию.

Я много писал, куда интереснее сюжеты были, но этот рассказ произвел тогда кинжальное впечатление. «Огонек» печатался огромным тиражом, его все читали. И я узнал, что такое популярность. Мой племянник, Леня Разгон, которому было года двадцать два, однажды нарушил движение. Его остановил милиционер и потребовал документы. Взяв паспорт, спросил: «Скажите, это вы сидели в лагере?» – «Да», – скромно опустив глаза, ответил Леня. «Идите и, пожалуйста, больше не нарушайте...» А потом вдруг пришли ко мне из «Юности», забрали почти все написанное и начали публиковать в журнале, тираж которого был три с половиной миллиона. А затем пришли из издательства «Книга», и у меня вышла книга. И, казалось бы, я достиг того, чего хотел. Вот я пишу, я вспоминаю, и это печатается. Я работаю в обществе «Мемориал», мы собираемся чуть

ли не памятник грандиозный в Москве поставить. И даже конкурс объявлен. А потом это все стало уходить в песок...

– Работа по восстановлению исторической правды перестала быть нужной?

– То, что произошло в проклятые годы сталинизма, собственно, было самым страшным преступлением в XX столетии. В нашей стране своими же соотечественниками было убито около 20 миллионов человек. Это был геноцид против собственного народа. И он прошел и остался до сих пор практически незамеченным.

Дело не только в том, что все преступления, которые были совершены, остались безнаказанными. И не в том, что государство, которое официально объявило себя правопреемником того, сталинского государства и этим взяло на себя всю ответственность за его преступления, ни разу не извинилось. Не попросило прощения, не покаялось. Не помню, у кого я прочитал, что когда Аденауэр из поверженной Германии приехал в Иерусалим и у Стены Плача стал на колени и попросил прощения, то с колен поднялась вся германская нация.

Есть что-то чудовищное в том, что весь мир продолжает сопереживать жертвам сталинских преступлений, весь мир, но только не мы!

– Лев Эммануилович, но такое просто невозможно. Сотни тысяч, миллионы людей у нас в стране были потрясены той правдой, которая прорвалась со страниц газет и журналов, книг и с экранов телевизоров. А ваша книга – о ней спорили, ее было не достать в библиотеках, ее одалживали у знакомых...

– Я мог бы сказать, что у меня счастливая писательская судьба. Моя книжка «Непридуманное» вышла на всех почти европейских языках. И продолжает выходить. В России моя книга сегодня не вызывает никакого интереса. Если бы вызывала интерес, то она издавалась и продавалась бы. В последний раз она вышла в 94-м году тиражом 5 тысяч экземпляров, дополненная, под названием «Плен в своем отечестве».

Широкий читатель этой темой сейчас не интересуется. Он интересуется детективами. Общество не хочет вспоминать то время. Удивительно, но во многих странах есть музеи, посвященные тому, что у нас происходило. У нас такого музея нет. В доме Сахарова, в Сахаровском центре, в коридоре висят фотографии, посвященные лагерям, 37-му году. И все.

Фонды КГБ были и остаются закрытыми, а архивы МВД на какое-то время приоткрылись, и там мы напоролась на фонд номер 7 – об исполнении расстрелов. И так появилась возможность выпустить две книжки со списками расстрелянных. Но это только по двум кладбищам, по двум местам. А сколько было еще? В 37-м году в Москве иногда за один день расстреливали до двух тысяч человек.

И удивительное дело: наша печать, которую называют «желтенькой», очень любит смаковать ужасы. С какими жуткими подробностями описывалось убийство царской семьи! Но ведь список жертв ими не исчерпывается. А как вообще мы убивали своих? Вот как убивали немцы, фашисты – это известно во всех подробностях. Как вели, как этапировали, как жгли, как вешали. Все известно. А у нас как было? В одном рассказе я написал, как мне удалось побывать в расстрельном доме на Никольской, где находилась Военная коллегия Верховного суда. Суд длился десять-пятнадцать минут, и сразу же после него расстреливали. И вот, еще в разгар «Мемориала», когда членом его совета был Ельцин, у нас возникла мысль устроить там музей. И нам с Евтушенко и покойным Алесем Адамовичем удалось попасть в этот дом, где тогда помещался военкомат. Прапорщики пустили на в подвал. Я написал про эти подвалы, про эти пандусы, с которых вытаскивали горы трупов и перебрасывали в машины... Ни один репортер, даже любящий «жареное», никогда об этом не написал. Так же, как никто не написал про страшный дом на Лубянской площади.

– Почему же общество не желает слышать напоминаний о годах террора?

– Немалая часть нашего общества – это люди, сами или генетически замешанные в преступлениях. Посчитайте, сколько нужно было людей для того, чтобы провести через лагеря 15–20 миллионов? Сколько надо было людей, чтобы арестовывать, допрашивать, расстреливать, этапировать? Вероятно, почти столько же, сколько и сидело.

Причем надо учесть и то, что большинство сидевших не дожило, осталось там, в лагерях. А другой части ничто не угрожало, они остались жить. Народили детей и, думаю, генетически передали им – или не генетически, в силу обязанности воспитывать – свою ненависть к зекам. А ненависть к зекам естественна. Ненавидишь всегда тех, кому причинил зло. Толь-

ко этим можно объяснить ту злобу, с которой Жириновский обрушился на закон, по которому этим зекам хотели подбросить по 500 рублей. При полном зале Жириновский встал и закричал: «Ни копейки! Тем, которые против советской власти выступали, мерзавцы? Отнять у них!» И Дума урезала в два раза крошечную паечку. И никто не встал. Никто не поднял голос. А ведь, кроме элдэпээровских горлопанов и коммунистов, там есть и порядочные люди. Но никто не подошел и не врезал ему по морде.

– Но ведь такое разделение общества, о котором вы говорите, не может быть единственной причиной постигшего его исторического беспамяатства...

– Люди не хотят вспоминать былое, потому что им некомфортно от этого становится. Дело в том, что все общество, и прошлое, и настоящее, несет ответственность за совершенные преступления. Все мы несем ответственность за то, что было с нами в течение восьмидесяти лет. А мы ее не хотим признать и готовы свалить на кого-нибудь другого. Более того, постепенно, потихоньку, понемножку, общество начинает вспоминать 37-й год уже снисходительно. Вот проскользнуло в печати сообщение, что Верховный суд РФ заменил Абакумову и десятку палачей смертные приговоры двадцатью пятью годами, хотя все они расстреляны давным-давно.

– Честно говоря, не понимаю, какой вообще смысл в подобной акции? Как будто у Верховного суда мало других дел!

– А, есть в этом смысл. Палачи все равно расстреляны, но реабилитирована их память. Как бы частичная реабилитация. Родственники их получают определенные права что-то просить. Вот им в отличие от зеков дадут и льготы, и пенсии. Разговоры, что мы идем к гражданскому обществу, – пустые разговоры. Потому что какое может быть гражданское общество, если мы не осознали до сих пор то, что происходило и происходит. А значит, мы не сознаем, и какие мы сейчас.

– Получается, мы все в современном нашем обществе нравственно уязвимы?

– Не только уязвимы, но и беззащитны перед теми силами, которые могут встать. Вот так же, как мы беззащитны, например, перед нашим парламентом, извините за выражение, Государственной думой. Мы же сами их выбирали, всю эту компанию! А сколько среди них связано с криминальным миром!

С какой ненавистью и отвращением Дума отвергает всякую попытку лишить депутатов иммунитета, неприкосновенности! Железно защищают своих. Парламент представляет общество. Какое же это общество, если у него подобный парламент?

Вот такие грустные у меня мысли накануне моего девяностолетия. Все-таки мои мечты не сбылись. То, на что я надеялся, с чем пришел на волю, так и не осуществилось. Я чувствую свою вину в этом. Но видит Бог, хотя говорят, один в поле не воин, – я старался быть воином. Я много писал и пишу. И выступаю. По телевидению, по радио. В меру тех возможностей, которые мне дают мой возраст и здоровье. Но главное, к чему я стремился, чего я хотел, добиться не удалось. Ни мне, ни обществу. Это грустные итоги не только моей жизни, не только жизни моего поколения, которое уже почти исчезло, но и тех, кто идет нам на смену.

– *Значит, опять остается старое лагерное – «не надейся и не жди»?*

– Нет, я жду, я надеюсь. И прежде всего я очень надеюсь на тех, которые сейчас пошли в первый класс.

Из цикла бесед

«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»

– Москва – главный город в вашей жизни, я знаю – вы считаете себя москвичом. Почему вы никогда не писали о Москве?

– Трудный вопрос. На вопрос – почему что-то не написал? – писателю вообще трудно ответить. Не получилось. Времени не хватило. Или просто не пришло в голову. Хотя я знаю о Москве очень много.

– Давайте немножко повспоминаем. Я не буду задавать вопросы.

– Впервые я попал в Москву в 1923 году, мне было пятнадцать лет. Я был обуреваем жадной перемен, жадностью к новым впечатлениям. Я был счастлив от одной только мысли, что буду жить в Москве. Никакие трудности предстоящей жизни и проблемы нашей семьи не занимали меня, просто не доходили до моего сознания. Мир вокруг был так прекрасен. Жить было так интересно.

Первая моя прогулка по Москве была пешая, от Александровского вокзала до дома № 52 по Большой Ордынке, дома, где прошла моя юность, дома, который долгие годы был нашим родовым гнездом, где до войны жили моя мама, отец и моя дочка Наташа, а после войны – мама и Наташа. Сюда, на Ордынку, примчался я нелегально в конце сорок пятого года, чтобы увидеть их.

А тогда, летом 23-го, я был ошеломлен и счастлив, в этом новом и необычном московском мире, в который я попал, все было непривычно: люди, витрины магазинов, трамваи, пролетки, автомобили. Мы долго шли через всю Москву, и я с волнением и радостью узнавал знакомые мне с детства по кни-

гам и по картинкам места. Правда, я был настолько переполнен восторгом, что все в моей голове перепуталось и даже Красную площадь я не разглядел как следует от этого восторженного гула в голове – я приехал в Москву.

Дом наш на Ордынке был типичным старомосковским деревянным домом, добротным, из дубовых бревен, с мезонином и парадным крыльцом, с большим садом во дворе, с плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и кустами сирени. Правда, это последнее обстоятельство меня ничуть не привлекало, я без сожаления оставил все эти прелести в Горках. Поскольку в доме не было ни канализации, ни водопровода, мне гораздо интереснее было ходить за водой к колонке на Серпуховской площади. Там гудела настоящая Москва.

Москва-столица, настоящий, большой город – вот что влекло меня неудержимо.

Со старым планом Москвы, вырванным из книги «Вся Москва», и куском хлеба в кармане я исходил весь город вдоль и поперек. Я был свободен и счастлив, казалось мне, нет человека, счастливее, чем я.

1923 год – расцвет нэпа, фантастическое время, нынешнее поколение даже представить себе не может странную, почти неправдоподобную атмосферу тех лет. Жизнь казалась театром, игрой, маскарадом. Воскрес, казалось, из небытия мир купцов, коммивояжеров, фабрикантов, лавочников, фальшивомонетчиков, проституток и воров. На месте сегодняшнего Зала им. Чайковского было казино с рулеткой, с «золотым столом», где ставка была не меньше червонца. Частные магазины и рестораны с дореволюционными вывесками: «Молочные Чичкина», «Трактир Тестова», «Яр», «Медведь». Артист Ярон был хозяином московского театра оперетты. Даже асфальт на улицах не был бесхозным, о чем свидетельствовали впечатанные в него медные таблички с именем владельца. Возродились частные книжные издательства. Появились тысячи безработных.

Какие-то штрихи той жизни угадываю я в сегодняшней Москве. И честно говоря, не знаю, радует ли это меня. В разгуде нэпа явственно выделась добропорядочность старого купечества, не было рэкетиров, заказных убийств, бандитских разборок, не было ничего подобного нынешнему беззаконию и повальной жестокости.

А где сегодня люди, жертвующие свои капиталы на поддержание российского искусства, на благотворительные нужды? Их нет пока. А вызывающая роскошь балов, презентаций и низкопробных шоу не идет на пользу обществу. Это мыльные пузыри.

Однако не сомневаюсь в том, что если не сами «новые русские», то их дети или внуки научатся меценатству (или вернутся к нему). В России так было всегда. Время все поправит. И будущие поколения будут гордиться сегодняшними Третьяковыми и Морозовыми, их имена будут знать все.

– А что вы скажете о сталинской Москве, о тех переменах, которые происходили у вас на глазах в 30-е годы?

– Да, в конце 30-х годов Москва стала меняться с такой быстротой, что трудно было узнать даже самые известные московские улицы. Безжалостно и бездумно сносились древнейшие здания, творения великих архитекторов, уничтожался тот облик города, который придавал ему прелестное своеобразие. Московский дух, московский колорит беспощадно вытравлялись. Больно было это наблюдать.

Товарищ Сталин, главный архитектор тоталитарного режима, стал одновременно и главным архитектором столицы.

Он не остановился даже перед тем, чтобы посягнуть на самое святое место города, страны, истории народа – на Московский Кремль. Были снесены два исторически известных монастыря – Чудов и Вознесенский – для того, чтобы на их месте возвести казарменный корпус для привилегированной военной школы. По этому невыразительному и претенциозному зданию можно было судить о вкусе Сталина-архитектора и можно было предположить, как покалечена и изуродована будет старая Москва в погоне за псевдовеличием и помпезной монументальностью.

Вместо небольших и уютных старомосковских домов воздвигались огромные, пышные здания, главными приметами которых было изобилие мрамора, лепнина, позолота, не несущие никакой нагрузки колонны, до отвращения плохая скульптура – установленные в специальных нишах и проемах статуи рабочих разных профессий с киркой или молотом в руках, полногрудых колхозниц со снопами колосьев, спортсменов с одинаково напряженными мышцами и лицами. Тотальная безвкусица.

Даже московские памятники не обошло это переустройство. Памятник Гоголю, один из самых замечательных памятников Москвы, работы выдающегося скульптора Николая Андреевича Андреева, установленный в Москве в 1909 году, не понравился Сталину. И он приказал заменить его другим – более оптимистичным. Приказ был исполнен. К счастью – скульптор не дождался этого, к счастью – памятник не уничтожили, а перенесли во двор арбатского дома, где жил писатель. А на месте памятника работы Андреева стоит другой памятник Гоголю, поражающий безвкусицей и бездарностью.

В архитектурном облике Москвы, вытесняя все, устанавливался стиль безвкусной помпезности. Искусствоведы-градостроители с горечью вспоминали слова великого римского архитектора Витрувия: «Кто не умеет строить красиво – строит богато». Впрочем, высказывали это мнение осторожно и отнюдь не публично, никто не отважился заступиться за старую Москву открыто, наступали тревожные времена повального страха. Лишь отчаянные смельчаки вслух называли создаваемый Сталиным градостроительный стиль «ампир во времена чумы».

В самом деле, в те годы руководство государства делало все возможное и невозможное, чтобы в стране, а в столице в первую очередь, царил атмосфера пира, непрерывных празднеств и торжеств. Причем – по любому поводу. Годилось все, даже несчастье, например, гибель парохода «Челюскин» и вывоз со льдины уцелевших его пассажиров. Построили самый большой в мире самолет «Максим Горький» – он разбился. Запустили самый большой в мире стратостат, чтобы он к открытию партийного съезда поднялся на рекордную высоту – выше всех в мире, – стратостат потерпел крушение, погибли отважные люди, члены этого экипажа. И это не было помехой: пышный праздник или пышные похороны – не имело значения. Прощаясь с героями, народ тоже ликовал, та же толпа, те же флаги и транспаранты, те же слова восхваления.

Мы самые великие – вот что хотели внушить народу. И наше величие – во всем.

Жизнь Москвы в 30-е годы напоминала непрерывное шоу, как сказали бы сегодня: бесконечные народные гулянья, манифестации, огромные транспаранты на фасадах и крышах домов, и портреты Сталина повсюду, и бюсты Сталина всех

размеров в самых неподходящих местах. И повсеместное прославление Сталина, которому приписывались заслуги во всех без исключения областях жизни и деятельности человека. До неприличия, до смешного, когда уже невозможно было понять – Чкалов совершил беспосадочный перелет в Америку или Сталин. Недаром в дни, когда в Москве до непристойности пышно, как можно было бы отмечать столетие со дня рождения великого поэта, отмечалось столетие со дня его трагической гибели, ходил такой анекдот: «Объявлен конкурс на новый памятник Пушкину. В финале конкурса два проекта – Пушкин, который держит в руках книгу Сталина, и Сталин с томиком Пушкина в руках. Победил второй проект».

Все виды искусства были мобилизованы на то, чтобы создать и поддерживать в народе неугасающе радостное настроение. Началось массовое производство кинокомедий (иногда очень талантливых, как, например, фильмы Григория Александрова), в которых народ хором пел песни о своей счастливой жизни. Ставились новые советские оперетты, в театрах появились современные комедии. Даже проклятый Горьким джаз стал появляться в больших концертных залах.

Власти делали все возможное, чтобы вытравить из памяти людей недавние страшные голодные годы, карточки и пустые магазины начала 30-х. Внешнее изобилие било в глаза – магазины были завалены недоступными подавляющему большинству населения испанскими винами, коньяками и апельсинами, ввозимыми в страну в обмен на оружие, которое мы поставляли в Испанию.

Переполненные магазины, массовые гуляния по любому поводу, непрерывной чередой так называемые «декады искусств» всех национальных республик, входящих в Советский Союз, грандиозные концерты и смотры в самых больших залах столицы.

Выражение радости и счастья стали обязательными для всех. Это настолько бросалось в глаза, что даже писатель с мировым именем Лион Фейхтвангер, полюбивший Сталина и поверивший каждому его слову, в своей знаменитой, насквозь лживой книге «Москва. 1937» написал: «Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки – все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь, они утопают в этом оптимизме и как ораторы, и как

слушатели. Власти же стараются поддерживать в них это настроение. Стандартизованный энтузиазм, в особенности, когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности».

Даже Фейхтвангер, ничего не разглядевший и не понявший в Москве 37-го года, усомнился в истинности всенародного энтузиазма.

– А что можете сказать вы – человек живший в те дни в Москве, видевший и знавший ее под разными углами зрения, пусть даже и без сегодняшнего вашего знания, опыта и переосмысления всех событий той жизни?

– Да, почти уже не осталось людей, которые могли бы сегодня поспорить с чудовищной неправдой, которой насквозь пропитана книга Фейхтвангера. Я прожил в Москве весь 37-й год и еще несколько месяцев следующего, пока со мной не случилось то, что случилось с сотнями тысяч моих земляков. Нет, я уже в 37-м году настоящий москвич, не стану спорить с писателем, который, пробыв в моем городе всего несколько недель, отважился поведать миру о его безмятежном величии и праздничности. Несмотря на десятилетия, которые отделяют меня от того рокового года, я сегодня вижу и помню Москву тех страшных дней во всех мельчайших подробностях, которые и составляют картину жизни.

И все же не могу не вспомнить опять Фейхтвангера, не цитируя, а по памяти – он писал, что Москва застроена богатыми монументальными зданиями, клубами, дворцами спорта, красивыми и просторными библиотеками, что по ночам она сияет огнями, как ни один город мира, что москвичи любят гулять по улицам и проводить время в своих клубах. Все чистой воды неправда.

О новой московской застройке тех лет я уже говорил. Были, конечно, в центре старомосковские улицы, хорошо освещенные, милые сердцу любого москвича. Но гулять по ним в те годы не любили, даже те, кто жил на этих улицах, старался пройти поскорее, а чаще пользовались обходными путями – переулками и проходными дворами. Улицы эти официально назывались «режимными» и жить на них было очень неудобно, несмотря на дореволюционные бытовые удобства: всех жильцов, а это могли быть только коренные москвичи, тщательно и неоднократно проверяли, окна всех домов, выходя-

щие на улицу, было запрещено открывать даже летом, каждый гость должен был пройти паспортный контроль и зарегистрироваться. За нарушение «паспортного режима» в Уголовном кодексе была предусмотрена статья, по которой можно было получить тюремный срок.

Такие строгости объяснялись очень просто – по этим «режимным» улицам проезжал Сталин. Самой «режимной» улицей был некогда любимый москвичами Арбат, который в Москве 37-го года втихомолку называли «военно-грузинской дорогой». Это был главный наземный путь товарища Сталина из кремлевской резиденции до «Ближней дачи», где он постоянно проживал. Я говорю «наземный», потому что существовал и подземный тоннель, ведущий из Кремля за город.

Однако Сталин любил ездить по своему городу, по своей «военно-грузинской дороге» и днем, и вечером, и ночью. Поэтому круглосуточно в подворотнях и у подъездов всех домов дежурили хорошо всем знакомые люди в штатском, они прохаживались и по тротуарам, вглядываясь в каждого прохожего. «Топтуны» – их знали все москвичи. Эти бессменные вахты несли на случай, если по улице вдруг промчится кавалькада машин, и чтобы никто в этот момент, упаси боже, не выскочил на улицу. Дрожали от страха «топтуны», дрожали случайные прохожие.

Атмосфера страха сгущалась над городом.

– Мне кажется, что вы говорите это сегодня, с позиций человека, пережившего и осмыслившего то страшное время. Может быть, большинство москвичей ничего этого тогда не чувствовали, не понимали, не замечали?

– Люди могли не понимать, не знать, не желать разобраться в происходящем, искренне верить в правоту дела партии, но не видеть они не могли. Были такие приметы жизни города в то время, которые нельзя было не замечать, не слышать, не видеть даже тем, кто считал себя непричастным ко всему происходящему. Топот ног в ночном подъезде, стук в дверь, визг тормозов под окнами, исчезнувшие соседи, с которыми еще вчера здоровался и разговаривал. Во многих московских домах не было лифтов, и, поднимаясь по лестнице, нельзя было не видеть опечатанные двери квартир А тревожные утра на работе – в учреждениях, больницах, школах, повсюду шепот – такой-то не явился на работу, и все прячут глаза друг от

друга, затаив страх. И каждый знает, о чем другой думает. А почти ежедневные рабочие собрания, на которых осуждали очередного врага, затесавшегося в ряды честных тружеников (врачей, ученых, артистов, рабочих)? Еще вчера он был своим, а сегодня – враг, и готова резолюция, и из президиума зорко следят за голосованием – осуждение должно быть единодушным. А если это твой давнишний друг?

Нет, никто не может сказать, что он с этим явлением не столкнулся. Люди были подавлены и раздавлены страхом. Этот страх прочно засел в сознании москвичей. Кто не помнит тревожные утренние звонки – боялись плохих вестей, а если кто-то из друзей или близких не подходит к телефону, то первая мысль – неужели взяли?

Был в Москве дом-символ этого времени, его нельзя было не заметить, даже если тебе не случалось проходить мимо, то рассказы о нем ты не мог не слышать. В Москве этот дом называли «домом правительства», а в литературу он вошел, как «дом на набережной». Огромный, охватывающий по периметру целый квартал многоэтажный, многоквартирный серый дом, построенный в начале 30-х годов с максимальным по тем временам комфортом и удобствами для государственно-партийной элиты. Туда они и переселились из Кремля, из фешенебельных гостиниц «Метрополь», «Националь» и других мест временного проживания со времен переезда правительства и партийной верхушки из Петрограда в Москву. Дом этот ослепительно сиял огнями тысяч окон, освещая все прилегающие улицы, он бросался в глаза, его нельзя было не заметить. И конечно, нельзя было не заметить, что к началу 37-го года в этом море огней стали появляться темные пятна, их становилось все больше и больше, фасад дома, мимо которого спешили прохожие, катастрофически темнел. К концу 37-го года в «доме на набережной» почти не осталось освещенных окон.

Нет, этого нельзя было не заметить. И не задаться вопросом – что же происходит? И не почувствовать страх, даже если живешь ты в доме совершенно другого типа.

В городе появлялись и другие приметы чумы тоталитаризма. Во многих районах Москвы на магазинах, где раньше продавались канцтовары или галантерея, стали появляться наспех сделанные новые вывески «Распродажа случайных вещей». В этих магазинах не стояли очереди, и покупателей здесь было

немного. Конечно, всегда находились люди, не страдающие чрезмерной щепетильностью, готовые нажиться на чужой беде. По Москве уже пошел слух, что в этих магазинах продают вещи, конфискованные у арестованных «врагов народа»: все было подержанное – мебель, ковры, одежда, посуда, иногда попадались предметы антиквариата, богатый хрусталь, картины. Иногда заходили в эти магазины родственники арестованных, чтобы купить какую-то свою, дорогую по воспоминаниям вещь, наверное, с надеждой когда-нибудь вернуть ее владельцу. Мало кто знал тогда, что в этих магазинах продают вещи людей уже расстрелянных, потому что по указанию Сталина приговор о расстреле всегда сопровождался дополнением «с конфискацией имущества».

Одним из самых процветающих торговых заведений Москвы тех дней стал старый маленький магазин «Рабочая одежда» на Таганке. Здесь всегда стояла очередь, покупали валенки, ватные брюки, телогрейки и бушлаты. Разумеется, это были родственники арестованных, те счастливики, которые уже получили из лагеря весточку и им был известен адрес, по которому можно было отправить посылку. И спешили отослать теплые вещи, чтобы уберечь своих родных от лютых северных, сибирских, колымских морозов. Спешили, но как часто посылки уже не заставали адресата в живых...

Были и еще более страшные приметы того времени – московские тюрьмы. Таганская, Лефортовская, Бутырская, Новинская, Сокольническая, Краснопресненская. Возле каждой из них тянулись длинные многочасовые очереди родственников арестованных – справку получить, передачу передать...

И еще один знаковый дом тех лет – Кузнецкий мост, 24, Приемная НКВД. На дверях приветливо сообщалось: «Прием граждан круглосуточно». Но это относилось не ко всем гражданам – круглосуточно принимали здесь лишь доносчиков-стукачей. Все прочие граждане приходили в строго отведенные часы приема и толпились в большом дворе этого дома за забором, так что с улицы эту молчаливую толпу видно не было.

– И все же – аресты происходили чаще в среде творческой интеллигенции, крупных ученых, ведущих партийных работников и государственных чиновников. А простые москвичи не были втянуты в эту мясорубку. Или это просто была видимая часть айсберга – «враги народа» среди известней-

ших людей страны, зачастую всенародных любимцев? Такое нельзя было не заметить, это повсеместно обсуждалось, было на слуху у всех, об этом писали газеты, сообщали по радио – совсем не то, что исчезновение подсобного рабочего или школьного учителя?

– Совершенно верно, это заблуждение – считать, что аресты и расстрелы были уделом только партийно-государственной верхушки и известных деятелей культуры и науки. Конечно, на интеллигенцию оглушающее впечатление производили аресты писателей такого ранга, как Бабель, Пильняк, Мандельштам. Но арестованных и в большинстве случаев расстрелянных писателей были не десятки, а сотни, если считать не только москвичей. Были арестованы и крупнейшие ученые, и известные актеры, видные военачальники, известные юристы, врачи. Но все же главными объектами репрессий были простые рабочие и служащие, инженерно-технический персонал, крестьяне. Это подтверждает статистика: не очень точное число жертв сталинского террора – 21 миллион человек – говорит само за себя: известных деятелей во всех областях по всей стране было неизмеримо меньше.

Недавно в «Вечерке» стали печатать списки людей, расстрелянных и захороненных на нескольких московских кладбищах. Ужасающее впечатление производят эти списки с маленькими предсмертными фотографиями и короткой справкой – имя, фамилия, год рождения, профессия, день ареста и день расстрела. Сотни и сотни уничтоженных людей, разных профессий, возраста, национальностей, в большинстве своем беспартийные, не занимавшие никаких ответственных постов.

Однако сегодня, анализируя все, что происходило тогда, и понимая логику поведения Сталина, можно догадаться о причинах гибели этих без сомнения ни в чем не повинных людей. Сталину нужно было каким-то образом объяснить, найти виноватых в страшном массовом голоде, который он и его приспешники организовали в начале 30-х годов на Украине и в южных областях России. Отголоски этого голода, унесшего около 5 миллионов жизней, докатились и до столицы, несмотря на строгие военные кордоны, не допускавшие в город голодных и нищих, несмотря на то, что Москву кормила вся страна.

Сталин оказался верен себе, – со свойственным ему цинизмом он заявил, что виновниками голода являются вредители, работающие в сельском хозяйстве. Народ уже привык к таким объяснениям и к разоблачению вредителей тоже привык, народ жаждал крови виновных. И он это получил.

Это сегодня мы видим, кто значится в тех расстрельных списках: простые агрономы, преподаватели сельскохозяйственных вузов и училищ, директора магазинов, заведующие складами, а иногда и простые кладовщики. Есть в этих списках и люди просто малограмотные, не имеющие никакого, даже косвенного отношения к сельскому хозяйству: вахтеры, подсобные рабочие и даже телеграфисты и театральные гардеробщики. Этих, по-видимому, «добирали» до нормы.

Что ж, сегодня мы знаем: лес рубят – щепки летят. Больно, горько, стыдно, что прозрение пришло слишком поздно. И ничего нельзя изменить. Только предупредить, предотвратить. Потому – о чем бы ни говорил: о Москве, о литературе, о будущем, – возвращаюсь к тем страшным годам, через которые всем нам пришлось пройти. Чтобы не забывали никогда.

Почти каждый читающий человек знает, что Петр I построил великий город Санкт-Петербург на костях многих тысяч русских крестьян. Но мало кто из москвичей, которые едут сегодня по автотрассе Москва-Минск или совершают прогулку на теплоходе, плывущем по каналу Москва-Волга, знают, что строили все это зеки и что под ровным асфальтовым покрытием и на дне канала навеки запрятаны лагерные кладбища, на которых лежат кости сотен тысяч безымянных заключенных ГУЛАГа. Не обращали и тогда москвичи внимание на высокие заборы с колючей проволокой, вышки с часовыми. Не замечали, не догадывались или старались не думать...

Студенты Московского университета из разных регионов России и из разных стран мира понятия не имеют, что когда-то на месте известной во всем мире высотки МГУ на Ленинских горах находился один из так называемых почтовых ящиков ГУЛАГа, в котором отбывали свои сроки заключенные, строившие эту цитадель знания. И другие московские высотки строили зеки, и полукруглые дома на Калужской площади (ныне площади Гагарина), и много других известных домов. Но не им досталась слава строителей столицы, им достался каторжный труд и безвестная смерть. Боже мой,

сколько лесов, яблоневых садов, дачных поселков для начальства разбито на костях расстрелянных и погибших в одной только Москве и ближнем Подмоскowie, сколько безымянных могильных рвов.

Страшно и стыдно, что нынешнее поколение москвичей не знает и не помнит эти зловещие страницы истории своего города.

Конечно, время стирает следы прошлого, – каким бы оно ни было. И, наверное, нельзя обвинять сегодняшних москвичей за незнание. Они этим не отличаются от граждан других городов. Ведь и парижане весело шагают по уютной и красивой площади своего прекрасного города, прежде называвшейся Гревской, и наверняка не помнят, сколько тысяч невинных голов скатилось по ее камням из-под ножа гильотины.

И все-таки... написал же Пушкин в стихотворении «Воспоминание»:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Не смываю строк печальных...

Это значит, что люди никогда не должны забывать свое прошлое, каким бы горьким и трагическим оно ни было. Человечество помнит свое прошлое ради своего будущего.

– А сегодняшняя Москва, такая другая, такая местами европеизированная, до неузнаваемости, с фешенебельными торговыми и правительственными комплексами, с роскошными пятизвездочными отелями, с какими-то безумными и безвкусными памятниками, с вновь отстроенными храмами, часовнями, церквями, с оптовыми рынками и уличными развалами, с цветочными киосками на каждом шагу, даже с уличными небольшими кафешками – эта Москва ваша? Вы ее по-прежнему любите? Не раздражает она вас? Несмотря на отдельные роскошества по-прежнему грязная, с разбитым асфальтом, с запущенными подъездами жилых домов, с плохо работающим городским транспортом, с бесконечными «пробками» на дорогах, с вызывающим контрастом богатства и нищеты?

– Сегодня я тоже люблю Москву. Этот город мой навсегда, и другого у меня не будет. Да и не хочу я другого. Конечно, сегодняшней Москвы я не знаю, давно уже не хожу пешком по любимым тихим улочкам и переулкам, которые тоже, наверное, не обошла нынешняя городская перестройка, когда беззастенчиво и бездумно стирают памятные штрихи с лица города. Москве не привыкать к такой ломке. Когда же у нас появятся архитекторы, которые любят свой город?

Тираны все хотели увековечить себя в архитектуре, но то ли у итальянских Борджиа был хороший вкус, то ли им повезло на великих архитекторов, не знаю. А наши градостроители – по природе своей разрушители, им лишь бы построить свое. С одной стороны хорошо, что наша столица приобретает черты более цивилизованного города – удобные автомобильные стоянки, новые эстакады, современные торговые комплексы. Но все же этот повальный евроремонт моего любимого города мне не по душе. Я старый москвич, мне грустно смотреть, как Москва утрачивает свое, искони московское. Не понимаю, почему обязательно надо перестраивать все на европейский манер. Я житель Замоскворечья, мне жаль дивных деревянных домов Малой Полянки, Малой Якиманки, переулков на Ордынке. Конечно, деревянная Москва ушла в прошлое, но сохранить что-то в память о той эпохе, – по-моему, не грех.

Все это очень грустно, и когда я еду по Москве (теперь уже чаще всего в автомобилях своих друзей, которые любезно заезжают за мной, чтобы доставить меня по нужному адресу), я иногда ловлю себя на том, что не узнаю улицы, по которой еду, мне даже кажется, что я никогда не был в этом городе. И вдруг – мелькнет фасад знакомого дома, и сердце мое дрогнет. Это дом, из которого вынесли в последний путь Николая Васильевича Гоголя, дом, к стене которого я впервые с замиранием сердца прикоснулся в год моего первого знакомства с Москвой, семьдесят с лишним лет назад. А вот знакомая красная ограда Донского монастыря, в безлюдном дворе которого среди старых могильных плит и лопухов подолгу сидел я, отдыхая, перекусывая и продумывая дальнейший свой пеший маршрут по Москве. Обязательно – пеший, несмотря на то, что мама давала мне 10 копеек на трамвай, чтобы сберечь мои ботинки. На эти 10 копеек на Сухаревке я покупал себе ириски

или марки. И упрямо шагал по Москве пешком – и тогда, и гораздо позже, когда ходил в гости к своим друзьям, жившим в разных концах города.

Много памятных, знаковых для меня мест осталось в этом прекрасном городе. В свое время я исходил Москву вдоль и поперек, знал все улицы, переулки, дворики, их историю. В пределах Садового кольца я знал ее почти наизусть. Где бы я ни находился, я мог мысленно представить себе любой московский дом, любую улицу. История Москвы не просто интересовала меня, она меня волновала.

Мне нравится, что старым московским улицам стали возвращать их прежние названия: Остоженка, Поварская, Варварка, Пречистенка, Ордынка – эти названия сами по себе памятники истории города, по ним многое можно узнать. Это увлекательное узнавание, и я завидую юным москвичам, которым предстоит еще проделать этот путь. Они будут любить Москву такой, какой она будет, какой она станет, это другой город, другая Москва. Но все же это Москва, и, может быть, я столкнусь на Никитском бульваре во дворе Гоголевского дома с пятнадцатилетним мальчишкой, прикоснувшимся ладонью к стене, у которого (я это узнаю сразу, по его глазам) душа трепещет от восторга приобщения. Как когда-то трепетала моя душа.

Современники

о Льве

Разгоне

СТАРОСТЬ ТОЖЕ ПРОХОДИТ

На протяжении многих лет мы перезванивались ежедневно, а порою – два-три раза на дню. Теперь, когда его больше нет, я вспоминаю девяностолетнего Виктора Шкловского: «Звоните мне чаще, вы еще молодой старик, а моя телефонная книжка ушла...» С уходом Льва Разгона непоправимо опустела моя телефонная обитель. Непоправимо. Невосполнимо.

Тот его памятный давний звонок раздался позднее обычного, а голос был весело хмельной:

– А ты послушай, если я сейчас переверну Бабеля, то не очень... Троцкий протер пенсне и голосом, не оставлявшим никакой надежды, сказал: «Товарищи и братья!» Так вот, сегодня рецензент в пенсне спросил меня голосом, не оставлявшим никакой надежды: «Брат мой, а зачем издательству нужна ваша книга после Исаичева ГУЛАГа?» Я сначала послал его куда надо, а потом сказал, что на это ответишь ты в предисловии, какое будет тобой написано, если, конечно, ты еще человек...

Мы были приятельски знакомы с довоенных времен, а сердечно сдружились во времена его послелагерной ссылки, когда он тайком наезжал из Ставрополя в Москву. Наезды бывали не слишком часты, но всякий раз празднично разгульны. Или – «разгонны», как однажды пошутила моя старая мама, преданно и всепрощающе полюбившая Леву с первого взгляда. Такой же любовью, но только уже многолетней, окружала его Туся – моя жена (Софья Дмитриевна Разумовская – известная деятельница нашей детской литературы). Они слевой были до войны детгизовскими сослуживцами. Их отношения очень на-

поминали счастливый роман. Но еще больше – беззаветную дружбу старшей сестры и младшего брата в несчастливых для семьи обстоятельствах жизни... Напомню Омара Хайяма: «Бог создал звезды, голубую даль, но превзошел себя, создав печаль...» И уж доскажу, раз начал, как Лева бесшумно плакал, упираясь лбом в дверной косяк, когда осенью восемьдесят первого часами дежурил в комнате, где умирала Туся... И еще доскажу, как в дарственной на первом издании своего «Непридуманного» он нашел слова посвящения ей: «И – по ту сторону – Тусе, которая была первой читательницей этой книги...»

Она была не только первочитательницей той книги, но и перво-вдохновительницей медленно рождавшейся рукописи, в издание которой немисливо было тогда поверить. Она заставляла Левину жену Рику Берг – бесценную солагерницу Левы – неумолимо требовать от «этого каторжного бездельника» все новых текстов. Нет-нет, она не верила, что тексты каторжанина увидят свет еще при нашей жизни. Но она верила в булгаковское «рукописи не горят». И потому нужна была рукопись! Не обещанная, а сделанная!

И в 1988-м, когда Туси давно уже не было на свете, мне посчастливилось писать вступительные страницы к «несгоревшей рукописи». Я тоже был среди ее первочитателей, хоть и не на первых ролях. Потому-то и удостоился того весело хмельного ночного звонка Левы со слегка перевранным Бабелем и верой, что я сумею «дать ответ» рецензенту в пенсне. Это был известный критик в очках, чье имя через столько ушедших лет не заслуживает упоминания.

«Давать ответа» я не стал. Не помню – почему. Но помню, как легко и свободно – в один присест! – написалось то вступление к «Непридуманному». Уже на исходе следующего дня мы встретились слевой у Белорусского – на полпути между нашими домами – и странички мои получили его благословение с маленькой поправкой: «Ну, ты перестарался, брат! Вычеркни парочку эпитетов...» Но я вычеркивать ничего не стал, а он, по правде говоря, не очень настаивал. И то, что там прозвучало, право же, не было избыточным... Главное хочется повторить.

...Эта книга достойна удивления. Как и судьба ее автора. Сначала о судьбе.

Ему было тридцать, когда в 1938-м с ним случилось то, что по тем временам в жизни происходило гораздо чаще, чем на

страницах романов: в чертово одночасье он был осужден на долгие годы лагерей и ссылок. Молодой, он принял бессрочное мученичество без вины. И казалось – навсегда.

Ему было восемьдесят, когда в 1988-м с ним приключилось то, что в жизни происходит гораздо реже, чем на страницах романов: в прекрасное одночасье его позвала под свое крыло литературная слава. Старый, он был вознагражден за верность надеждам и жизни, несмотря ни на что. И на сей раз – впрямь навсегда!

Вот теперь – о книге. В ней-то все дело.

Уже первая скромная публикация – в марте 1988-го – короткого рассказа из этой книги действительно в одночасье сделала Льва Разгона широко известным далеко за пределами детской литературы, где он с успехом работал до ареста и после реабилитации. Документальный рассказ назывался «Жена президента» и в нем открылась едва ли не самая неправдоподобная реальность в чудовищной были сталинского произвола: тюремно-лагерный удел ни в чем не повинных жен «вождей народа» – преданнейших соратников Сталина – Молотова, Ворошилова, Кагановича, Шверника... «Этот список можно продолжить... – сообщал рассказ Разгона. – И не было ничего удивительного, что арестанткой стала и жена Калинина». И не по слухам, не с чужих досужих слов поведал Лев Разгон о несчастной участи верной супруги «Всесоюзного старосты» – Президента страны. Наш Лева и Екатерина Ивановна Калинина очутились за одной решеткой.

Поразительное присловье: «И не было ничего удивительного...» Каково, а? Тут пронзает внезапное понимание происходившего: в непрерывном страхе за свою несправедную власть Сталин просто превращал в заложников своих соратников! Кажется, до Сосо ни один диктатор не додумывался до такого изуверского предательства ближних...

Этот рассказ явился как бы моделью всей книги. Ее безукоризненной правдивости. Ее историко-психологической сущности. Все, что написал Лев Разгон в «Непридуманном» – все, без исключения! – вошло в копилку трагической памяти народа. О немногих книгах можно высказать такое суждение. И в названии «Непридуманное» подспудно содержался еще тот смысл, что придумать рассказанное на страницах этой книги просто нельзя было бы. Ну, в самом деле, мыс-

лимо ли было «сочинить» афганского принца, отправленного в концлагерь за самоотреченную любовь к русской женщине?! Или... Впрочем, что уж пересказывать блистательно рассказанное уцелевшим каторжанином-документалистом!

Лева обозначил жанр своей главной книги как «Повесть в рассказах». Умно и точно. Это повесть, хотя там нет сквозного сюжета. И появляются всё новые лица – от рассказа к рассказу. Но вместо сюжета было драматическое единство изображаемой жизни. И один герой присутствовал на каждой странице – сам автор-повествователь, вызывающий полное наше доверие и сочувственную любовь.

...Ему было уже девяносто, когда в 1998-м – через десять лет после «Непридуманного» – мы вместе с ним и Борисом Жутовским навещали на Новодевичьем могилу Туси и по традиции осушили на кладбище стариковски-скромненькую фляжку коньяка, – Лева сказал:

– Черт возьми, мне тут всегда приходит на ум, как это мы сумели на целые десятилетия пережить нашего пахана?! Надо написать про это. Ей-богу, я напишу. Для закругления моего «Непридуманного»...

И он написал. Разговор был осенью 98-го, а зимой 99-го, вскоре после Нового года, очередной наш телефонный обмен сменяющейся «злостью дня» превратился в совершенно необычайный – внеочередной – Левин монолог не на злобу дня, но на «злобу века»:

– Послушай-ка, я написал обещанное на Новодевичьем, помнишь? Усядься поудобнее и внимай...

Я жадно внимал. И да простится мне полуплагат: голосом, не оставлявшим тени Иосифа Виссарионовича никакой надежды, вольноотпущенник Разгон прочитал пятнадцатиминутное весело-поминальное эссе под улыбочивым названием: «Мне не везло со Сталиным».

Не буду ни расшифровывать, ни пересказывать. Этот текст каждый должен прочитать сам. К сожалению, он напечатан был всего один раз – в «Московских новостях» 5 марта 1999 года. А потому позволю себе привести в этом воспоминании о незабвенном друге моем несколько строк того эссе:

«...Я знал точно, что, пока Сталин жив, я буду сидеть всегда, до конца жизни. Я живу в соревновании с ним... 5 марта... Это был день, который я ощутил как мой личный главный день

рождения. Я в эту русскую рулетку выиграл, я переиграл его – Сталина.

Вечером 5 марта... мы зашли за баню – разлили аккуратненько... поллитру по банкам и выпили. Я знал, что я в этот день никогда трезвым не буду...

И вот мне уже скоро будет 91 год. Я пишу это в середине января. Совсем скоро будет февраль, а февраль коротенький, а потом всего каких-нибудь три-четыре дня, и наступит 5 марта 1999 года. И я, если к этому времени буду жив, а я, естественно, все же надеюсь на это, я опять буду пьяным. На этом мои личные счета со Сталиным окончены».

...Могу засвидетельствовать: он давний обет и на сей раз не нарушил. Был во хмелю. Был. Господи или черт возьми, какое тяжкое – давящее – булыжное – бесповоротное слово БЫЛ! Его не отменишь и не отведешь. И личные счета с ним оканчиваются только вместе с жизнью.

Милый друг мой, давай поживем еще в XXI веке.

(Я знаю: ты не против. Остальное несущественно.)

РЫЦАРЬ ПРАВЕДНИК

Сразу скажу – эти строки будут признанием в любви. В любви к человеку, которого каждый, кто хоть немного знал, не мог не полюбить. А мне выпало счастье знать его долгие годы, смею надеяться, пользоваться его дружеским расположением.

Лев Разгон. Совсем недавно мы поздравляли его с 90-летием, и вот его нет больше среди нас. Что делать, «не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: были...»

Его судьбу можно назвать тяжелой и несправедливой, она трагична.

Почти два десятилетия тюрем, допросов, пересылок, лагерей, ссылок. Думая о судьбе Льва Разгона, не перестаешь удивляться, какой надо было обладать силой воли, мужеством и любовью к жизни, чтобы сохранить в душе столько света, тепла, доброты, что до последнего его дня люди куда моложе его, прожившие благополучную жизнь, шли к Разгону, чтобы в трудную минуту почерпнуть у него силу духа, оптимизм и уверенность в торжестве справедливости.

Мы познакомились с ним в начале семидесятых в городе Чите, где проходили дни литературной читинской осени. Как много хороших писателей съехались туда на праздник: Юрий Давыдов, Марк Сергеев, Владимир Порудоминский, Виль Озолин, Сергей Давыдов, артист Яков Смоленский – всех уже и не вспомнишь. Мы ездили по Читинской области, посещали знаменитые места, связанные с пребыванием здесь в ссылке декабристов – Петровский завод, Акатуй.

Помню, как в Акатуе мы долго стояли у могилы Михаила Лунина возле бывшего острога, в котором он и умер, то ли

покончив с собой, то ли от угара, то ли был убит за то, что и из этого каторжного угла России продолжал слать вольнолюбивые письма. У подножья большого железного креста, поставленного еще в прошлом веке его сестрой, увидели мы небольшую металлическую пластинку, на которой тонкой проволокой была наварена надпись: «Ветерану войны с Наполеоном от ветерана войны с Гитлером». Подписи не было, но у нас от волнения перехватило дыхание и слезы выступили на глазах. Кто он, этот воин, прошедший ад Отечественной войны и добравшийся в эту глушь, чтобы принести благодарность и любовь такому же воину, за сто с лишним лет защищавшему Отечество? Мы этого никогда не узнаем и никогда не забудем...
– Великая Россия... – еле слышно проговорил Разгон.

Мы выступали в самых разных аудиториях – в домах культуры, в сельских клубах, воинских частях, школах. Выступали по нескольку раз в день, и немудрено, что к вечеру изрядно уставали, да и расстояния в Сибири нешуточные, протрясись целый день в расхлябанном «газике» по бездорожью – и станет понятен предвоенный лозунг: «Чужой земли мы не хотим». Со своей бы управиться! Но самый старший из нас – Лев Разгон – никогда не жаловался на усталость, и когда вечером мы собирались у кого-нибудь в номере, чтобы «расслабиться», он был главным заводилой в застолье, с удовольствием выпивал наравне со всеми, произносил тосты, читал стихи...

Да, справедливость в судьбе Разгона восторжествовала.

Но на это понадобилось полвека – 50 лет! Никогда не забуду, как он, выступая на митинге, когда в сквере на Лубянке открывали камень-памятник жертвам сталинских репрессий, сказал, указывая на здание КГБ:

– Мой путь от этого дома до этого камня длился пятьдесят лет!

Он сказал это не сетуя и не жалуясь, он произнес эти слова с высоким чувством собственного достоинства. И он имел на это право.

В 1980-х годах к нему пришла литературная слава. По словам его близкого друга Даниила Данина, Лев Разгон был вознагражден за верность жизни.

В журналах стали появляться «лагерные» рассказы Льва Разгона. Мы, его друзья, уже знали о них.

В тесной ли квартирке Разгонов или на террасе в Переделкине мы с волнением слушали только что написанные рассказы.

Впрочем, волновались не только слушатели, но и сам автор, голос его порой срывался, влажнели глаза. А что уж говорить о нас! Это было потрясение...

А потом вышла книга, названная очень просто, одним словом – «Непридуманное». Каждая строчка в этой книге дышала правдой. О ней много писали, не буду повторяться. Не могу не сказать о той, кому посвящена эта книга: «Рике Берг, моей жене и спутнице по непридуманным скитаниям» – читаем мы на первой странице.

С этой удивительной женщиной Льва Разгона свела судьба на одной из тюремных пересылок. Дочь известного революционера, она расплачивалась за судьбу своего репрессированного отца, который, по ее словам, не сидел в тюрьме только в краткий период с февраля по октябрь 1917 года.

1922 год он тоже встречал в Бутырке. Но тогда времена были помягче, и родным разрешали принять участие в новогоднем вечере. Пришла к отцу и Рика.

– И вдруг, – рассказывала она, – около полуночи в комнату, где собрали заключенных и их родных, вошел Шалапин, да, да, сам Федор Иванович Шалапин и обратился к нам с такими словами: «В этом году я навсегда покидаю Россию и последнюю новогоднюю ночь хочу провести с теми, кто страдает! Я буду вам петь...»

К моменту встречи с Рикой Лев Разгон уже знал о трагической смерти своей первой жены, и горе его было безутешным.

Встреча с Рикой была милостью судьбы.

Их связывало большое чувство, пронесенное через все разлуки, все невзгоды и превратности лагерной судьбы. И после возвращения из ссылки, до последнего своего часа эта удивительная женщина, красавица, несмотря на почтенный возраст, несла людям свет и радость.

У Льва Разгона много книг, их знают и любят миллионы читателей. Но есть среди них одна, чья судьба не менее удивительна, чем судьба ее автора. Вышла она в свет не так давно, прекрасно оформлена художником В.Полищуком и называется «Позавчера и сегодня».

Это повесть-воспоминание о детстве, о бедной еврейской семье, в которой он родился и вырос. Впрочем, как утверждает автор, воспоминания не столько о детстве, сколько о том, что сохранилось на всю жизнь. Так растение, насильственно вырванное из родной почвы, могло бы с тоской грезить о своих корнях. Писалась эта книга в лагере, тайком от начальства, писалась для дочки Наташи. Ей было тогда уже 14 лет, она жила на Севере, у ссыльной тетки со стороны матери. Лев Эммануилович не знал, суждено ли им будет когда-нибудь встретиться. Так кто же расскажет ей о еврейских корнях ее отца, о ее деде и прадеде, о семейных еврейских традициях, о его бедном, но таком счастливом детстве?

По вечерам, когда заканчивался нудный лагерный день Разгона-нормировщика, он разводил водой припрятанный чернильный карандаш и убористым почерком писал в толстой тетрадке-книге, присланной братом, воскрешая в памяти события давно минувших лет.

Когда книга-тетрадь была заполнена, он переслал ее Рике, находившейся тогда в пожизненной ссылке в Красноярском крае, с просьбой передать Наташе, когда той исполнится 18 лет.

Рика переслала тетрадь, Наташа ее получила и даже написала об этом отцу. Но когда Лев Эммануилович после смерти Сталина вернулся в Москву и встретился с дочерью, выяснилось, что тетрадка пропала.

Тридцать три года о судьбе тетради не было ничего известно.

Автор тосковал, ощущая ее утрату как утрату своего детства. Но чудеса все-таки случаются на свете.

Когда стали публиковаться рассказы Льва Разгона, в одном из них он упомянул об этой тетради.

И вдруг телефонный звонок. Мужской голос сказал, что у них уже много лет хранится тетрадь неизвестного автора (имени на тетради, естественно, в целях конспирации не было), что они много раз перечитывали ее и очень полюбили героя. А когда Лев Разгон примчался по указанному адресу, ему открыла дверь русская женщина, которая держала в руках его тетрадь. «Я заплакал...» – признается автор.

Спустя 35 лет!!! рукопись пришла к читателю...

Конечно же, годы и утраты брали свое, и Разгона нередко настигали болезни, но он о них не разговаривал, и никто никогда не слышал от него ни слова жалобы.

По первому зову он готов был откликнуться на просьбы друзей: выступить на вечере, провести презентацию новой книги.

Всегда подтянутый, собранный, красивый, он рыцарь по натуре своей. Недавно, когда один негодай позволил себе в печати оскорбить память его первой жены, Лев Разгон удостоил его заслуженной пощечины. Это в 90 лет!

Мне вспоминается, как несколько лет назад пришли ко мне на дачу в Переделкино Лева и Рика, которые жили в то лето в Доме творчества. И в разговоре, так, между прочим, Лев Эммануилович сказал, что через два дня исполнится тридцать лет, как он вышел на свободу.

– Так надо же это отметить! – сказала я. – Приходите ко мне, все будет готово к такому торжеству.

Настал долгожданный вечер, стол накрыт, а Разгонов все нет и нет. Звоню в Дом творчества:

– Где же вы?

– А что случилось? – с недоумением спрашивает Лева и, поняв, в чем дело, смущенно добавляет: – А я совсем забыл... Идем, идем!

Судьба не поскупилась на отпущенные ему годы, но жизнь не баловала его. А он любил ее всем своим добрым горячим сердцем и умел быть благодарным за любую, пусть маленькую радость. Он любил людей. Когда за год до смерти он попал в больницу и оказался в реанимации, едва ему стало чуть легче, он потребовал, чтобы его перевели в общую палату, он хотел быть с людьми, без них он не мыслил своего существования.

От него исходила легкость и радость. Наверное, не случайно, что в тот день, когда мы навсегда прощались с Разгоном, евреи всего мира с первой звездой встречали Новый 5760 год. В такие Праздники из жизни уходят праведники.

ПЕСЕНКА О ЛЬВЕ РАЗГОНЕ

У Разгона в жизни были три главные даты: день рождения – 1 апреля (сейчас бы ему исполнилось 92 года); день памяти его любимой жены Рики: в этот день он молча брал машину и уезжал на кладбище; а еще – день смерти Сталина, 5 марта.

Накануне, поблескивая голубым глазом, он весело сообщал, что завтра никуда не пойдет, а напьется. И мы понимали: отдав по воле великого тирана семнадцать лет ГУЛАГу, он будет вспоминать своих лагерных дружков и пить за их память. Впрочем, он не был одинок: я помнил, как Лев Копелев, тоже отсидевший в сталинских лагерях, собирал своих друзей, из тех, кто выжил в лагерях, на стол выставлялись фотографии погибших, и за рюмкой шли воспоминания о тех годах.

Но сегодня я о Разгоне. Он правдиво описал свою лагерную жизнь в книге «Непридуманное». И вот что примечательно: ее не тяжело читать. Грустная и светлая проза отягощает совесть, но не отягощает нашего бытия, более того, она обнадеживает и заставляет верить в жизнь.

Вспоминая лагерь, где удавалось ему писать книгу о своем детстве для далекой дочери, как завещание, Разгон скажет: «Вспоминать мое счастливое прошлое, рассказывать о нем дочери было наслаждением настолько сильным, что в нем растворялась горечь утрат. Мне случалось встречать людей с биографией, схожей с моей, которые утверждали, будто за все годы в лагере не было у них ни одной светлой минуты. Может быть. Всеми нами командовал господин Случай, и, вероятно, мне повезло больше, нежели другим. Что явствует хотя бы из того, что я сейчас пишу эти строки».

Несколько лет назад члены нашей Комиссии по помилованию посетили Бутырку, и Разгон обратил мое внимание на ступеньки: как истерты... сколько же здесь прошло?

– И твои следы тут?

– Да, – спокойно отвечал он.

Я не преминул спросить, помнит ли Разгон свою камеру.

– Ну как забыть! – отвечал он. Но подняться туда не захотел. Только пояснил, что она этажом выше.

Впрочем, мне повезло сфотографироваться с ним в тюремной камере, но это было в Германии. Не скажу, что все камеры в мире одинаковы, как и тюрьмы... Но это была настоящая камера-одиночка в старой тюрьме под Дюссельдорфом, и Лева, попав в нее, долго осматривался, оглядывал, почти обнюхивал стены, потолок, парашу (то бишь сортир), словно должен был провести тут годы. У него даже цвет глаз изменился, взгляд затвердел.

Но двери были распахнуты, из мрачного коридора через железные двери заглядывали друзья, и Булат, посмеиваясь, что-то произносил насчет «творческой лаборатории», и Лева, внутренне отринув нечто такое, что было далеко и для нас недоступно, облегченно вздохнул и охотно сфотографировался. Он был легкий человек.

Разгон вообще не умел жаловаться, живописать трудности. Когда его однажды спросили, как же удалось выжить в условиях ГУЛАГа, он с милой улыбкой – кто видел, тот запомнил эту красивую улыбку, – пошутил: «Ну, люди в это время на войне гибли, а мы что, мы в тылу отсиживались...»

В минуты отдохновения, когда после тяжких дебатов оставались мы выпить по рюмке, он любил читать строки из «Пророка», он хранил вообще в памяти множество стихов, но иногда веселил рассказами из жизни писателей 30-х годов.

Лев Разгон рассказывал, как они с Аркадием Гайдаром как-то на безденежье решили требовать у бухгалтера какого-то издательства, кажется «Молодой гвардии», гонорар, и, зная, что бухгалтер прижимист и точно не даст, Гайдар, который славился своей находчивостью, купил в зоомагазине ужа и, придя к тому бухгалтеру, сказал: «Не дашь денег, вот тебе змея, сейчас я покончу жизнь, пусть она меня кусает!» И тот от испуга гонорар выдал. И однажды Гайдара арестовали, его взяли у по-

сольства Германии, где он почему-то стоял. А когда во время допроса спросили, что он там делал, ответил:

– Да вот смотрю и думаю, в какое окошко бросить бомбу!

– Вы хотели взорвать?

– Я – нет. Но ведь кто на самом деле захочет взрывать, тот не скажет...

И Лева добавил: «Это как с Чапеком... Он приехал в Вену и в книге для посетителей написал: «Русский шпион». Его загребли в полицию, спрашивают: зачем он так написал? А тот ответил: хотел, мол, узнать, много ли дураков в венской полиции...»

Однажды Разгон вспомнил, как они приводили в порядок рукопись неизвестного автора, дописывая и переделывая месяцами... Это была пресловутая книга «Как закалялась сталь». Так вот и закалялась, с помощью коллектива издательства. Но Лева рассказывал об этом без пафоса, с мягкой улыбкой, почти как о казусе, они уже тогда знали этой книге цену. Да и сам Лева, об этом он тоже говорил не без смущения, был пионерским писателем и что-то там кропал... Это потом в лагере наступило прозрение.

Разгон рассказал случай, как на суде выступил против однокурсника (молодой я был, дурак!) и обличал его... Не помню – за разврат, а скорей растрату во имя разврата... И вдруг решение: приговорить к высшей мере. Я чуть с ума не сошел... Но там где-то выше отменили приговор... А стыд так и ношу с собой...

Таким его и запомнили друзья по нашей «помилочной» Комиссии: в лагерях не скурвился, не ожесточился, не озлился, наоборот, был самым милосердным из всех нас.

Все мы живые люди, и у каждого свой пунктик: одни не милуют насильников (Женя), другие дедовщину (Коченов), третьи наркоманов (Кирилл)... Лева был ко всем одинаково милосерден, и на его мнение (вроде бы всего один голос) зачастую ориентировались остальные.

Мы никогда не называли его Старейшиной, но в трудный момент для комиссии – а таких моментов было немало – мы обращались к нему, мы знали, что он действительно самый старший не по возрасту, возраст как раз не ощущался, а по совестливости, по безупречности, по чистоте.

Это как в оркестре перед концертом, помните: на сцене разнорядной инструментов, а потом кто-то одну ноту подаст – и сразу общий настрой. И музыка. И гармония. И лад.

Он настолько не ощущал своего возраста, что однажды, обсуждая чье-то дело, воскликнул: «Ну чего его держать, старика, ему же скоро семьдесят!»

Но если кто-то жаловался на болезни, он спрашивал подозрительно: «А вам сколько, простите, минуло?» И, услышав, что минуло, скажем, шестьдесят, восклицал как бы в шутку: «Если бы вы знали, какой хороший возраст восемьдесят лет!»

Был случай, я, кажется, об этом уже писал, когда эту внешнюю мягкость подверг сомнению наш Детектив, в прошлом следователь, человек прямолинейный и жесткий, он обвинил Разгона в беспринципности. Лева так же мягко, он не умел злиться, на выпад отвечал, что им двоим не о чем и спорить, поскольку... «мы разные... Ты сажал, а я сидел».

Но вновь, когда обсуждалась судьба смертника, Детектив затеял долгую дискуссию, направленную против Левы Разгона.

– Президент должен знать, что в комиссии присутствуют люди, которые голосуют только против смертной казни, – сказал он.

– Он знает об этом, – отвечал Лева.

– Нет, он не знает, а должен знать. Это беспринципно голосовать все время против казни.

– Но так же беспринципно голосовать все время за казнь, – отвечал ему Лева. – Отчего на Руси солдат, убивающий врага, почитается за героя, а палач, убивающий жертву, презирается? – спрашивал он, обращаясь уже ко всем нам. – К нему ведь и прикоснуться нельзя было, а случись такое несчастье – очищаться надо в церкви, отмаливать себя... Вроде бы палач (теоретически) убивает плохого человека, преступника, в то время как солдат может убить в бою и хорошего! Там как раз не выбирают. А дело в том, что солдату противостоит тоже солдат, у него оружие, он может защититься, а жертва палача абсолютно беззащитна...

Не помню, как возникла идея призвать его па комиссию, когда мы зимой 91/92-го года составляли первый список. Наверное, это было естественно, ну кто же будет миловать, если не такие люди, как Разгон. Помню его ответ по телефону: «Сил для такого дела нет, но нет сил и отказаться...»

Ему было за восемьдесят. Думаю, мы рассчитывали скорей на его заочный авторитет, а он оказался самым обязательным среди нас. Даже когда прибалывал, приезжал: ему казалось, что кто-то может без него обидеть несчастных. Случилось, мы однажды засомневались, стоит ли человеку сбавлять срок, если ему осталось сидеть полгода. Лева воскликнул:

«Да на один день раньше выйти – благо! Там ведь часы, минуты считаешь!»

В трудные времена, когда пенсия не спасала, Разгон, это мы узнали потом, продавал из библиотеки редкие книги. Но никогда он не жаловался на бедность, он и вправду имел необыкновенный талант: в любых обстоятельствах чувствовать себя счастливым.

Жил скромно вместе с дочкой, и кто бывал в его крошечной квартирке на Малой Грузинской в блочном доме, поражались тесноте: все свободное пространство было отдано книгам. Но хозяин с милой своей улыбкой отмахнется: «Да ведь теплый клозет есть, чего же еще надо!»

Я хочу, чтобы вы услышали эту истинную радость обладания теплым клозетом после семнадцати лет тундры.

Но если эту тему продолжить, вы услышали бы от хозяина неблизкий рассказ про западного корреспондента, который, допытываясь, как удавалось Разгону писать в заключении, воскликнул: «А я знаю, вы, наверное, писали на туалетной бумаге, да?»

Однажды к нему приехали почитатели его таланта из одной казачьей станицы, с корзинами, полными фруктов, и заявили, что они всегда считали его своим, родным человеком, потому что в станице у них живут сплошь Разгоны. Лева мило отвечал, что он благодарен за такое отношение, но он-то по происхождению... Как бы лучше сказать, ну, еврей...

Это несколько не смутило гостей. Самый старший из них, казак с офицерской выправкой, бойко отвечал, что они, конечно, знают о том, что Разгон еврей, а они – казаки... «Но еще неизвестно, – сказал лихой казак, приглаживая усы, – кто от кого произошел!»

Но я, наверное, не совсем прав, сказав, что Лева не умел сердиться. Запомнились его страстные отповеди по поводу вылазок молодых фашистов в газетах, по поводу того же Лимонова. Помню, так совпало, что мы оказались в Париже: у

Разгона и у меня были переведены книги на французский язык, – и книжный магазин «Глобус» устроил встречу с читателями. Во время выступления из задних рядов раздались неприличные выкрики, а кто-то рядом сказал: «Ну, это Лимонов, ему не терпится попасть в печать!» Я даже немного растерялся: Париж – и вдруг открытое русское хамство. И тут Разгон спокойно и жестко произнес всего несколько слов о том, что он в лагерях видел и не такую мразь и там их тоже били.

Это не просто слова. Многие друзья помнят, как некий литературный чиновник высказался оскорбительно о первой жене Разгона, погибшей в лагерях. Лева выяснил место работы: Институт мировой литературы, – приехал, выждал в коридоре обидчика и влепил в его сытую физиономию крепкую мужскую пощечину, предварительно объяснив за что. Секундантом на этой «дуэли» был художник Борис Жутовский. У него же в какой-то статье эта сцена очень даже красиво описана.

На похоронах Булата Оқуджавы мы стояли слевой в почетном карауле, обнявшись (я боялся, что он не устоит), и впервые я увидел, как он плачет. Горько и по-детски. Звучала песня: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет...» Мне показалось, что именно в тот день что-то в Лева надорвалось... Хотя и земля вертелась, и ярок был свет...

В дневнике я нашел такую запись:

«...31 марта 1998 г. Вместо заседания – цветы в честь Разгона, ему 90 лет, подарки и поздравления. Много хороших слов. Стихи, импровизации, тосты. Сам он произнес замечательную речь, смысл ее, что комиссия не часть его жизни, а вся жизнь... И он было усомнился, может ли в ней по возрасту работать... чтобы, как он выразился, не компрометировать ее своим возрастом... Но именно она дала возможность ощущать себя полноценным гражданином...»

На чествовании в Союзе писателей он был слаб, а на следующий день его увезли в больницу...

Казалось, что он выкарабкается... Еще за день до смерти он читал уголовные дела, торопясь кому-то помочь. Но еще раньше он высказался так: «Работа в комиссии спасла меня в тяжелые годы, она помогла ощущать себя гражданином».

И когда мы в одно из заседаний, а точнее, позже, за рюмкой, отмечая День Победы (это еще был и день рождения Булата, которого уже с нами не было), набрали номер телефона

больницы и по очереди по мобильному каждый сказал по несколько слов, Лева на той стороне провода только произносил со слезами: «Хочу к вам! К вам!»

Кстати, Булат Окуджава, который охотно посвящал и дарил своим друзьям стихи, посвятил несколько строк и Лева. Родились они из реплики: «Лева, как ты молодо выглядишь!» – «А меня долго держали в холодильнике...»

Эти стихи Булат написал во время нашей совместной поездки по Германии и прочел за дружеским столом в Эрфурте. Вот они.

Песенка Льва Разгона

Я долго лежал в холодильнике,
обмыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой...
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою –
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

ВЕК ЛЬВА РАЗГОНА

Он родился, когда еще жив был Лев Толстой, и покинул нас на пороге третьего тысячелетия.

Мне посчастливилось быть его другом и соседом по дому ни много ни мало – тридцать три года! Мне посчастливилось быть причастным к первым публикациям из его будущей книги «Непридуманное» (я в ту пору работал в журнале «Юность»), принимать участие с ним вместе в общественной деятельности (он был страстным поборником свободы и человечности, противником тоталитарного режима и шовинизма), довелось несколько лет заседать с ним в Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ. Разгон был единственным среди членов Комиссии, кто на своей шкуре испытал все прелести пребывания за колючей проволокой. Он мгновенно схватывал суть любого «дела», угадывал характер заключенного и обстоятельства, толкнувшие его на преступление... Он никогда не голосовал за смертную казнь.

Он выстрадал свой опыт и свои убеждения, пережил много утрат и потерь, ничего не приобрел, кроме книг и телевизора. Жил скромно, тесновато – ни дачи, ни машины. Зато сколько друзей, и каких! Зато – любовь и уважение. И враги, конечно, были (им от него доставалось свысока – он никогда не опускался до их уровня).

Скажите, как согласиться с тем, что каждая отдельная жизнь кончается смертью? Мне, литератору, это кажется неестественным: творчество приучает к тому, что удастся сохранить прекрасное и достойное, продлить до бесконечности. Как правило, стихи и романы приостанавливаются в нужном

для искусства месте («остановись, мгновенье!..»), создают иллюзию нетленности. Невольно я эту литературную привычку вносил в жизнь, начинал верить в невозможное. Лев Разгон сделал все, чтобы подтвердить, что он – исключение из правила.

Помню первое впечатление от знакомства с ним.

Мы жили в одном доме, но не сразу подружились. Я хаживал к Оттенам, дружил с Николаем Давыдовичем и Еленой Михайловной. Однажды к ним забежал жизнерадостный пожилой человек, быстрый в движениях, со смущенной улыбкой. Нас познакомили. Это был Лев Разгон. Когда он ушел, Николай Давыдович грустно сказал, как бы прося не очень-то верить той показной бодрости:

– Очень больной человек. Три или четыре инфаркта.

Боже мой, Лев Разгон пережил Оттенов лет на двадцать или больше! Лев Разгон опровергал законы возраста. Наша дружба казалась долгой, но все-таки радость всегда сопровождалась чувством тревоги. Я видел его, обласканного восторженной любовью на встречах с читателями, я видел его на митингах и на трибуне под гром аплодисментов, я видел его на больничной койке под капельницей. Годы шли. Всякий раз, когда его телефон не отвечал, я пугался. Потом опять стыдился своего маловерия. Он трижды умирал и воскресал.

Он был закоренелый позитивист (он в то время написал ряд популяризаторских книг о науке), ни в какую потусторонность не верил, потому так ценил каждый земной день, так любил жить.

Слава пришла к нему поздно, на седьмом десятке. Его книгу «Непридуманное» я читал в рукописи давно, верил, что она будет опубликована. В конце 1987 года почувствовал – пора. Выпросил у Льва Эммануиловича рукопись для журнала «Юность» (надо сказать, он поупорствовал, сомневался, но, слава Богу, дело сделалось). Не помню, каким образом «Огонек» нас опередил, рассказ «Жена президента» там выскочил раньше (кажется, одна из работниц «Юности» тихо передала этот рассказ Коротичу), но все-таки главная публикация (в четырех номерах, начиная с пятого за 1988 год) состоялась у нас и наделала шуму. Лев Разгон сразу стал в первый ряд литературных открытий эпохи «перестройки».

Храню журналы с его подписями: «Дорогому Кириллу Ковальджи – главному виновнику появления этого безобразия

на страницах советской прессы. Не отвертитесь!..», и «...другу и соучастнику этого преступления», и «вождю и организатору наших побед. С любовью. Лев Разгон».

Общение с ним всегда было радостью. Вопреки разнице в 22 года вкусы и убеждения у нас совпадали. Я ценил дружбу с молодежью, умел находить с ней общий язык, и вот – от самого молодого моего друга до Разгона был диапазон взаимопонимания больше 50 лет! Могу вас заверить: нет возрастных барьеров. Ум и талант вне времени. Вот только с грешной плотью дело сложнее. Она сдает раньше, чем хотелось бы. Да, и в случае Льва Разгона – раньше. Он прожил почти век, но он мог бы еще жить и жить. Интенсивно, интересно, получая удовольствие от каждого дня и одаривая собой современников.

Не в первый раз он отправлялся в больницу. Держался с неизменной мужественностью, позволял себе шутить, был весь нацелен на то, чтобы вырваться из очередной палаты, как вырвался из зоны. Но в тот раз, в конце мая 1999 года, он что-то почувствовал. Ему было ночью плохо, его должны были отвезти в больницу, мы до приезда «скорой» поговорили, поцеловались. И вдруг, уходя, в коридоре, где я еще разговаривал с его дочерью Наташей, я услышал громкие рыдания. Он откровенно и горько плакал, как ребенок. Я хотел было броситься к нему, но было неловко, и, потрясенный, я отправился восвояси.

И опять он боролся за жизнь, опять трижды умирал и воскресал, и все-таки вернулся домой. Но узнать его было трудно. Он резко и необратимо постарел.

Рада Полищук вспоминала слова Льва Разгона, сказанные им незадолго до смерти:

– Я, наверное, не доживу до XXI века. Хотелось бы дожить, но умереть в старости не стыдно, это закон жизни. Я не боюсь смерти, мне грустно думать, что я уже ничего не могу изменить ни в будущем, ни в прошлом... Ни сделать что-то важное, что не успел.

И все равно мы еще надеялись.

...Мне выпала горькая участь вести гражданскую панихиду в ЦДЛ, в гробу его почти не было видно – он утонул в цветах. Мне больно до сих пор, и долго еще будет больно. Никто мне его не заменит. Когда-нибудь я напишу о нем больше и лучше, а пока повторяю то, что сказал тогда, в день похорон:

– Среди нас жил чудесный человек – Лев Разгон. Феноменальный человек. Он был просто чудо. Он сумел прожить девяносто лет и не стать стариком. Ни его душа, ни его ум, ни его талант не знали старости. Мы привыкли к этому чуду, рассказывали легенды о нем, ставили в пример всем нытикам и малодушным. Гнали от себя мысль, что чудо не вечно. Горько, бесконечно горько, что и такое чудо кончается смертью.

Но чудо все-таки было! Но Лев Разгон согревал нашу жизнь, он любил жизнь, он был щедр, смел и красив. Я не был свидетелем его трагических лет, я его узнал человеком счастливым, обретающим известность, любовь и восхищение читателей в нашей стране и в мире. Он увидел мир. В том возрасте, который мы называем старостью, он пережил расцвет, радовался Парижу, и Риму, Лондону и Иерусалиму. Он верил в новую судьбу России, не только верил, но и всеми силами способствовал свободе, разумности и доброте.

Утром седьмого сентября я зашел к нему, он передал мне прочитанные дела для Комиссии по помилованию (вот уж буквально – работал до последнего дня!), жаловался на слабость, просил посидеть с ним минутку, но я торопился на службу, пообещал забежать вечером, а вечером... Больше живым я его не увидел.

Пришлось нам проводить его в последний путь, но мы вольны не отпускать Льва Разгона от себя, от своей памяти, от своей любви. Нашей любви.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ УХОДЯЩЕГО СТОЛЕТИЯ

Лев Эммануилович Разгон, замечательный писатель и солнечный человек, ушел из жизни сухой и ясной, последней осенью двадцатого века на девяносто втором году жизни. Жизнь эта была долгой и нелегкой. Корней Иванович Чуковский как-то сказал: «В России надо жить долго». Лев Разгон на наше счастье жил долго, хотя другой на его месте, возможно бы, сломался. Ушли из жизни Варлам Шаламов и другие выжившие узники, смертельно раненные зонами, а Разгон жил и радовался тому, что, как он сам говорил, «пересидел Сталина».

Лагерь не сломали его не только физически, но и духовно. Он не ожесточился, не озлобился. Его книга «Непридуманное», другие его повести и рассказы, несмотря на трагизм описываемых событий, где герой и автор – практически одно и то же лицо и литература тесно сплетена с документом, полны света и неистребимой надежды на победу добра. Даже в лагере, под гнетом и надзором, Лев Разгон оставался свободным человеком. Кто мог позволить себе тогда смеяться над усатым тираном? А он мог.

Я помню, что впервые услышал его рассказы в Переделкине, где мы снимали дачу вместе с Натаном Эйдельманом. Меня тогда поразил его не по возрасту юный задорный облик, особенно эти светлые по-мальчишески озорные глаза и манера держать себя совершенно свободно. С первого момента подкупало также его очевидное бесстрашие, поскольку то, что рассказывал он, даже тогда еще было небезопасно предавать гласности.

Потом мы подружились, и он буквально заставил перейти меня с ним на «ты», несмотря на мое упорное сопротивление –

все-таки четверть века разницы, да и величины несоразмерные. Однако по прошествии некоторого времени я начисто перестал замечать разницу в возрасте. Он оказался моложе и крепче духом не только меня, но и многих нынешних двадцатилетних.

Лев Разгон по-детски умел радоваться жизни. Он верил в счастливое чудо, и оно с ним происходило. Именно так к нему через много лет, проведенных в потемках ГУЛАГа, вдруг вернулась его старая рукопись, утерянная, казалось бы, навсегда. Она называлась необычно: «Позавчера и сегодня». Вчера – времени, проведенного в заточении, не было.

Биография его была причудливой. Родившись в 1908 году, в 1923-м он приехал в Москву, где в 1932 году закончил исторический факультет 2-го МГУ. Недолгая служба в ОГПУ в отделе под руководством его тогдашнего тестя, старого революционера-боевика, активного участника революции 1905 года Глеба Ивановича Бокия. Есть даже архивная фотография: Лев Разгон в чекистской форме. В первый раз его посадили еще в тридцатом году. В тридцать восьмом снова арестовали, и долгие годы, до окончательной амнистии в 1955 году, он провел в лагерях.

Тем не менее жертвой ГУЛАГа он себя не считал. Вот что он писал об этом: «Свободным человеком я стал в лагере. Там нечего было терять. В лагере освобождаешься от догм и стереотипов. Кроме того, у меня были счастливые возможности свободного общения с людьми огромного интеллекта. Потерял я за эти годы многое, но еще больше приобрел».

В лагерях сформировалось его мировоззрение на базе полного отвержения фальшивых идеалов коммунизма, которые он считал утопичными и античеловечными.

Со своей второй женой – Ревеккой Ефремовной Берг Лев Разгон познакомился в лагере и прожил с ней вместе 47 лет. Ее суммарный лагерный срок оказался даже больше, чем у него. Именно она помогла ему стать писателем. Смерть Рики была для него большим ударом. В последние годы Разгон собирал материал для книги о дочери и отце Бергах, которую так и хотел назвать: «Отец и дочь».

Жизнь свою без работы он не представлял. Вот что он сам писал об этом всего за полгода до смерти: «Для меня главным в жизни была и есть возможность трудиться. Седьмой год со-

стою членом Комиссии по помилованию при президенте России. Три полных дня в неделю читаю толстые папки с заявлениями о помиловании. Это счастье, что президент объявил мораторий на исполнение приговоров и с мая никого не казнят. Состою я и в совете «Мемориала», в совете Еврейского российского конгресса. Увы, я уже не могу передвигаться ни пешком, ни на городском транспорте, поэтому на собрания меня возят. Глупо умолчать о том, что за эти годы у меня было два инфаркта, повалялся по больницам, не понимаю, как ухитрился выжить, но все это не мешало ощущению счастья и удачи. Моя главная книга лагерно-тюремных воспоминаний продолжает выходить в разных странах. В прошлом году – в американском издательстве «Ардис», в этом – в Лондоне. В Италии вышел перевод книги «Позавчера и сегодня». Продолжаю публиковаться и часто выступаю по телевидению. Отказывать не имею права, ведь я – чуть ли не единственный свидетель уходящего столетия. В США умер мой ровесник Толя Рыбаков. Я работаю, активно живу и обязан чувствовать себя счастливым».

Одним из удивительных качеств Льва Разгона были изначальная доброжелательность к незнакомым людям и острое чувство справедливости вместе с практическим отсутствием чувства страха.

И хотя он был как бы из другого поколения, мы – шестидесятники – считали его своим.

Он любил женщин, и они любили его. Жена его племянника Ирина, живущая в США, вспоминает, что, когда он нес ее будущего мужа из родильного дома, то так заговорился с какой-то встреченной по пути красоткой, что, по уверениям родственников, чуть не потерял младенца.

Он любил петь и пел, кстати, превосходно. Предметом особой гордости для меня было то, что пару моих песен, знакомых ему еще с лагерной поры, он любил и пел.

Выступая на сцене в Политехническом музее на моем шестидесятилетии, он сказал: «Когда после семнадцати лет отсутствия я вернулся в Москву и очутился в обществе друзей моей двадцатилетней дочери, я был поражен – они все непрерывно что-нибудь пели. Большая часть этих песен принадлежала, как выяснилось, некоему Алику Городницкому, хотя я-то их слышал раньше и считал народными. И я сам невольно поддался магии этих песен, хотя и не сразу понял, в чем она зак-

лючается. В чем же причина успеха этих песен среди тогдашней молодежи? Во-первых, эти песни были вовсе не советскими, – они не звали на целину и в космос, не призывали бороться и побеждать, да и написаны были о нормальных человеческих чувствах нормальными человеческими словами, а во-вторых – это была поэзия».

Пару лет назад для авторского телевидения был снят фильм о моих песнях, где оказалась довольно своеобразная сцена. В соответствии с идеей режиссера, в мастерской у моего друга Бориса Жутовского сидят за столом мои друзья и разговаривают обо мне. На столе стоят водка и закуска, а сам я отсутствую. По режиссерскому плану в состав присутствующих должен войти художник (Борис Жутовский), политик (им стал мой давний приятель, один из лидеров партии «Яблоко» Владимир Лукин), поэт (в этой роли выступил известный в России и в других странах Игорь Губерман) и писатель, которым, к моей радости, согласился быть Лев Разгон. По мере употребления водки и закуски разговор приобретал все более непринужденный характер. Игорь Губерман уже со второй рюмки начал активно вовлекать в разговор неформальную лексику, и весь материал для фильма безнадежно пропал, а я, отсмотрев эти кадры, узнал о себе массу нового и интересного. Дело однако не в этом, а в том, что, когда зашла речь о песне «Снег», написанной в пятьдесят восьмом году, Разгон стал страстно доказывать, что он ее слышал на зоне еще в пятьдесят пятом, чем немало подогрел мое авторское тщеславие.

Жизнерадостный по натуре, он и в последние годы позволял себе дружеские посиделки с выпивкой. Помню, на банкете по поводу моего юбилея он выпил довольно много за пару дней до собственного девяностолетия.

В своем отношении к людям, к друзьям и врагам, к женщинам, к правде и неправде, по своему удивительному бескорыстию и фатальной вере в победу добра он был настоящим рыцарем и настоящим мужчиной – категории нетипичные в нашу торгашескую эпоху.

Он любил друзей, и друзья любили его. В последние годы, когда стало сдавать сердце, они сделали все, чтобы продлить эту замечательную жизнь. Трудно перечислить всех, но хотелось бы выделить, кроме его дочери Наташи, еще Евгению Альбац, помогавшую ему в самые трудные часы.

При жизни Лев Разгон не был религиозным человеком, но хоронили его на Востряковском кладбище по традиционному религиозному обряду. Во время панихиды в Центральном доме литераторов, куда собралась, кажется, вся Москва, и на кладбище, согласно его последнему желанию звучали мотивы еврейских народных песен, которые мастерски исполнял на скрипке один из прекрасных авторов и исполнителей авторской песни Борис Кинер. Солнечная и ясная осенняя погода, звуки скрипочки, просветленные лица провожающих – все это придавало грустному обряду прощания какую-то странную праздничность.

Он совсем немного не дотянул до рубежа тысячелетий, до выборов, которые ожидал с надеждой. Он навсегда остался в уходящем Двадцатом столетии рядом с другими такими же светлыми рыцарями правды, как Андрей Дмитриевич Сахаров и Булат Окуджава – его коллега в Комиссии по помилованию.

Не случайно Булат Окуджава посвятил Льву Разгону песню, опубликованную в его последнем сборнике «Чаепитие на Арбате»:

Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутельники,
а я до сих пор молодой.

Вот таким молодым он и остался теперь уже на все времена, свободный человек в несвободной стране, оптимист в век разочарования и уныния.

Мы осиротели, ибо некому теперь подавать нам живой пример нравственности и бодрости, радости и принципиальности, чувства собственного достоинства.

Трудно, почти невозможно поверить, что его нет.
Зато нам есть у кого учиться.

ДУЭЛЬ

Записки секунданта

Ноябрь в прошлом году был, как всегда, промозглый и темный. Звонок раздался к вечеру.

– Слушай, Борис, – сказал он озорным голосом, – мне нужна твоя помощь!

– Всегда, – отвечал я, заигрывая, – к твоим услугам.

– Нужен секундант, предстоит дуэль.

– Когда, сэр? – я встал и выпрямил спину.

– Завтра, в полдвенадцатого, жду! – и брякнул трубкой.

Чуть позже я заскучал.

А если «Мартынов» ответит? А если «Лермонтов» завалится? Хорош я буду, потакая девяностолетнему старику в мальчишеских шалостях!

На всякий случай запихнул в сумку нитроглицерин, валидол, газовый баллончик и электрошоковую дубинку, которую, впрочем без всякого успеха, испробовал на бродячих собаках.

Он стоял в крохотном своем коридорчике, одетый, в беретке, склонив набок голову.

Его дочь Наташка из кухни запротестовала самым противным голосом. «Ну, ладно, ты – шестидесятипятилетний сопляк, шпана, что с тебя взять? – верещала она в последней попытке расколоть бретерскую компанию. – Но ты-то, ты – приличный больной старик! Ты-то куда?» – придумала она меня зачинщиком, а отца робким интеллигентом, которому неудобно отказать другу в сомнительной затее.

– Не слушай эти идиотские вопли, – шепнул Лева, – пошли!

И мы пошли.

– Кого будем мочить? – спросил я в лифте.

– Не спрашивай, растрясую злость, там поймешь, – и вытаращил озорной голубой глаз.

Сели в машину.

– Куда прикажете, сэръ?

– На Поварскую, в Институт мировой литературы, – приказал «Лермонтов», и мы поехали.

Как люди чести мы прибыли за семь минут до срока. Пристроили «ландо» под задницей бронзового Алексея Максимовича времен Данко и старухи Изергиль и подождали.

За минуту до часа икс вошли в вестибюль. Пусто.

Вернее, не пусто, но – «Мартынова» нет.

Пыль, ветхость.

Несколько старушек шмыгают за стойкой раздевалки с тряпкой на щетке у мутного зеркала.

В углу – полки с прекрасными книгами, которые можно трогать, брать в руки, листать, класть на место, опять брать...

Лева стоит посреди вестибюля слегка побледневший.

Когда-то, много лет назад, у Дани (Даниил Семенович Данин – давний друг Л.Э.Разгона, на Малой Дмитровке, мы придумывали картинку к его «Неизбежности странного мира». Кто-то позвонил. «Вот сейчас войдет человек, – сказал тогда Даня, – отсидевший семнадцать лет». И вошел Лев Разгон. Он был вот так же бледен. «Как граф Монте-Кристо, – подумал я тогда, – после замка Иф».

Продавец книг и его собеседник за моей спиной вполголоса обсуждали важную тему: «Ну что вы говорите, Троцкий же был интеллигентный, начитанный человек, а на этих вы только посмотрите, даже слушать не надо. И чем это может кончиться?»

В дверь просунулся огромный человек в пуховой куртке и жириновском картузе. Плоское лицо с беловатым глазом уставилось на вставшего на пути Лева.

– Вы – господин Соколов Борис Вадимович? – спросил мой дуэлянт, склонив голову к плечу.

– Ну, – ответило лицо.

– Я – Лев Эммануилович Разгон. Я хотел бы задать вам следующий вопрос, – едва переждав «ну», продолжил Лева. – Из каких источников вы почерпнули информацию, опубликованную в вашей книге («Булгаковская энциклопедия», стр. 153–

154. – Б. Ж.), о том, что Глеб Иванович Бокий завел на своей даче бордель, куда втянул и двух своих юных дочерей?

Я встал за спиной Соколова, у его правой руки, и расстегнул сумку.

– Взял это в личном деле Бокия в КГБ, на Лубянке, – ответил «Мартынов», не соображая еще до конца, что его ждет.

– Вы – лжец, – сказал Лева, – и негодай. В личном деле Бокия на Лубянке я сам видел всего четыре листочка: два протокола допросов, приговор о расстреле и справку о приведении приговора в исполнение.

– Ну тогда, наверное, я взял это из книги, – и пробормотал чью-то неизвестную фамилию.

– А почему же вы не закавычили в таком случае этот текст? – И Лева вынул правую руку из кармана курточки.

– А я никогда не кавычу, – ответил доктор филологических наук, забираясь дурным глазом в дальний коридор.

– Я лучше кого бы то ни было знаю цену деятельности и поступкам Глеба Ивановича Бокия, он был моим тестем, – продолжал без паузы Лева. – И я сам был арестован вскоре после его расстрела. А одна из его дочерей, Оксана, оболганная вами, была моей женой. И в двадцать два года, через час после моего ареста, тоже была арестована. После допросов и пыток на Лубянке отправлена в пеший этап на север. Она умерла от диабета на пересылке Вогвоздино, так и не дойдя до лагеря. Ее сестра, также арестованная по статье 58-10, вернулась умирать изможденным полуживым человеком. А вы, негодай и подлец, не даете себе труда даже закавычить чужую ложь. Или, скорее всего, избегаете свою.

После чего Лева потянулся на цыпочках, чтобы достать, и ляпнул противника по морде. Я немедленно воткнул ему в спину палец и тихо предупредил: «Не шевелись, сука, стой смирно!»

Сообразив, что я не лишний, он стал разворачиваться ко мне, но тут Лева догнал его еще одной оплеухой.

Туальденоровые старушки, усунувшиеся по углам в начале разговора, со страхом и любопытством выглядывали, трясая седыми буколками. Одна из них, в глубине уходящих ступеней, объясняла вышедшему из глубин мировой литературы мужчине послушным эхом: «Эти двое пожилых людей бьют нашего сотрудника».

Поклонники Троцкого сверкали любопытными очками.

– Пошли, Борька, мы все сделали, – сказал Лева.

Я отпустил доктора филологических наук, и мы отправились к выходу.

– И учтите, – обернулся к застывшему куску науки Лева, – я на этом не успокоюсь.

Мы вышли и сели в машину.

– Я сделал это, сделал, как я счастлив, что я сделал это! – говорил мой дуэлянт под шум разгорающегося двигателя.

– Пососи валидол, бретер! – сказал я ему.

– Зачем? Я очень хорошо себя чувствую, – отвечал он, склонив голову к плечу.

– Пососи, – говорю, – пососи.

Он послушно побрызгал из баллончика валидолом.

– Поехали, давай, там Наташка психует.

– Подожди, секундант имеет право выкурить сигарету? – спросил я, отмякая благополучным исходом.

– Это ты прав, – ответил Лева, и я затаился.

В окно машины со стороны Левы кто-то заскребся, и он открыл дверцу.

Перед ним, слегка склонившись, стояла в грязном снегу одна из вестибюльных старушек в тянутой довоенной кофте, в вытоптанных тапочках и аккуратно разложенных на голове седых завитушках. «Лев Эммануилович, – теребя очки, произнесла она, – я никогда не видела вас в лицо, но хочу выразить вам свое восхищение и почтение».

Лева поймал ее руку и поцеловал.

Старушка замахала в воздухе второй ручкой, присела, повернулась и засеменила к дверям Института мировой литературы.

Алексей Максимович, высоко задрал голову, по-прежнему смотрел бронзовым взглядом куда-то в сторону своего дома.

И мы поехали.

Наташка, не чаявшая увидеть нас в порядке, на веселый крик отца: «Я сделал это, я сделал это!» – молча выкатила на стол бутылку водки и полбутылки виски, и мы благополучно выхлестали все это на троих.

Да, он сделал это, показав, что честь мертвых и живых, его, моя, наша, имеет цену и что пренебрегать этим не следует никогда.

Каюсь, я тут немножко присочинил. Девяносто ему будет только в апреле.

ОН ИЗБЫЛ СВОЮ МИССИЮ НА ЗЕМЛЕ

Как странно... Вспоминаю Леву – и ни одного серьезного разговора. Только и помнится мне: смех, насмешки, байки из ушедшего времени. А вместе с тем узнал я от него много нового, и серьезного, и сурового, и важного. Ведь говорил о тяжелых, даже страшных вещах, о сложности своей судьбы, о неожиданных поворотах в пути от начала века до его конца, от начала своего пути до последних дней своей жизни. Они почти сверстники и ровесники – XX век и век Льва Эммануиловича Разгона. А что ж мне помнятся лишь веселый Левин глаз, добрая, почти постоянная улыбка, смех, застольные разговоры? А вот в том-то, наверное, и сила добра, что оно не имеет вид суровый. Кто же это придумал, что добро должно быть с кулаками? Леву пропустили сквозь многокулачный строй, и он про все говорил с улыбкой. Добро все равно победит, правда, порой и с опозданием. Лева дождался долгожданной победы. Но он дождался лишь начала шествия этого долгожданного, а нам, со своей улыбкой, приказал долго жить, чтоб мы еще могли посмотреть, как оно, добро, шагает. Впрочем, я не прав – добро не побеждает, оно приходит. Злу нужна только победа, и обязательно после драки. А Лева не дрался – он жил, раздавал улыбки, торил дорогу добру.

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И в результате он и оказался тем счастливым человеком, который при жизни слышал обращенные к нему слова, что говорят, в основном, лишь когда человек умрет – на похоронах, на поминках. Каждому бы хотелось услышать при жизни те славословия, которые почему-то придерживают до последнего прощания, ког-

да сам герой уже не может ни услышать, ни порадоваться. Не каждому дано. Разгону было дано. Он пожал, что сеял все последние две трети своей жизни.

А начало жизни – в глухом, невежественном, полуголодном местечке. Затем в Москве, соблазненный утопическими прельщениями, он через комсомол верно служил той безнравственности, которая была освящена словами пророка только что рожденного режима, будто нравственно то, что полезно делу рабочего класса. Как Раскольникову на каторге, так и Лева пришло прозрение на островах архипелага ГУЛАГ, определявшего жизнь страны, а может, и остального мира. Всей своей последующей жизнью он отмаливал грехи молодости.

Многие, пройдя тлеющий, но сжигающий огонь наших перемен, сточные воды системы и канализационные трубы режима, все равно так ничего и не поняли. Так и продолжают талдычить про социальную справедливость, которая, если дробь упростить, – всего лишь одно из проявлений мести. Многие, называющие себя христианами, тем не менее не придерживаются основной заповеди «до седмижды семидесяти раз прощать», а живут духом мести, вежливо называемой этой самой социальной справедливостью. Лева не был правоверным иудеем, равно как и христианином, но отсутствие мстительности и терпимости многие христиане могли бы у него перенять. Также и от идеи равенства не смогли отрешиться иные из прошедших слевой тот путь по лагерям и ссылкам, что должен бы помочь понять неправду и этой сатанинской прелести. Равенства быть не может, ибо все люди разные, а потому не равные. Так, по-видимому, задумал Господь: не могут быть равными Адам и Ева, Авель и Каин, Сим и Хам, Исаак и Исав, один блондин, другой брюнет, и седая грива не сравняется с голой головой. (Последние неравенства – это в стиле Левы, в его память.) Истинная справедливость – в заработанном неравенстве. Каждому по делам его.

Все, что он пережил, не прошло для него пустой каторгой. Обострился его разум. Встал на путь к истине. До истины пока никто не дошел, но важно встать на верный путь к ней. На путь без мести, путь беспредельного добросердечия, которое он постиг и которого достиг. Путь от местечкового мальчишки, комсомольского дурачка, придуривавшегося зека – к Человеку. Не всем это оказалось по силам. Ему по силам.

Когда он выпивал, еще больше лучились его глаза, и сыпались из него добрые байки, несмотря на недоброе время. И не было в его рассказах даже повода для мести. Мне как-то возразили, что книги его и есть месть. Нет – пощечина не месть, и даже не оплеуха, не удар. В книгах о своем былом, несмотря на страшные описанные им случаи, ни капли мести, а только Memento! – помни, да No nocere – не навреди.

Вспоминаю!.. И захотелось вспомнить что-то из его умных, ироничных и добрых баек. Лева был великолепный рассказчик, и слушать его было веселым удовольствием. Фабула грустно гнусная, но аранжированная доброй улыбкой. Вот, например, вспоминается мне веселая байка, что он рассказывал как-то во время нашей совместной поездки.

Был перерыв между лагерями. После войны, когда все думали, что забрезжил свет, и до очередной волны террора, когда свет погас. Этот перерыв Разгон провел в полуссылке где-то в глубинах нашей родины, в деревне. Умер кто-то из вождей-подмастерьев. (Вождь-мастер был один.) Обязательный траурный митинг в сельском клубе, где начальником был ветеран войны, Герой Советского Союза. С полей снят народ и посажен в зале клуба. В президиуме представители райкома – руководство этого народа. Лева сидит рядом с ветераном, ответственным за это собрание в клубе, и вдруг видит, что портрет покойного вождя перепутан и со сцены на скорбящих взирает не покойный, скажем, Жданов, а, допустим, еще живой Шверник. Да кто ж их там знает, кому они интересны. Но коль увидят, сообразят – по тем временам за колючую проволоку угодить вполне реально. Лева шепнул ветерану про ошибку. Тот побледнел, осунулся на глазах, всколыхнулся. Снять, сменить, исправиться!.. Лева успел схватить его за руку. «Не сходи с ума. Молчи. Никто же не заметил. После митинга этот портрет уничтожь, будто его у тебя никогда и не было». Они сидели и слушали траурные речи. Так никто и не заметил, что перепутали всенародных любимцев, отцов, радетелей за этот народ и все прогрессивное человечество. Да кто же их знал в лицо – этих из Политбюро. И все обошлось. Лева был уже грамотный и уже тогда уберегал людей от властей. Тут и ум Левин виден, и доброта, и порядочность, ироничность. Вся его реакция на событие и рассказ об этом были адекватны и ему, и времени.

Почти сорок лет я знаю Леву. Разница в возрасте на целое поколение не помешала нам сблизиться на «ты» и по именам.

Несколько лет, как он вернулся в Москву. Я познакомился с ним у старого друга его и тогда, почти сорок лет тому, нового моего, Даниила Семеновича Данина. Было дружеское застолье. Это первая встреча с ним. Какой-то реабилитированный – их тогда было много. Писал что-то детское... просветительское. Участвовал вместе с Даниным в издании научно-художественного альманаха. Я видал лишь его книгу о большом просветителе недавнего прошлого Рубакине. О самом наболевшем и рвущемся из него еще не писал... во всяком случае, не печатал. Писал про интеллигентов, про сеявших «разумное, доброе, вечное». Все радовались его первой книге после отсидки. И все разговоры под рюмку и закуску пока еще были о прошлой, допосадочной жизни детской литературы. Основные слушатели были мы, входящие, начинающие, я и Натан Эйдельман. Эйдельман, как историк, собирал все байки прошлого и записывал их в большую тетрадь, будущую большую книгу, которую, к сожалению, он так и не успел написать. Разгон рассказывал:

– Как-то маялись мы с Аркадием Гайдаром – хотелось выпить. Аркадий был весьма пьющий, да и я не отказывался от радости пить с друзьями. Аркадию должны были выплатить в Детгизе гонорар, но день был «невыплатной», а главный бухгалтер, как и подобает на такой должности, был суров, и даже такой любимец издательства, как Гайдар, не мог его разжалобить. Классик детской, большевистской литературы, как и правящая идеология, считал, что цель оправдывает средства. А потому перед походом в издательство Аркадий потащил меня в зоомагазин на Кузнецком мосту, неподалеку от издательства, купил там ужа и запрятал его в портфель, к рукописям. Когда, после долгих слов и уговоров, он все же услышал ожидаемый отказ, автор «Военной тайны» выхватил из портфеля змею, приставил ее к своей груди и патетически возопил: «Так пусть эта гадюка ликвидирует мою нужду!» Не устоял финансист. А мы с Аркадием хорошо отпраздновали победу.

Мы с Эйдельманом были очарованы, с того дня и завязалась наша дружба слевой. Он был удивительно душевен и доступен радостям жизни. Душевен и доступен нам.

Доброе семя и в дерьме породит, в конце концов, добро. Гнилое зерно и в самом качественном навозе будет и дальше

гнить, лишь увеличивая грязь нечистот. Вся нечисть прошлого слетела с него словно шелуха. Что было в него вложено от роду, проявилось не только в его рассказах о прошлом, но и в самой его многотрудной обыденной жизни уже после реабилитации в застойном мраке брежневской поры.

Надо обладать большой устойчивостью, плавучестью, силой, мужеством, очень добрым характером и, разумеется, талантом, беспощадно понимать и исправлять собственные ошибки, чтоб сохранить не только разум, но и чистоту восприятия мира.

Лева прожил весь этот странный, кровавый век! Собственно, даже больше. Век, как и возраст человека, понятие качественное, а не количественное. XX век – короткий век. Он начался, наверное, с четырнадцатого года, вместе с первой мировой... Или и того хлеще – с октября семнадцатого года, когда Россия свою катастрофу сделала явлением всемирным. А кончился этот век со смертью режима, порожденного тем семнадцатым годом.

Разгон родился в девятьсот восьмом году и мальчишкой еще, по молодости и невежественности после Гражданской войны пошел к свету, что виделся ему впереди. Но свет был тот, что и в тоннеле, по некоторым рассказам реанимированных после смерти клинической, предвещает, предвещает смерть окончательную. Разгон дожил и до конца этого века и сумел еще прожить в новом, трудном, рождающемся времени почти десять лет. Век был короткий, но жизней он унес, пожалуй, тысячекратно больше, чем длинный век XIX, начавшийся в 1789 году Французской революцией.

Разгон пережил еще ребенком две войны, потрясших нашу страну. Зеком, в лагере, пережил и вторую мировую. И уже выйдя из малой зоны лагеря за колючей проволокой в большую зону «социалистического лагеря» якобы «демократических» стран, он перенес третью мировую, «холодную» войну. Окончившуюся поражением режима. Не страны – режима.

Разгон со светлой надеждой встретил падение режима и новое время. Он до конца жизни сохранял исторический оптимизм и верил, что придет покой и на нашу землю. Потому и сумел не только жить в свои весьма преклонные годы, но и описать то, что тяжким камнем лежало на душе у него и всего нашего народа. Лишь чудом, промыслом Божиим можно счи-

тать явившуюся, словно с того света, книгу, написанную им в лагере для дочери и исчезнувшую более чем на тридцать лет. Добрые люди, которых наверняка на свете больше, чем дурных, как считал Разгон, и, как видите, оказался прав, книгу его сохранили, передали ему ту зековскую тетрадку. Он сумел ее прочесть дочери, хотя она и была уже пенсионеркой.

Он сохранил любовь к жизни, тягу к новому, молодому. И в девяносто лет он был молод, активен, дружелюбен. Все помнится его «Юлик, пора выпить...» – призыв к застолью, где он реализовывал свою вечную (вековую) молодость. И это тоже, наверно, помогло ему прожить тот век.

Последнее его застолье. У Лидии Борисовны Либединской. Гуляли восьмидесятипятилетие друга Дани Данина. Как хорошо, что последнее застолье – с большим, давним, очень давним другом. Было это в марте года смерти. За несколько месяцев до его ухода от нас.

Я горюю, что мне отныне не поговорить со старшим другом, не побалагурить с ним, не рассказать или послушать новый анекдот; некому со смехом сквозь слезы вспомнить правоохранников, противопоставлявших себя правозащитникам и всему цивилизованному миру. Родного собеседника нет.

Он полностью изжил свою миссию на этой земле. Он достойно завершил свою жизнь. Сначала он был прельщен и очарован утопией, потом страдал от режима и разочаровывался в утопии, потом, вместе со временем, дождался слома утопии и поражения порожденного ею режима.

Он уже в истории, но нам, рядом с ним жившим, знавшим его, любившим его, будет очень его не хватать. Мы привыкли к нему, мы любили его. С любимыми трудно расставаться. Себя жалеем.

СНЫ О ПУШКИНЕ

В семидесятые годы Лев Разгон любил собирать своих молодых друзей на чашку чая. Мы знали весь обязательный ритуал: сначала Рика, Левина жена и боевая подруга, хозяйка задушенной книгами квартиры на Малой Грузинской, поила нас крепким чаем и сухим вином, а затем, очистив стол, подавала мужу несколько ею же отпечатанных машинописных листков. И начиналось самое главное – известный детский писатель и признанный «популяризатор» науки не спеша, глуховатым голосом, вначале всегда очень волнуясь, читал свой новый, только что написанный рассказ «с того света».

И когда поздно вечером, ошеломленные и потрясенные услышанным, мы расходились по домам, он неизменно напоминал: «Видите, ребята, диван? Я кладу листочки в самый низ. Когда меня не будет в живых, обязательно заберите их оттуда и сохраните!» А все потому, что однажды, после очередного инфаркта, он вдруг четко понял, что не имеет права унести с собой в мир иной все, что сам пережил и увидел, что он обязан рассказать о своем страшном опыте людям, поделиться светлой печалью, с которой возникали в его памяти, ясно и отчетливо, сотни человеческих судеб, лиц, страданий и трагедий, ставших общей трагедией огромной страны. Так, из этого непреодолимого желания высказаться и выговориться, начали рождаться маленькие непридуманные истории о страшных буднях ГУЛАГа, о каждодневных и привычных делах преступного монстра, который отобрал у автора 17 лет его молодой жизни. Они не были отмечены обличительным пафосом, а лишь горечью и грустью. И в мыслях не было публи-

ковать эти записки – на дворе стоял самый разгар брежневского застоя.

Лев Разгон не считал себя борцом с режимом, он сам отвел себе другую роль – свидетеля обвинения на будущем – доживем ли? – Суде Истории. Отсюда, наверное, забота о сохранности рукописей и желание прочесть их друзьям. Могли ли мы тогда предполагать, что Лев не только увидит их опубликованными на родине, но и переизданными на десятки иностранных языков. Что его непридуманные короткие рассказы прочтут миллионы людей во всем мире. И что придет время, когда уже невозможно будет представить себе летопись нашего времени без этих искренних, неторопливых, лишенных внешних эффектов, почти бесхитростных строк.

Лев любил вспоминать, как вскоре после освобождения из лагеря и реабилитации, в 1955 году, они поехали в первый раз отдохнуть на море. Прогуливаясь по берегу, Разгоны доходили до огромной гранитной статуи вождя народов, и Рика Ефремовна не забывала обратиться к каменному исполину со словами некоторого злорадства и торжества: «Видишь, ты сдох, а мы гуляем!»

Мне крупно повезло в жизни: нежная дружба со Львом Эммануиловичем – один из самых щедрых и незаслуженных подарков судьбы. Много лет я был сказочно богат и наслаждался этой дружбой, роскошью общения с ним, изобретательными его подсказками и мудрыми советами, трогательной заботой, долгими разговорами обо всем и ни о чем, его замечательным чтением стихов, которых он знал великое множество, его веселым, совсем детским смехом, бесконечными байками, великолепными тостами, терпеливыми наставлениями. И прогулками по переделкинским дорожкам, и телефонными перезвонами, и неожиданными подарками, и его остроумными письмами и ласковыми подписями на книгах и фотографиях.

Нам довелось не раз путешествовать вместе – и по нашей стране, и «за бугром». Лев по знакомству умудрялся брать меня с собой в самые немыслимые поездки. Один раз, 15 лет назад, например, увез меня с сыном в далекий Ашхабад, праздновать «дружбу народов, дружбу литератур». В другой раз он отправил меня в Сибирь, для участия в писательском действе с грандиозным названием «Пушкинский праздник поэзии в декабрист-

тских местах», вместе со своими близкими друзьями – Булатом Окуджавой, Лидией Либединской, Марком Сергеевым. Надо ли объяснять, что это было одно из самых замечательных путешествий в моей жизни!

Однажды мне выпала честь переводить выступление Разгона перед итальянскими детьми в огромном кафедральном соборе тосканского города Ареццо. Лев Эммануилович, вместе с моей институтской учительницей Юлией Добровольской, был приглашен принять участие в молодежном «марше мира» (в Италии еще не вышли из моды подобные сборища). Лев, не забывший, конечно, высокой миссии детского писателя, сразу же овладел аудиторией. Он признался своим юным слушателям, что всю жизнь ненавидел марши. Марши штурмовиков, марши праздничных колонн, марши зековских этапов. И что этот, ареццкий марш оказался первым, под который он с радостью шагал. Собор взорвался аплодисментами...

...Есть, знаете ли, такой малоизвестный жанр в пушкинистике: сны о Пушкине. Начало ему положил знаменитый рассказ Фаины Григорьевны Раневской о том, как она сообщила Анне Андреевне Ахматовой, что видела во сне великого поэта. Анна Андреевна, гостившая тогда в Москве, кажется, у Ардовых, запретила Раневской рассказывать по телефону, объяснив, что немедленно выезжает к ней. И дальше следовал подробный отчет о приснившемся Пушкине, о его быстрой прогулке по Тверскому бульвару, о его белозубой, ослепительной улыбке...

Лев Разгон умудрился продолжить традицию. Он позвонил мне как-то утром и заявил: «Мне сегодня приснился Пушкин, немедленно приезжай!» Через час я сидел на том самом заветном диване и с волнением слушал, как (во сне) Леве позвонили из Союза писателей и пригласили на очередную пушкинскую конференцию в музей-заповедник в Михайловское. И как он поблагодарил и вежливо отказался, сославшись на легкое недомогание. «Дело ваше, Лев Эммануилович, только сам Пушкин обещал там быть». «Что вы говорите? Это, конечно, меняет дело. Спасибо, обязательно приеду». Он добирается из Пскова на автобусе, немного опаздывает и входит в господскую усадьбу, когда конференция уже началась. На трибуне – очередной исследователь пушкинского творчества трактует какие-то суффиксы в ранней лицейской лирике, коллеги-писа-

тели внимают, а несколько поодаль, в углу, утопая в старинном кресле, явно скучает сам Пушкин, полируя пилочкой ногти. В перерыве – «все в буфет, за сардельками». А Пушкин подходит: «Не составите ли, уважаемый, компанию пройтись до Тригорского?!» – «Почту за честь, Александр Сергеевич!» И вот они вдвоем идут через знаменитые рощи, вдоль прудов, мимо трех сосен, и Пушкин то и дело спотыкается о мраморные таблички с золочеными цитатами из собственных стихов и ворчит: «Черт бы побрал этого Гейченко, понаставил тут препятствий...» Шагает широко, быстро, размахивая тростью с тяжелым набалдашником. А Разгон ведь намного старше, он уже устал, не поспевает, удивляется: «Я только сейчас понял, Александр Сергеевич, как это вы так каждый день к барышням до Тригорского и обратно – не ближний свет!» – «Обижаете, Лев Эммануилович, мы хоть и мелкопоместные, а все ж дворяне! Я же верхом, батенька, верхом...»

За этот мимолетный сон о Пушкине, за многие другие сны и прозрения мой низкий поклон Льву Разгону.

РАЗГОН И ДАНИН — В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

«Плен в своем отечестве» – так называется книга Разгона, изданная в 1994-м. На глянцевой обложке – фотография автора на фоне распахнутой двери камеры старого следственного корпуса Бутырок. Перспектива тамошнего, знакомого и мне коридора – на задней сторонке обложки. Камеры символически настезь. Дескать, господа бывшие зеки, фоторепортеры и читатели, – убедитесь, как изменились времена и нравы.

Но таким, как на этом последнем бутырском портрете, за сорок лет я видел Разгона считанные разы. Столь выпрямленным, неожиданно высоким, суровым, сумрачным он был, когда расставался со своей бесценной спутницей Рикой, и на проводах в иной мир Олега Писаржевского, Шеры Шарова, Бориса Агапова, Юрия Вебера, Тоника Эйдельмана – друзей по научно-художественной прозе, по редколлегии, по мыслям, почти по всей послелагерной жизни. И, конечно, когда он писал самые острые очерки «Плена» – этого расширенного и дополненного издания его Главной Книги, «Непридуманного», прозвеневшего на весь мир пронзительной болью о близких и о миллионах далеких, не ведомых по именам, и как близкие, перемолотых в лагерную пыль:

А мне ни мертвых не вернуть назад,
И ни живого вычеркнуть из списка.

Эти строки Юрия Домбровского звучали в нем, когда он писал свою Главную Книгу.

Обычно же я видел Льва Эммануиловича весьма не похожим на фото с той обложки. Сутуловатым, из-за этого он казался меньше ростом. Почти всегда улыбающимся: то иронически, то – по случаю – сардонически, а чаще просто весело. Даже когда он изображал нарочитую серьезность, светлые глаза все равно смеялись.

Почему в моих воспоминаниях сразу возник Даниил Данин?.. Да не могу я себе их представить друг без друга, как и Разгона без Рики. Без единства их дум и дел – при броском различии характеров, темпераментов, обликов, манер. Друзей у Льва Эммануиловича была тьма: и стародавних, и лагерных, и обретенных на воле. Но после возвращения никто не был так близок ему и Рике, как Данин и его жена Туся, самый старый друг Разгона. Близок и человечески и творчески. Не проходило дня, когда б они если не повидались – не перезвонились по телефону, даже издалека, и не выплеснули бы друг другу то, что сегодня точит мозг. Данин, младший годами в их тандеме, и Туся были движителями Левиного послелагерного воскрешения, и в первую очередь – профессионального. Кстати, само наше с ним знакомство тоже состоялось отчасти благодаря Данину.

Знакомство наше случилось в начале шестьдесят первого года.

После Норильлага я, бывший первокурсник Литинститута, втиснулся в Ивановский медицинский – Москва была запретна. («Доучиться хотя бы до третьего курса, – если опять загребут, стану «лепилой»!..) Ура! «Ус» подох, я рванул в Москву, одипломился, пять лет посовмещал акушерско-хирургическую бессонницу с бессонницей литераторской: строчил первые повести, научно-популярные и прочие очерки.

В августе шестидесятого я стал сотрудником отдела науки в редакции «Литературной газеты».

И вот в некий прекрасный день меня вызывает к себе «начальство» – дескать, знакомьтесь: Льва Эммануиловича рекомендовал как возможного автора Данин. А я представлен Разгону как его вероятный газетный редактор и «человек такой же судьбы...»

Что Разгон – вчерашний зек, я угадал сразу, еще до упоминания о сходстве судеб. Хотя бы по его позе – как он привалился к спинке стула. И по тому, как повел плечами, встав, что-

бы поздороваться, по испытующему «хитромудрому» взгляду и улыбке-ухмылке. У большинства из нашего брата эти взгляды, позы, ухмылочки со временем стирались. В Разгоне их следы виднелись даже через сорок лет. По-моему, он в себе их сохранил сознательно: они были ему необходимы.

За две минуты пути от кабинета начальницы в мою келью «возможный автор» провел классический опрос: «когда взяли?», «где сидел?», «статья?», «срок?», «когда освободился?». И узнав, что я не отбыл и трех лет, усмехнулся:

– Какой вы зек!.. Фрей!.. Даже оленьи рога толком не сбросили!.. Мальчик, включая ссылку, я отзвонил семнадцать!..

– Виноват! Если еще попаду – постараюсь досидеть!..

Увы, Разгон сказал, что для газеты он вряд ли станет писать специально. И вообще ему некогда. Во-первых, работа в Доме детской книги. Во-вторых, он – составитель «Путей в неизвестное». («Первый сборник видели?» – «Конечно, читал!» – «Мы второй сдаем...») В-третьих, он пишет большую вещь о великом популяризаторе многих наук Якове Перельмане («Знаю, знаю!») и собирается писать о великом книжнике Рубакине.

– Это Даня Данин меня к вам затолкал. Что ж, вас я посетил, задание выполнено. Далее можно жить как хочется.

...По-моему, мы все-таки напечатали безумно сокращенный вариант его большого очерка о Перельмане «Человек, который написал библиотеку» или отрывки из него. В памяти – заголовок на газетной полосе. А сочинение о Рубакине в редакцию Разгон даже не приносил – я прочитал эту вещь в сборнике, а потом в подаренной им книжке. Все-таки он оставался «кошкой, которая гуляла сама по себе». Писал о том, что тихо созрело в его «нутре».

...И дальше все вышло наоборот: не Лев Эммануилович стал моим постоянным автором в «ЛГ», а я – постоянным автором Разгона и Данина, постоянным автором «Путей в неизвестное».

Литературный уровень повременника был очень высок. А редактора Разгона и Данина была почти незаметна – этаким высшим пилотажем. Пометят неудачное слово или оборот – всегда точно. Подскажут – так, чтоб не навредить – композиционную перестановку или почти неизбежные сокращения.

Из двух главных действующих лиц редколлегии Разгон был либералом, а Данин – радикалом.

Мой дебют в «Путях», очерк о кардиохирургах, был удачен – на большое повествование о генетике для следующего сборника по ходатайству Разгона и Данина издательство даже заключило со мной авансовый договор. Увы, в поте лица высиженное яичко разбилось без мышьиной помощи. Данин неистовствовал:

– Это труха, Борис Генрихович!

Разгон уговаривал его обойтись со мной снисходительней, скомпоновать общими усилиями нечто «съедобное» из более или менее удачных кусков (обоим понравились, в частности, литературные портреты Левенгука и Менделя, кстати, не пропавшие втуне). Лев Эммануилович – мы еще не успели перейти на «ты» – понимал, что из-за этого провала я останусь без копейки на целый год. Но я забрал рукопись и поехал с генетиками и биохимиками в экспедицию на Баренцево море. Второе моё научно-художественное повествование увидело свет спустя год.

У «Путей в незнаемое» был подзаголовок: «Писатели рассказывают о науке». Он звучал, как призыв к будущим авторам.

Сборник был как бы факелом художественной прозы о науке и ее людях. В шестидесятые мечталось, что Научный Прогресс изменит само наше общество. Что он, быть может, слепит социализму человеческое лицо...

...Мечту о человеческом лице социализма в шестьдесят восьмом раздавили танки, ворвавшиеся в братскую Прагу. И думается, не случайно честно служивший нашему роду литературы Разгон именно в том году написал «Жену Президента» – первый из рассказов «Непридуманного». И заговорил о том, что пора ему прекратить работу составителя, остаться только членом редколлегии.

Жизнь любого из нас – эволюция. Чаще всего – мучительная.

...Горько посмеиваясь, Разгон как-то рассказал о былых своих комсомольско-экстремистских «подвигах» – о том, как в двадцать седьмом году в дружине молодых сталинистов, организованной и возглавляемой пятидесятилетним Емельяном Ярославским, хулигански врывается в чьи-то квартиры – разгонял «тайные сходки» троцкистов. Кто-то стучал Ярославскому, сообщал адреса и время. Дальнейшее выглядело почти как налеты ОМОНа, только без масок, камуфляжа, автоматов,

наручников и укладывания обитателей квартиры носом в пол. Простое взламывание дверей и кулачная драка. («Какими идиотами мы были!» – заключил он.)

Позднее он год или полтора прослужил в «странной конторе при ОГПУ». Ее возглавлял Глеб Бокий. Разгон влюбился в дочку Бокия – Оксану. Семейственность для советских учреждений была крамолой. Лев Эммануилович отправился в вуз, на учебу. Со временем он очутился в Детгизе, на стуле редактора научно-популярной литературы для школьников, в те годы весьма читаемой и почитаемой.

Не уйди он из «конторы», не избежать бы ему пули в затылок. А в тридцать седьмом, после ареста отца, отчима и матери Оксаны, его для начала только выгнали из Детгиза. И месяца через два по сходной причине из редакции выгнали его доброго друга Тусю – Софью Дмитриевну Разумовскую (она же «графиня» – по созвучию фамилии, обретенной от тогдашнего мужа).

Туся была замечательным редактором: издательским, потом – газетным, журнальным. Ее превозносили литературные корифеи, и уже признанные, и еще не признанные – от Паустовского, Катаева, Фадеева, Зощенко до – уже после войны – Казакевича, Трифонова, Виктора Некрасова, Битова.

Странно, но и в кошмаре тридцать седьмого мнение доверенных корифеев все-таки имело вес, и Тусю сразу пригрела «Литгазета». И не было дня, когда б в ее редакционной каморке не дымились на продавленном диване в язвительных спорах и блаженном трепе два-три будущих классика нашей прозы. И Разгон постоянно бывал в той каморке – отвести душу. Но не было в кабинетике и дня, чтоб на уголке Тусиного стола не сгорал от влюбленности в его хозяйку и от сыпавшихся на него ехидных острот двадцатитрехлетний студент-очкарик Даня, лучший на физфаке знаток поэзии. Поскольку слава знатока вышла за пределы Моховой улицы, приятель-газетчик предоставил ему «негритянский» заработок – ответы на письма стихоплетов-графоманов. Такой же заработок завтрашний критик Данин добыл еще в трех редакциях – деньги были нужны на хлеб маме, и себе, и на передачи отцу и брату. А Туся притягивала, как магнит.

...Словно в издевку Разгона вдруг вернули в Детиздат, за его редакторский стол – ненадолго. Закончился погожий апрельский день тридцать восьмого года, заполненный счастливым

обсуждением с Маршаком грядущих дел детской литературы, и в полночь в Разгоновой коммуналке раздался треклятый протяжный звонок в дверь...

Лубянский меч, красовавшийся на фронтонах «Больших Домов» и нарукавных нашивках «оперов», продолжал висеть над Даниным и Софьей Дмитриевной, и они просыпались от звука мотора, зазвучавшего в его или в ее переулке: где остановится «эмка», – и утром спешно звонил он – ей или она – ему, чтоб только услышать конспиративную фразу: «Ну, слава Богу!» Они тоже жили в лагере. В лагере без вышек.

В пятьдесят пятом Лев Эммануилович с радостью возвратился от нормировки труда на лесоповале к своему доарестному делу. Некую профессиональную адаптацию претерпеть пришлось. Очень изменилась наука, надо было искать «свой огороδικ», свои темы. Изменились и язык, и некие чисто ремесленные приемы.

Путь Данина к жанру был иным. К сороковому его признали «подающим надежды» критиком и приняли в СП, в сорок первом он, полуслепой «белобилетник», ушел на фронт с писательским ополчением: Выкарабкался из «котла» под Вязмой. Снова повоевал солдатом. Стал военным газетчиком. Капитаном. С победой воротился из Австрии в Москву. Женился на Тусе – под их кровом в свой нелегальный приезд из ссылки между двумя арестами нашел приют Разгон. Ко всему Данин относился строго. К поэзии – особенно. На лица не взирал и расчехвостил унылое стихотворство свирепых секретарей СП СССР Грибачева и Софронова, за что поплатился. В сорок девятом «беспачпортный бродяга, безродный космополит» Данин, изгнанный из партии и литературы, вновь стал прислушиваться к моторам легковушек, въезжавших в их с Тусей переулок.

Друзья подыскали работу – коллектором в таежной сибирской экспедиции. Через год погром вроде бы притих, исключение из партии заменили «строгачом». Вернулся. Константин Симонов, увы, в дни литературного погрома опубликовавший статью с «разоблачениями» Данина и других фронтовых друзей-«космополитов», при встрече, без каких-либо просьб, вдруг заказал для «Литературки» рецензию на безликую книжку. Благодеяние тотчас повторил Твардовский – для «Нового мира»... Увы, музыка играла недолго: началась вакханалия «дела

врачей». В пятидесятые почти всегда все-таки соблюдали уставной обряд: прежде, чем очередного «сиониста» посадить, подобало исключить его из партии. Партсобрание по персональному делу заранее назначили на 5 марта 1953 года. А в тот день, как помните, мир перевернулся. И однако из партии Данина снова исключили под радиозвуки печальных «Грез» Роберта Шумана.

«Оттепель» наступала по-черепашьи. «Заклейменным» он оставался до пятьдесят шестого. Да и в «оттепель» писать о современной поэзии можно было только в наручниках. Теперь прикинем: в пятьдесят пятом в Москву вернулся Разгон. В пятьдесят пятом они обсуждали друг с другом профессиональные проблемы. Именно в это время Данин и вспомнил, что он еще и физик, и ринулся в прозу о науке с тем же неистовством, что и в ополчение. Служение новому для него разделу литературы он с тех пор почитал своей миссией и до конца восьмидесятых призывал в свои сети людей, профессионально знавших науку, если угадывалась в них «искра Божья». Это он назвал научно-художественную прозу «кентавром научности и художественности».

И лишь летом восьмидесятого он вернулся за письменный стол. Свою заветную книгу «Бремя стыда», проникнутую всепоглощающей любовью к Пастернаку, он закончил спустя семь лет. В ней он слишком беспощаден к себе и нежен к тем, кто не поступался совестью.

Что за добрая атмосфера была в коллективе «Путей». Как все – и авторы, и члены редколлегии – любили ласкового, улыбчивого Разгона, острого, чуть отстраненного Данина, клокочущего Эйдельмана и всегда погруженного в свой сказочный мир Шарова... А какие застолья мы устраивали – многолюдные по поводу выпуска каждого пятого сборника и – интимные междусобойчики, на которых Разгон после пятой рюмки непременно напоминал мне, что все-таки сидел я мало – непростительно мало...

После шестьдесят восьмого составителем «Путей» вместо Разгона стала Галина Башкирова, а с 1982-го до 1991-го – до последних дней альманаха – составителем был я.

...В восьмидесятые очерки Разгона становились все менее и менее интересными, и пришел день, когда мне надо было сказать ему, моему бывшему редактору, моему многолетнему ду-

шевному другу, что очередная вещь, сданная им для сборника, не годится:

– Понимаешь, Левушка, здесь у тебя не...

– Ну, что ты жмешься, – хмыкнул он. – Не понравилось? И правильно, что не понравилось. Мне самому было скучно это писать. Я занят другим. Чем – не скажу. Чтоб не сглазить.

А я знал, как интенсивно он работает. Ведь он обрывал телефонные разговоры, когда ему звонили в «святые» часы. Он приходил от письменного стола к обеденному в переделкинской столовой «встрепанным». Видно было: пишет про то, что сидит в сердце, как гвоздь.

О публикации «Жены президента» и других рассказов речи быть не могло. Брежнев уже не раз прошамкал о Сталине-полководце и Сталине – государственном деятеле. «Ивана Денисовича» свирепо выбрасывали из библиотек, а его создателя выставили из страны. Писать можно было лишь в стол, а не писать Разгон не мог...

Прочитав в 1988-м в «Юности» рассказ «Принц», я побежал к Разгону (мы оба были в Переделкине). Ведь мои первые дни на Лубянке я сидел в одной камере с его героем. Принца во второй раз привезли из Усольяга в Москву на «переследствие». Аллах ведает, какие советско-афганские дипломатические изобретения за этим мерещились гебешникам. Мохаммед-Рахим-Умар-Хан – таково было его полное имя. В камере звали кратко: Рахим.

Когда меня в пять утра привели с четвертого моего допроса совершенно разбитым и я попытался что-то высказать принцу – остальные сокамерники спали – Рахим сказал:

– Мальчик, милый! Только никогда никому не рассказывай в камере, о чем шла речь на допросе... И еще: если ты там занял какую-то позицию, держись – не отступай ни на шаг.

Пересказав Разгону всплывшее, я еще припомнил, что свою историю принц поведал мне чуть по-другому, проще, чем в рассказе. Левушка засмеялся, махнул рукой, раскрыл свежий томик «Непридуманного» и написал на первой странице: «Милому Боре Володину – чисто случайно мы с тобой не встретились на пересылке или в камере, или лагпункте... И был бы у меня еще один сюжетик... Ну, обойдемся. Я тебя и так люблю. 20.V.89».

Мой очень близкий друг, бывший зек, известный под псевдонимом как Борис Хазанов, в мемуарном очерке (Октябрь, 1999, № 10) высказал на 140-й странице журнала пронзительное суждение:

«...Лагерь есть принадлежность к особому сословию. Лагерь есть особая расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остается с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся оттого, что всеильные учреждения перегружены делами и до тебя просто еще не дошли руки...

И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас было».

Разгон возвратился в это отечество, расположил его на письменных столах в крохотной квартирке блочного дома на Малой Грузинской и в Переделкине.

И остался в этом отечестве до конца дней.

НА ПОДСТУПАХ К РАЗГОНУ

Случилось так, что лично я познакомился со Львом Эммануиловичем Разгоном довольно поздно: в конце восьмидесятых годов, когда в журналах уже появились непридуманные рассказы о его многолетней одиссее по островам архипелага ГУЛАГ...

Я знал, конечно, Льва Разгона по литературе, кое-что слышал о его судьбе, но по-настоящему начал общаться с ним на собраниях общества «Мемориал», где он был одним из зачинателей и активнейшим деятелем. Помню его выступление на собрании «Мемориала» в День политзаключенного осенью 1994 года – в аудитории Политехнического музея. Выйдя на сцену в помятых джинсах и неказистом пиджачке, он пламенно и непримиримо говорил об опасности возрождения тоталитаризма, о половинчатости решений, осуждавших преступную практику коммунистических правителей.

Разговорившись как-то со Львом Эммануиловичем, я обнаружил, что, ничего еще не зная друг о друге, мы с ним были связаны судьбой третьего человека, с которым и он, и я встречались за колючей проволокой.

В 1945 году в подмосковный лагерь в Бескудникове был привезен писатель Семен Гехт – друг Багрицкого, Олеси, Бабеля, Паустовского, Гроссмана, автор оригинальных повестей и рассказов, неоднократно издававшихся в двадцатых и тридцатых годах. Семен Гехт стал моим соседом по бараку «политических», наставником моим и учителем в делах литературных, да и житейских, мы с ним подружились, я его всей душой полюбил, и когда летом 1946 года его отправили в «дальний

этап» (за то, что отказался дать лагерному оперуполномоченному показания на своих соседей по бараку), я, горя об этой утрате, посвятил ему стихи, которые спустя сорок пять лет были напечатаны в моей книжке «Две зоны». Семен Гехт был отправлен в Коми, в лесные лагеря в районе поселка Вожаель, — я успел получить от него весточку оттуда... Книжку я подарил Разгону — с большим опозданием: все никак не удавалось встретиться. Поэтому мне пришлось сделать на книжке такую надпись:

Пусть за то меня любой судья
Поделом отправит в третью зону,
Что так долго разгонялся я,
Чтоб «Две зоны» подарить Разгону.

Прочтя в этой книжке стихи, посвященные Гехту, Лев Эмануилович сказал: «А знаете, ведь его привезли в Вожаель в тот лагерь, где был и я. Я к тому времени уже стал лагерным старожилом, «пропускником», работал нормировщиком, — и мне удалось помочь Семену Григорьевичу: устроить его на легкую работу, поддержать его с питанием...»

Оказалось, что мой первый подступ к Разгону имел неведомо для меня сорокалетнюю давность!

Второй подступ начался году в 1968, когда в мои руки попал журнал «Север» с одной очень примечательной статьей. (А это был год столетия Максима Горького!) Из этой статьи я узнал, что в тридцатитомном издании сочинений Горького, вышедшем еще в сталинские времена, очерк писателя о его посещении Соловков в 1928 году был опубликован со множеством пропусков, искажавших подчас самый смысл целых фраз и абзацев. Горький называл людей, сопровождавших его в поездке по Соловецкому лагерю, — чекиста Глеба Бокия (даже пароход, на котором прибыл писатель, носил имя «Глеб Боккий») и тогдашнего начальника УСЛОНа — Управления Соловецких лагерей особого назначения, — Александра Петровича Ногтева. Статья в «Севере» была иллюстрирована фотографиями, где рядом с Горьким неизменно присутствовали эти два деятеля. Но поскольку оба они в 1937-1939 годах были репрессированы, их имена изъяли в многотомном издании Горького. К 1968 году их посмертно реабилитировали, и журнал

«Север» позаботился о восстановлении полного текста горьковского очерка... Моя жена, поэтесса Маргарита Ногтева, была родной племянницей Александра Петровича Ногтева, – и ее, естественно, заинтересовала судьба ее дяди (которого она, впрочем, никогда не видела, ибо родилась в 1936 году и знала о нем лишь по семейным преданиям). Впоследствии она провела поиск по архивам и воспоминаниям и написала о Ногтеве очерк, опубликованный в журнале «Северные просторы»...

Протекло еще два десятилетия, и я узнал, что Лев Разгон первым браком был женат на дочери того самого Бокия. Таким образом мы, два арестанта – Разгон и автор этих строк – оказались родней двух чекистов, ставших в свою очередь арестантами...

И вот однажды в ресторане Дома литераторов, на обеде писательского клуба за одним столиком очутились Лев Разгон и Маргарита Ногтева и дружно выпили в память людей былых времен, мучеников и жертв жестокого века... Тогда мне в голову пришел такой экспромт:

Двадцатый век... Похож он на паноптикум –
И где его чудачествам предел?
Зять Бокия с племянницею Ногтева
Хватают кайф в бараке ЦДЛ.

Увы, вскоре – в предпоследний год этого двадцатого века – пришел я в тот же ЦДЛ на панихиду по Льву Разгону. Звучала музыка его детства – песни еврейских местечек, где он начал свой путь через завершающий свое бытие век: судьба ему подарила почти все столетие... Но написанное им и память о нем шагнут в следующий век, – каким бы этот век ни оказался...

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Через тернии – к звездам – вот путь Льва Разгона – писателя и ээка. Нет, сначала ээка, писателя потом. Впрочем, он писателем-то стал благодаря тюрьме – единственное, пожалуй, за что можно тюрьму «благодарить»!..

Век-волкодав не сделал Льва Разгона озлобленным зверем. Наоборот, все знавшие его – и издалека, и близко – видели, как он буквально лучился добротой.

Но эта доброта предполагала выстраданное, абсолютно жесткое отношение к насильникам и прохвостам всех мастей, с этой концептуальной позиции он бывал крайне неудобен в общении – особенно, когда оказался на свободе... Прodelав путь от «приятя» к «неприятю», Разгон сделался как бы живым символом выживания в эпоху, умело растиравшую людей в пыль, но так и оставшуюся у своего грандиозного разбитого корыта.

Помню, как в беседе по телевизору Разгон с милой улыбкой заявил, что празднует свой день рождения дважды в год.

– Почему дважды? – удивилась ведущая так называемого ток-шоу.

– Один раз в свой день рождения, другой – 5 марта.

– Почему 5 марта?

– Потому что это день смерти Сталина.

Телевизионная дама от неожиданности поперхнулась, она забыла в тот миг, что перед ней сидит битый-перебитый «политический», а не просто обаятельный старичок-интеллигент. Очищение состоялось. Зэк отомстил за други своя. Писатель сказал правду.

Льва Разгона считают долгожителем. А у меня такое ощущение, что он, как говорится, своего не прожил. Начинал пионервожатым, кончил властителем дум. Ему бы дожить до окончательного и бесповоротного исчезновения с лица земли коммунистической идеи (вместе с ее партией) – чтобы действительно вдохнуть и выдохнуть свободно. Помните начало солженицынского «Архипелага»: «Мы... сами были из тех ПРИСУТСТВУЮЩИХ, из того единственного на земле могучего племени ЗЭКОВ, которое только и могло ОХОТНО съест тритона».

Время подавилось этим замерзшим трупом, который смердит и по сей день. Лев Разгон боролся с тритонами-коммунистами именно ОХОТНО.

Причина?

Даже не в том, что сам сидел.

А в том, что у него, как и у многих других СИДЕНТОВ-диссидентов была, я бы сказал, могучая корневая нравственность, направлявшая их ВСЮ жизнь и так повлиявшая на всех нас, не пострадавших, как они, но в конце концов чувствующих, КАК ОНИ, и думающих, КАК ОНИ. Как это ни смешно звучит. Разгон-писатель, Разгон-общественный деятель был востребован эпохой гласности ничуть не в меньшей степени, чем Разгон-зек эпохой сталинщины.

Судьба свела меня с Львом Разгоном чуть-чуть, каким-то очень легким, тонким краешком задела, не больше... Но почему я ощущаю и по сей день свое сокровенное единение с этим мучеником и страдальцем сталинских времен и мудрым девяностолетним юношей в пост-большевистском пространстве?..

Однажды он пришел ко мне в театр. Была премьера спектакля «Марат-Сад» на сцене «У Никитских ворот» – зал маленький, а народу полно, зрители сидят даже в проходах. Мы ждали опаздывающего Разгона до последней минуты, держа для него места в четвертом ряду.

Но Разгона нет, видно, он не придет, пора начинать... После третьего звонка весь четвертый ряд делается заполненным.

Свет гаснет... и тут на лестнице появляется ОН.

– Куда я Вас посажу?! – восклицаю я, не замечая двусмысленности своей реплики в его адрес. Он смеется и тотчас реагирует:

– Только не на Колыму!

Я нервничаю, потому что могу в этот момент «посадить» нашего почетного зрителя только на дополнительный ряд перед первым рядом, но беда в том, что это обыкновенная лавка – неудобная, без спинки, а Разгон хоть и молод душой, но все же старик, каких мало...

Я в ужасе шепчу:

– Нет... нет... придется Вас пригласить в следующий раз.

Он сверкает глазом в темноте:

– Все хорошо, Марк. Я же опоздал. Все хорошо.

Два с лишним часа Разгон отсидел на моей премьере, не имея возможности притулить позвоночник к спинке кресла.

Когда спектакль кончился, я кланялся в сторону Разгона с кривым ртом:

– По-моему, в спектакле есть кое-какие длинноты, пожалуйста, извините меня... Извините...

– А я не заметил, – сказал Разгон и дружески обнял меня. – В следующий раз обещаю Вам не опаздывать.

К сожалению, следующего раза уже не было.

Но сияющие из темноты глаза Льва Разгона помнятся мне.

Между прочим, он и сейчас смотрит на нас.

НЕМНОГО О ЛЮБВИ

Рика и Лев познакомились в Вожаеле на каком-то производственном совещании по лесозаготовкам. Шел к концу срок третий год, и Рика, или Ревекка Ефремовна Берг, как значилось в ее деле, работала старшей нормировщицей в конторе Управления на Комендантском лагпункте. Лев – Лев Эммануилович Разгон – тоже трудился старшим нормировщиком, но в тридцати километрах от Вожаеля на Первом лагпункте. Все вместе это называлось Устьвымлаг (почтовый ящик – п/я 243/11) и было оторвано от ближайшей цивилизации как минимум на сотню километров – столько было до Сыктывкара, столицы Коми республики.

К этому времени оба они, и Рика и Лев, были уже «вольняшками», то есть лагерные сроки их кончились. Рика освободилась чуть раньше – в ноябре 1942 года. Рика была 58-10-11, КРД (то есть села по статье 58-10-11 за «контрреволюционную деятельность»), Лев – 58-10, часть 1 – «контрреволюционная агитация в мирное время». «Пятерка» Льва иссякла в апреле сорок третьего, но ему «припаяли» второй срок еще в лагере, потом – это было чудо! – приговор отменили, и он вышел на волю уже на исходе сухого, жаркого северного лета.

Воля, которую они получили, – это была воля в советском понимании этого слова. Они уже не сидели в лагере, их не водили утром на поверку, а потом под конвоем на работу. На работу, причем на ту же самую, что и в зоне, – таково было условие этой «воли», – они ходили сами. Но паспортов у них по-прежнему не было, не было и права выезжать куда-либо за пределы не то что лагеря – лагерного пункта. В общем, зеки – не зеки, свободные – не свободные, что-то вроде бессрочно

ссылных. Называлась эта «воля» – «закрепленные за лагерем до особого распоряжения».

Но все равно это было счастьем! Рике необыкновенно повезло: управление ей выделило собственную комнатку, даже не комнатку – квартиру в пятиквартирном барачном доме на берегу реки Висляны. Еще у нее была подушка, был чехол от матраса и почти настоящая двойка – юбка и кофта, лагерными умельцами сделанные из того лыжного костюма, в котором ее забрали в ноябре тридцать седьмого года из московской квартиры в Кривоарбатском переулке.

Вот сюда, в эту сырую, холодную квартиру, каждую субботу, отмахав пешим ходом 30 километров из своего Первого лагпункта, приходил к ней ее Левушка. И был пир – по карточкам выдавали 0,5 литра постного масла и кислой капусты (голодали тогда почти одинаково и на воле, и в лагере), и было счастье, и была свобода: не та свобода, что разрешила им советская власть, но та, что, молодые, брали они из искалеченной своей жизни сами.

Хочу чуть подробнее рассказать о Рикиной жизни.

Она родилась в год первой русской революции (1905) в семье питерского рабочего-слесаря, профессионального революционера Ефрема Берга.

Как и положено профессиональному революционеру, жизнь Берга была соткана из ссылок и тюрем, и потому, когда пришел февраль семнадцатого и пала монархия, Ида Савельевна, мать Рики, была счастлива: она устала от конспирации, от догляда приставов, от передач и тюремных свиданий.

Но на несчастье мамы, и Рики, и пятилетней сестренки Анечки Ефрем Берг не был большевиком. Напротив – был в оппозиции к ним, состоял в членах партии (причем – в верхушке ее) правых эсеров.

Бывшие соратники по борьбе с царизмом посадили его в июне 1918 года. Для мамы это был удар, от которого она так уже и не оправилась.

Вот с этого времени, с предварительной тюрьмы на Гореховой, 2, куда они с мамой приносили передачи, и началось Рикино знакомство с советскими тюрьмами, лагерями и ссылками – сначала опосредованное, через отца, потом – личное. И продолжалось вплоть до пятьдесят третьего года. В восемнадцатом Рике было 15, в пятьдесят третьем – 48 лет.

Ну, а за тюрьмой на Гороховой, 2, в Петрограде, последовали Бутырки – сюда Рика каждое воскресенье приходила к отцу на свидание (вещь невероятная для заключенных 1937 года). Потом, когда Рику арестовали и, пропустив через Внутреннюю тюрьму на Лубянке, привезли в Бутырки, она почувствовала себя здесь как дома – «в Бутырках я знала все».

(Из разговора Рики со Львом:

Рика: «Любочка, когда тебя привезли во Внутреннюю тюрьму, стены были белые?»

Лев: «Да».

Рика: «А у нас – все исписаны. И в туалете я вырезала: «5 лет КРД. Р.Берг».)

Дальше у отца была еще какая-то тюрьма – кажется, где-то в Суздале, и Рика тоже туда ездила, дальше был 1922 год, знаменитый процесс над правыми эсерами, проходивший в Колонном зале Дома Союзов, – на нем председательствовал Пятаков, а обвинителями выступали Крыленко, Луначарский и Покровский. Родственники подсудимых получили места в первых рядах. На вопрос суда: «Признаете ли вы себя виновным?» Ефрем Берг ответил: «Я виновен только в том, что я мало с вами боролся. Я буду продолжать бороться и дальше».

Бергу дали 5 лет – столько же, сколько потом, в тридцать седьмом, и Рике. Из них два года Ефрем Берг провел в одиночке на Лубянке, остальные – в ссылке в Нагорном Дагестане: здесь умерла мама, здесь Рикино образование пополнилось и знанием ссыльной жизни.

Из Дагестана Берг уже не выбрался. Вернее – выбрался, но куда, в какую тюрьму, то сокрыто в архивах КГБ, – известно только, что осенью 1938 года он был расстрелян.

Рика в это время сидела в Бутырках – ожидала этап в Марийские лагеря.

Когда Рику пришли брать – она не испугалась: «Я всегда знала, что меня посадят». Полугодом раньше НКВД пытался ее вербовать – она отказалась, вернулась домой и сказала первому мужу, Коле, молодому, похожему на Есенина и очень удачливому человеку (впрочем, потом он тоже оказался в лагерях): «Теперь – всё».

Рику привезли на Лубянку, и здесь она явственно поняла: жизнь – кончилась, это – навсегда. У нее за спиной был богатый опыт отца...

Но я собиралась писать о любви.

А любовь была. Ах, какая это была любовь! Правда, одно время Льву запретили появляться в Вожаеле. Любовь начальство преследовало (это же – свобода!). Разврат, свальный грех – пожалуйста, но только не любовь.

Но Лев нарушал и эти запреты, а когда не мог, они звонили друг другу по телефону – благо в конторах телефон был, – говорили до тех пор, пока телефонисткам не надоедало слушать их излияния.

В сорок пятом война кончилась, Рика и Лев – не без трудностей – получили «раскрепление», то есть паспорт, в котором стояла пометка: без права селиться в Москве, Ленинграде и еще в двухстах с лишним городах Страны Советов, получили отпуска и оба съездили в Москву.

В Москве Лев увиделся, если не сказать точнее – познакомился со своей Наташкой – дочкой, которой, когда его забрали, был год. Наташка жила с бабушкой: Оксана, ее мама и первая жена Льва, погибла, не дойдя до лагеря, на одной из пересылок. Оксане было 22 года.

Рику в Москве не ждал никто: сестра Анечка умерла в войну, по дороге в эвакуацию.

А потом им вышла возможность и вовсе уехать из лагеря.

Жили нелегально в Москве у Левиной мамы – пока соседка не донесла, потом перебрались в Ставрополь, маленький южнорусский городок. Жили тяжело и голодно – Лев работал методистом в кабинете культпросветработы, Рика печатала на машинке, – короче, денег не было никаких. Но жили замечательно – они снимали угол у медсестры Жени: за занавеской у них была узкая, покрытая коричневым дерматином медицинская кушетка.

Рику арестовали в марте 1949-го.

Взяли ее как «повторницу», то есть за то, что сидела первый раз. Поэтому следствие было скорым и немудреным, зато Рика кое-что добавила к своему тюремному образованию. Например, если в тридцать седьмом в камере позволяли сидеть, то в сорок девятом присесть можно было только после отбоя. В тридцать седьмом в камере табуреток могло не быть, в сорок девятом – были, но намертво привинченные к полу и так, что нельзя прислониться к стене и нельзя облакачиваться на маленький тюремный столик – только когда ешь, – спина от такого сидения деревенела.

Впрочем, тюремного опыта у Рики было предостаточно. Она знала, что из трусиков выдернут резинку, и знала, как их

закрутить, чтобы они не спадали. Знала, что подвязки для чулок отнимут, и знала, что в этом случае надо сделать с чулками и как обойтись без белья вовсе. (Однажды в камеру ввели женщину – очевидно, из высших слоев. Дверь захлопнулась, ключ повернулся, «глазок» открылся и затух, а женщина продолжала стоять, обхватив себя крест-накрест руками, и – плакать. «Что?» – кинулась к ней Рика. Было видно: женщину еще не били. «У меня, – голос ее захлебывался, – у меня... отобрали грацию». И она показала на свою большую грудь, ничем не поддерживаемую под платьем. «Господи, и вы из-за этого плачете?» Камера – уже многое повидавшая камера – хохотала до слез: «Отобрали грацию, и она – убивается... Тут жизнь отбирают...») Знала Рика, как вымыться и постираться в тюремной бане, когда на все одна шайка воды, и знала, как соблюсти – назовем это деликатно – женскую гигиену, когда ничего нет, и воды даже нет, но есть, скажем, снег: она всегда тщательно следила за собой. Знала, что рыбные кости, если они попадались в супе, выбрасывать нельзя – они заменяли запрещенные в тюрьме иголки. Не было костей – делали иголки из спичек, затачивая их о кусок сахара. Нитки же добывали из собственной одежды, либо покупали в лавочке цветные хэбэшные майки. Знала, как преодолеть брезгливость, когда надо пить из той же кружки, из которой только что пила сифилитичка, как разговаривать с уголовниками, как обороняться от ВОХРы (вооруженная охрана лагеря) и прочего начальства мужского пола...

...В тюрьму Лев, выстаивая длинные очереди, регулярно передавал ей посылки. Писать друг другу было нельзя, но Левушка и тут перехитрил тюремщиков.

Лев писал ей на продуктах. На скорлупе вареного вкрутую яйца вывел дату их той, лагерной свадьбы. Для тюремщиков – цифирки и цифирки – мало ли какие даты на яйцах ставят, а для Рики – изумительное воспоминание и все остальное, что при таких воспоминаниях люди друг другу говорят.

Царапал слова, нет – сло-ва! – гвоздем и на баранках – будут ли тюремщики каждую разглядывать? И на расческе, что Рике вдруг понадобилась, – тоже царапал.

Рика написать ему и этой малости не могла, а потому, расписываясь на квитанции в получении передачи, долго и тщательно выводила: имя, отчество, фамилию, дату, что означало: со мной все хорошо, весточку получила – спасибо, рада, думаю о тебе, очень беспокоюсь и тоскую... В годовщину их

свадьбы, не имея никакой другой возможности с тем Левушку поздравить и снова сказать то, что всегда ему хотелось сказать, Рика бросила курить. «Передайте, чтобы сигареты мне больше не приносил – с 15 июня я больше не курю, – попросила она тюремщиков. – Пожалуйста, скажите, что именно с 15-го я больше не курю...»

В общем, они оба знали, как выжить в тюрьме, на этапе, в лагере. Теперь Рике предстояла ссылка.

Ссылку ей дали вечную – так было записано в приговоре. Отбывать ее предстояло в Красноярском крае, в Сибири, в маленьком селе Бирилюсы.

Рика не волновалась, она же знала: «это – навсегда». Беспокоил ее Левушка.

Разгон был на свободе еще почти целый год. Он даже успел съездить к Рике в Бирилюсы, пожить полтора месяца в крошечной Рикиной комнате «за огромной русской печью в большой, нелепой по нашему среднерусскому представлению избе» (так у Разгона в книге). Они ходили вечерами в гости, или Рика, вернувшись с работы, жарила рыбу, и они закатывали свои бирилюсинские пиры, – они были вместе и наслаждались жизнью «сожителей в незаконном браке», хотя в Рикином уголовном деле Лев проходил уже как муж, а Рика – в деле Льва – как жена. Жили, любили и строили всякие планы о дальнейшей их замечательной жизни в далеком сибирском углу.

О том, что Льва, наконец, взяли, Рика узнала просто: в пятницу, как было между ними условлено, не пришла от Льва телеграмма, потом получила письмо: «Лев заболел той же болезнью...» – написала ставропольская квартирная хозяйка.

На душе у Рики было муторно, но, в конце концов, то, что Льва должны снова посадить, она знала и потому ждала известия о том, куда дадут ссылку ему. А там... Там уж они как-нибудь соединятся, как-нибудь упроят гуманную советскую власть дать им разрешение отбывать свои вечные ссылки вместе.

Лев получил десять лет лагерей. Статья 58-10 – «контрреволюционная агитация».

Когда Рика узнала об этом, о том, что не ссылка – срок, лагерь, – она завывала.

Закричала, как никогда не кричала в своей жизни. Она понимала: еще десять лет лагеря Левушке не выдержать – не выжить, у нее же вечная ссылка (выезд из места ссылки, даже вре-

менный, приравнивался к побегу и «обеспечивался» 25 годами каторги), значит, и свидания к нему в лагерь не видать.

...Я не могу спокойно писать об этом. Я пытаюсь понять состояние этой, уже не молодой, сорокапятилетней женщины, которая влюбилась – сильно, страстно посреди того лагерного кошмара, которая прожила – не по-человечески, не нормально, но безумно, до истомы, счастливо шесть, или почти шесть, лет, и вот... Вдова – не вдова, жена – не жена, и холодная пустая постель...

А каково было Льву?!

Он кричал на допросе своему следователю Гадаю:

«Я еще поживу! Да и в лагере я буду жить! Будь уверен! Буду книги читать, водку пить, спать с вольнонаемными медсестрами да врачами – женами начальников!.. Мне сейчас сорок два года, когда выйду на волю – мне будет пятьдесят два... Я еще поживу!»

Он кричал, но он-то, прожженный зек, доходивший от цинги в тридцать девятом, он-то знал, что это такое – еще десять лет лагерей.

Пять лет. Пять лет они почти каждый день писали друг другу письма. Все письма Льва Рика рвала – она не хотела, чтобы когда-нибудь, при следующем аресте или новой ссылке, их читали энкавэдэшники.

Рика вернулась в Москву в пятьдесят четвертом, Лев – через год, в пятьдесят пятом. У них не было ни кола, ни двора, ни имущества – буквально ничего. Только 31 год лагерей и ссылки – на двоих.

Когда они расписались, у них не оказалось денег даже на «четвертинку».

Что было потом? Лев писал, Рика печатала на машинке, они растили Наташку. Своих детей Рике заводить было поздно, хотя врачи и говорили ей, что Господь Бог создал ее для деторождения. Но то – Господь Бог, а здесь – советская власть... А детей Рика любила. Получили комнату, потом квартирку – 28 квадратных метров.

В разговоре, в обиходе у них сохранились лагерные слова и привычки. «Пайка», «оправка» – это из повседневного лексикона.

Где бы ни были, никогда не оставляли ключ снаружи – память о тюрьмах, надзирателях и ключах, закрывающих их в камерах с той стороны – на годы.

Впрочем – «что было потом?» Что было?

Любовь. И наша жизнь.

Потом... Потом грянула перестройка, и Лев Разгон опубликовал свою книгу «Непридуманное», которую писал в стол последние двадцать лет. Разгон сразу и как-то оглушительно стал знаменитым.

Они съездили в Италию, в Англию, во Францию... Рика смеялась: «Надо было дожить до восьмидесяти трех лет, чтобы впервые поехать за границу...»

Летом девяносто первого какие-то киношники затеяли о Разгоне фильм. Повезли его в Бутырки – к той камере, где он когда-то сидел... Лев вернулся оттуда не в себе – плакал.

В Бутырках, по словам Разгона, многое изменилось. В его камере теперь была вода, чтобы умыться, парашу заменил цивильный унитаз, и сидело не 70 человек, как в те, Левушкины времена, а всего 40...

Но когда баландер (человек, раздающий «баланду» – некое месиво, именуемое едой) стал разливать по мискам еду и подавать ее в камеру, Левушке стало плохо.

«Я не знаю, как это объяснить, но я вдруг почувствовал, что я – с ними, с теми, кто сидел в камере... Да, да, они уголовники, они совершили преступление. Но там, в Бутырках, где мир разделен на тюремщиков и зеков... Короче, ощущать себя на стороне тюремщиков я не мог...»

Я как-то спросила Рiku: «Когда вас выпустили из ссылки, вы... не боялись, что возьмут и в третий раз?»

«Я и сейчас боюсь», – ответила Рика.

...Я любила наблюдать за ними. Рика после многочисленных переломов ходила трудно, но все равно в фигуре, в повороте головы, в руках, – во всей ней было что-то царское.

Она больше молчала – говорил Лев, и я всегда видела, как, слушая его, она улыбалась, улыбались уголки ее губ и глаза: она смотрела на него любовно и чуть снисходительно: «Не петушись!» Дело даже не в разнице в годах – какая тут разница? – 86 и 83 – просто во Льве действительно много мальчишеского.

Когда они сидели рядом на лавочке, Лев клал руку между ладошек Рики. Они разговаривали с кем-то или друг с другом, и Рика беспрестанно похлопывала-поглаживала Левушкину руку. Так было покойно ей. Так было покойно ему.

Боже праведный! Такая жизнь за спиной – такая тяжелая, долгая жизнь, а все – любовники... «Если есть на свете любовь...» Если есть на свете любовь – они ее избранники. Рика и Лев Разгоны.

ЗАГАДКА РАЗГОНА

С Львом Разгоном пересекались пути всех трех поколений нашей семьи.

Сперва, еще ничего не зная о нем, я познакомилась с его дочерью Наташей. Было это году в пятьдесят восьмом, в зимнем доме отдыха. Наташа тогда ничего не рассказывала об отце, но чувствовался на ее плечах большой и тяжелый груз, и она, почти ровесница, мне казалась старше на целое поколение. Потом мы сдружились, я бывала у нее на Ордынке, и до сих пор сильнейшее мое впечатление – как в полутемной комнате надорванным голосом Наташа читает нам, зеленым, тогда еще практически запретную, нигде не печатавшуюся – как трудно это сейчас представить! – Марину Цветаеву: «Молодость моя, моя чужая... молодость моя, иди к другим!..»

А в 1960 году моя мама, переводчица Нора Галь, была принята в Союз писателей и стала ежегодно ездить в Дом творчества в Переделкино. Ездила она, конечно, со словарями, пишущей машинкой и срочной работой, но для души было «застолье». Союз писателей в ту пору еще не распался на «союзники», но и тогда братья-писатели четко делились на своих и чужих. С кем попало за стол не садились. Каждый стол в столовой был свой микромир, его тщательно подбирали. В мамином микромире оказался Юрий Завадский, почему-то предпочитавший писательскую братию театральной, Евгения Таратута и затем – и уже на долгие годы – Лев Разгон с женой Рикой.

Я, конечно, навещала маму, и там-то на переделкинском балконе впервые услышала читаемые избранным друзьям лагерные рассказы Разгона. В ту пору они не ходили даже в сам-

издате. Только с голоса. И почти невозможно было поверить, что это произносится вслух.

Мне кажется, эти рассказы не могли не потрясать. Но особенно – тех, чей дом отметил своим черным крестом ГУЛАГ. А отец моей мамы провел в лагерях двенадцать лет. Первая «десятка» – с 1937-го, затем «повторник». И ее дядя сослан ОСО ОГПУ в 1926-м на три года, а в 1941-м получил повторную «десятку». Так что и мама прошла те очереди к тюремному окошку, о которых писала Ахматова и в которых стояло полстраны.

А потом пришла пора гласности. Сейчас это слово произносят почти с издевкой, но тогда – какое это было событие! Я работала в издательстве «Книга», доселе строго «профильном»: «всё о книге, всё для книги». А тут нам дали волю! Первая ласточка – вне всяких планов наша заведующая редакцией Т.Громова пробила книгу последнего уцелевшего из «дела врачей» Я.Рапопорта. И тут я помчалась к Разгону на Малую Грузинскую: давайте ваши рассказы, попробуем издать.

В первую минуту старый лагерник привычно осторожничал: да вот тут у меня вроде что-то намечается, лежит в одном журнале.

Рика решительно прервала эту суеверную конспирацию: да что там темнить, лежит рассказ в «Огоньке», обещают напечатать.

Дождаться, пока напечатают, я не стала, выпросила рукопись и пошла по начальству. Начальство было новое, энтузиазма не испытывало, но все же взялось рукопись «рассматривать», долго тянуло, потом еще дольше излагало свои замечания. Потом мы с Разгоном повздыхали над этими замечаниями, на кое-какие мелкие уступки он пошел, большую же часть удалось «замотать». А потом подоспела и громовая публикация «Огонька» – «Жена президента», и я радостно махала ею перед главным редактором. Потом удалось пробить не только эту рукопись, но новую серию – «Время и судьбы»: поразительную одиссею еще одного лагерника Я.Харона «Злые песни Гийома дю Вентре», «Крутой маршрут» Е.Гинзбург, книгу Р.Орловой и Л.Копелева... В серию активно включилась и редактор нашей редакции Л.Еремина: книги Н.Мандельштам, Л.Чуковской, Синявского и Даниэля... Разгон, как всегда в жизни, был в хорошей компании.

Работать с Львом Эммануиловичем было одно удовольствие. Собственно редакторской правки его стиль почти не требовал – так зримы характеры, так точны детали. Но когда годами говоришь на лагерном языке – при возвращении к нормальной речи где-то возможна и осечка. К малейшим замечаниям Лев Эммануилович был очень чуток, хоть я и годилась ему в дочери. Особых подробностей не помню, разве что зацепилось в памяти странное слово, которым он назвал встреченную после долгой разлуки дочь: «длинновязая девчонка». Получился странный гибрид «длинноногой» и «долговязой» – и Разгон согласился, что его надо убрать.

Впрочем, к этому времени у нас уже был опыт мирного и дружного сотрудничества. В первый раз мы с ним встретились как автор и редактор еще в 1982 году. Правда, тогда он появился в редакции отнюдь не как летописец ГУЛАГа, а как специалист по детской литературе и популяризатор науки.

Я занималась тогда серией «Судьбы книг». В нее и вошла книга Льва Разгона «Зримое знание» – о книгах Тимирязева и Ферсмана. И тут работа шла согласно и дружно, и в нее включилось третье поколение нашей семьи – мой сын Митя.

Дело в том, что к этой книге, как и к ряду других наших изданий, требовалось составить именной указатель. Работа кропотливая, трудоемкая, требует много времени и внимания. Авторы ее обычно не любят, да и редакторы иные, каюсь, тоже. Тут нужен особый склад ума. И тут меня в моих изданиях выручал сын. Митя уже с восьми лет с азартом запрашивал себе эту работу и выполнял ее с исключительной тщательностью. К 1982 году, когда готовилась книжка Разгона, Мите уже было четырнадцать. И за эти годы он подготовил указатели к десятку книг. Но что характерно – из всех десяти авторов только Лев Разгон подумал о своем юном помощнике. Только он один из всех десяти авторов подарил юному «специалисту» отдельный экземпляр своей книги (помимо подаренного мне – редактору) с дружеской надписью: «Милому Мите Кузьмину – моему почти соавтору и активному болельщику этой книги. С признательностью Л.Разгон».

Так и хранятся в нашей семье памятки этого светлого человека – дарственная надпись моему сыну, две книги с автографом мне: на «Зримом знании» – «Дорогой Эдварде Кузьми-

ной – моему старому другу – инициатору, вдохновителю и пр. и пр. С великой благодарностью». И на долгожданном «Непридуманном»: «Дорогой Эдварде Кузьминой – сотворившей чудо – эту книгу... С восхищением, удивлением и безмерной признательностью». А рядом хранится маленькая бумажная книжечка «Библиотеки «Огонька» – «пробный шар», первые четыре рассказа из «Непридуманного» с надписью моей маме: «Дорогой Норе Яковлевне – первому рецензенту этих рассказов. С признательностью и старой любовью».

Может, кому-то эти надписи покажутся излишне щедрыми. Но эта-то щедрость и была в природе Льва Разгона. Он прямо-таки излучал горячее дружелюбие, жизнелюбие. И это было все годы для меня загадкой. Как это сочетается с такой тяжелой биографией? Большинству людей вокруг – моложе, здоровее, без такого груза тяжелейшего прошлого – не удавалось сохранить такую силу духа, оптимизм, отзывчивость к людям.

У нас часто любят цитировать слова Достоевского про «всемирную отзывчивость». Но, увы, реже – и на мой взгляд дороже – отзывчивость самая обыкновенная – к человеку рядом. И на нее так щедр был Лев Разгон. Ее подтверждения я никогда не забуду.

Когда не стало мамы, я была одержима мыслью – сохранить память о ней, оставить память о ней людям. И я просила тех, кто ее знал, написать, что помнят. Одним из первых отозвался Лев Разгон. Его статья и была напечатана в 1991 году в «Книжном обозрении». Называлась она «Мы ей обязаны».

А в 1997 году, когда маме исполнилось бы 85 лет, мы с сыном подготовили и выпустили мемуарную книжечку о ней – ее статьи, ее стихи, статьи о ней, письма... И снова одним из первых откликнулся Лев Разгон – его рецензия была напечатана в «Литературной газете». В 1998 году! В год, когда ему исполнилось девяносто!

Казалось бы, тому, кто дожил до такого возраста; прости-тельно было бы уже заботиться только о себе, о своем здоровье, точнее – своих болезнях – и уже не до чужих дел, чужих бед! Но Лев Разгон и в 90 лет – весь открыт миру, людям. Я перечитала юбилейные статьи, посвященные ему в разных газетах, разные интервью. Поразительно: во всех он – воин сегодняшнего дня. Во всех снова и снова в полный голос неустанно

говорит – об опасностях сегодняшнего дня, о натиске фашизма, антисемитизма. Не поживает на лаврах, не занимается самолюбованием – думает о завтрашнем дне, о будущем.

Умение не замыкаться на себе, открытость людям, внимание к чужим судьбам – может быть, именно в этом разгадка Разгона, именно это помогло ему и написать книгу, принесшую признание во всем мире, и это же отчасти помогло ему и выжить в испытаниях его нелегкой судьбы?

«Свидетель мучеников» – так назывался очерк Луи Арагона, который мама перевела в начале шестидесятых. «Свидетель мучеников» – это священное звание по праву принадлежит Льву Разгону. Кто дальше встанет на вахту? И доживем ли мы до поры, когда в нашей стране эта опасная вакансия станет не нужна?

«И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ...»

Мы, конечно, тогда – в 1985-м – и понятия не имели о том, кто есть на самом деле Лев Разгон. Ни о трагической его судьбе, ни о семнадцати годах каторги, ни о написанном им «Непридуманном» мы даже не подозревали. Мы – это один из тогдашних московских литсеминаров, на этот раз – молодых критиков детской литературы. Помню, меня тогда сильно разочаровала уготованная мне участь: семинарские группы вели самые видные писатели, одни имена чего стоили, а меня сунули в группу, которую ведет Лев Разгон. О нем я знала одно – автор научно-популярных книг (жанр этот меня совершенно не интересовал), а также то, что он стар. Что-то в районе восьмидесяти. Я скисла.

В том, что Разгон действительно стар, наша группка – человек десять – убедилась сразу. Он как-то грузно уселся на стул в середине комнаты (сидеть за столом, как полагалось семинарскому «мэтру», ему не хотелось) и устало прикрыл глаза. Глаза слезились. Я, сидевшая прямо около него, увидела, как по морщинистой щеке тихонько скатилась слеза и; застряла где-то на полдороге. Настроение рухнуло окончательно. Все, подумалось мне, через пару дней уеду. Дома дела-заботы, маленький сын, работа, да и вообще, задумал идти в критику, так сиди дома, за письменным столом, занимайся делом, а не развлекайся. Да и развлечения-то сомнительные.

В памяти еще крепко сидел первый семинар, 82-го года, с его дополуночными бдениями в гостиничных номерах, с его немислимой по тогдашним временам смелостью наших литературных и любых других бесед, со встречами в ЦДЛ... А тут...

Ничего, похоже, интересного не сулили встречи с Разгоном! Минут через пятнадцать после того, как кто-то из нас начинал читать свой вымученный драгоценный опус, его голова склонялась к груди и глаза закрывались. Правда, Лев Эммануилович тут же встряхивался, глаза молодели и даже начинали поблескивать, когда Разгон оглядывал нашу группку, но этого хватало ненадолго.

Занятий было немного. Если в других группах собирались и утром, и вечером и даже – мы это знали – сидели, тесно сгрудившись, до полуночи, то у нас не было ничего подобного. С Разгоном мы виделись по утрам, часок-другой. Как потом я узнала, именно в эти осенние месяцы у него особенно сдало сердце и ездить дважды в день на окраину, в Лужники, было ему тяжело. Правда, о сердце своем он никогда не говорил.

Он вообще ничего о себе не говорил! О лагере, о погибшей там жене, о своей семье, почти целиком уничтоженной, – ни словечка! Помню, один из нас – будущий известный критик из Ярославля Женя Ермолин, – узнав, что Разгон живет на Малой Грузинской, около Электрического переулка, спросил, не знал ли он в начале 50-х такого критика, «вечного юношу», как назвал его Вл.Лакшин, – Марка Щеглова. Тот как раз в Электрическом переулке жил. Был он приметной фигурой московской литературной жизни (правда, умер он рано – в 1956-м), так не помнит ли Лев Эммануилович...

По лицу его скользнуло что-то странное. Нет, не то чтобы сожаление – дескать, не довелось, бывает, разные литературные группы, разный возраст, – а что-то словно бы потустороннее. Какой-то отблеск – не мысли, а другой жизни. Он покачал головой и отвернулся, и отрешенное выражение его лица меня удивило. Неужели он так далек был от тогдашних журналов и литературного быта? Ну, писатель, подумала я, Марка Щеглова не знал! Он же к Твардовскому был близок, к Померанцеву, о нем вся Москва шумела, нет, всё, уеду через денек-другой...

С чего начался наш литературный с ним спор – конечно, не помню. С чьей-то прочитанной там статьи, быть может, и с моей. Коснулся он имени Лидии Чарской. О том, чтобы ее переиздавать, в 85-м и речи не было, так что спорили мы чисто теоретически. Я тут же полезла на котурны – это что, литература, по-вашему? Эта слюнвявая дребедень? Нет-нет, не в идеях дело, дело исключительно в том, говорила я, что это плохо прежде

всего как литература. Корней Чуковский про нее еще писал не то в 1909-м, не то в 1912-м. Что же с тех пор изменилось?

Чарскую я знала неплохо, благо довольно долго занималась историей Лендетиздата – «Академии Маршака», который, я твердо это знала, ее и на дух не переносил. Сама я, собственной рукой, выводила еще в дипломной работе о нем: «...пафос редакционной деятельности Маршака заключался в резком отталкивании от дореволюционной детской литературы...». Что было, то было, из песни слова не выкинешь. У меня и могучий союзник был – Лидия Корнеевна Чуковская, у Маршака в 30-е годы работавшая. Дрянность литературной манеры Чарской была для меня настолько очевидной, мы столько раз говорили об этом и с другой тогдашней сотрудницей Лендетиздата, тоже другом Маршака, Александрой Иосифовной Любарской, что любой ее защитник казался мне напрочь лишеным вкуса. Боже мой, Чарская! Лубочная литература, герои, словно сошедшие с парикмахерских витрин, словесная неряшливость, штамповка, взвинченные, истеричные страсти, – что же там защищать?

Все это, возможно, так и есть, но почему, скажите, слова «добрая», «чувствительная» в отношении литературы звучали для нас чуть ли не ругательством? Уж такими-то «советскими» мы не были. А было что-то, взыграло... Сидело где-то на дне души: что старая детская литература была ничтожной, дешевой, вот советская (ну, не про Павлика Морозова, конечно, а литература лучшая, настоящая) – это да! Гайдар, Маршак, Хармс, Заходер – да мало ли!

А Разгон вздыхал. Опускал глаза, поерзывал на стуле тяжело так, чуть хрипловато вздыхал. Мы-то думали, что это он детство свое вспоминает, а детские любимые книги, что потом про них ни говори, лежат в душе на особой полочке. И смотрели на него... Точно скажу – как чудом сохранившийся реликт. Чарскую помнит, это надо же! Мы-то о ней только читали, а он, с ума сойти, вживе помнит! Спорить всерьез тут было даже странно. Мы, видимо, просто говорим о разных предметах. Достучаться до Льва Эммануиловича тут нечего и надеяться.

Мы смолкли. Лев Эммануилович тоже. То есть, в общем-то, он совершенно был согласен с тем, что прозаиком Чарская была слабым, но был у него, похоже, в запасе какой-то козырь. Он опять отвернулся в сторону, к окошку, за которым круглил-

ся Лужниковский стадион. И, помолчав, сказал: «Но все-таки это была добрая литература».

И опять я ничего не поняла. Да что там не поняла – осудила Разгона. Подумала: из 50-х ты, наверное, годов, из слащавых детских книжек, из всяких там «Васьков Трубачевых» и Алексиных, однолинейных, как устав. А литература!.. Искусство!.. Как там Пушкин иронизировал на предмет нравственности сочинений Булгарина: «Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под.». Вот и я хоть на миг, да почувствовала себя в роли Пушкина. Приятно даже вспомнить.

Господи, до чего же точно сказано: дано нам прожить несколько жизней. В той жизни 1985-го уж что-что, а доброта в качестве одного из критериев литературы казалась мне – ну, делом даже не десятистепенным, а чем-то еще менее значащим. Всё-то смолоду мы понимаем, и учить нас вроде уже нечему...

Да, Чарская – плохая писательница. Хармс, Введенский, Заходер – писатели отличные. Но Разгон не о том говорил. Он о первоосновах нравственности думал, о том, что революции тут не только что творцов литературы убивают, но и ее самое. А редакция Маршака, видимо, слишком уж оптимистичные надежды возлагала на то, что высокое искусство само по себе облагородит мир...

Это уже много позже прочла я в одном из интервью слова Разгона: «Когда мы говорим, что надо искоренять преступность, бороться со злом, мы имеем в виду, что это будет делать кто-то другой, не мы. На самом деле искоренить зло можно лишь в том случае, если каждый из нас станет добрее. Это, наверное, звучит наивно. Но никаких других способов изменить наше общество и нашу жизнь не существует».

Разгон знал это точно – по нему и его сверстникам (да, в общем-то, по всем, хоть в разной степени) XX век проехался чугунным катком.

Быть может, для того проехался, чтобы на исходе его люди оценили неслыханную ценность самых изначальных понятий и предметов – доброты, например, милосердия, чистой постели, сытной пищи... Нет-нет, что я говорю, – не надо нам никаких уроков, если за них заплачено растоптанными, убитыми и покалеченными жизнями, вывернутыми судьбами, нет, нет... Но куда все это деть? Если оно уже было?

Запомнился и другой наш с Разгоном спор – о «Чучеле» В.Железникова. Книга-то, говорили мы чуть ли не в один голос, не особо выдающаяся по художественным своим качествам: историю свою, например, девочка рассказывает сама, но автор про то забывает, впихивая в ее речь то, о чем знать она не может. И вообще, разгорячились мы, вопрос после чтения повести встает один: где была учительница? Ведь дети, как все знают, по своей природе народ жестокий, тем более в толпе, а толпа на что только не способна!

Разгон не спорил, он слушал, кивал, кое с чем соглашался. Но только сказал: не надо так уж напирать на то, что там не было учительницы. Это же литература, а не пособие по педагогике. Никогда, сказал он, не забывайте слова Герцена: «Мы не врачи, мы боль».

А потом я уехала. Не прощу себе этого никогда, чем бы в душе ни оправдывалась – делами, заботами, работой. Какой же слепой надо было быть, чтобы не увидеть, как внимательно, ищуще вглядывался в каждого из нас Разгон, как выискивал он в наших опусах живые мысли, незаемные суждения, как ценил он нашу молодость – он, тяжелобольной, перенесший к тому времени несколько инфарктов, а уж о прочем, общеизвестном, я и не говорю.

Одна из семинаристок, родом из Архангельска, написала мне вскоре, что под конец занятий, когда меня уже не было, Разгон оживился, разругал тех из нас, кто мало пишет и не тем, чем литераторам надо, занимается, дал им, как она выразилась, «разгону». А я и была-то там три дня.

В следующий раз я увидела его в Ленинграде, на собрании ленинградских писателей, рядом с Израилем Моисеевичем Меттером, давним его другом. Стоял не то 1989-й, не то 1990-й год. Разгон сидел на сцене, в белоколонном зале, отвечал на записки. Один раз у него вырвалась оговорка – «Тут у нас в зоне...». Зал взорвался аплодисментами. По-моему, они были неуместны, но такое было время.

«Вы спрашиваете, почему я оптимист? – сказал тогда Разгон. – Потому что сижу тут, перед вами, отвечаю на ваши вопросы и ничего не боюсь.

Чем был для меня лагерь? Тем же, чем и для других, – каторгой. Но там я был свободен – от любых материальных забот, и думал я свободно».

В перерыве я зашла за сцену, пользуясь давней дружбой с Израилем Моисеевичем и небольшим – семинарским – знакомством с Разгоном. В общем-то, я давно, года с 1987-го, когда в журналах один за другим стали появляться его рассказы из «Непридуманного», порывалась ему написать – и всякий раз останавливалась. Мне не то что не хотелось афишировать кратковременное с ним знакомство (с детства помнились слова А.Чехова, не советовавшего брату обольщаться такими «фальшивыми бриллиантами, как знакомство со знаменитостями»). Мне думалось: вот, значит, как – когда Разгон был обыкновенным, не особо известным писателем-популяризатором, ты ему не писала. Вообще не объявлялась – не писала, не звонила, хотя свой адрес и телефон он всем нам оставил. Как ветром сдуло. А когда его имя прогремело на всю страну, когда «Непридуманное» перевели чуть ли не на все языки, – так ты про него вспомнила! Чтобы, значит, поближе к знаменитости оказаться, напомнить о себе, «отметиться». Нет. Не для меня это.

Мне и в голову не могло тогда прийти, до какой же степени все это Разгону чуждо. Ни тщеславия, ни суетности в нем не было и в помине. Будь он иным – и «Непридуманное» было бы другим, и вообще он не был бы Львом Разгоном. Мы ведь всегда недооцениваем в книгах авторскую личность. Что, кажется, главное в «Непридуманном»? То, что оно не придумано, что всё списано с натуры. А что описал это человек абсолютно честный, совестливый, сострадательный, не способный ни на какую низость, – так оно отодвигалось на второй план.

Главное же – тогда, за сценой, я увидела совершенно другого Разгона! Ни удручающей старости, ни дряхлости – ничего этого не было в подтянутом невысоком пожилом человеке. Он бодро сошел (нет, даже сбежал!) с нескольких ступенек и тепло, по-отечески меня обнял. От стыда мне захотелось провалиться. А я-то, господи!.. Помню, помню, сказал он, как же, наш семинар... Читал-читал вас, не забыл (это про одну «перестроечную» статью, направленную против сталинистов и «лжеславянофилов»). А я-то уверена была, что он и фамилию мою давным-давно позабыл! А уж статьи-то в питерских журналах!.. Здоровье? Ну, ничего, нормально, держусь, после больницы отошел. Вот езжу, пока могу, тут у меня друзья, «Мемориал»...

Говорить мне оказалось нечего. О себе не будешь, тем более после разгоновского-то выступления, о нем расспрашивать – так я же не у него в гостях, тут, в Питере, его и так на части рубут.

Перемена в Разгоне меня поразила. На вид ему можно было дать ну никак не больше семидесяти. Сколько же всего он держал в себе, и это насильно сдерживаемое рубцами от нескольких инфарктов легло на сердце. И не только на сердце. Мне не сопоставить было Разгона 1985-го – и Разгона нынешнего, по годам так вроде бы на пять лет постаревшего. Удивительно, но главным образом изменились глаза – напрочь исчезла старческая мутность. И если бы сердечные рубцы обладали свойством со временем зарастать...

Но дружба с ним не вышла у меня и тогда. Эксплуатировать мимолетное знакомство казалось мне не особо этичным, надоедать Разгону – тоже, да и так ли я ему интересна? У него друзей, поди, предостаточно. И о том, что он работает – в восемьдесят два года, я тоже знала. И пишет много: успеть ведь надо, не густо в 90-е с теми, кто 30-е и лагеря помнит. Не до меня ему. Превеликое спасибо за то, что вспомнил.

А в 1998-м, когда ему стукнуло девяносто... Одна далеко не умная дама, встретив меня на улице, возмутилась: вчера, оказывается, выступал по телевизору какой-то, сказала она, дед и говорил: у меня два дня рождения в году – мой собственный и день смерти Сталина. Я тоже, сказал он, праздную его как день своего рождения. Это не стыдно же ему, старику, возмущалась дама: ведь Сталин человек был, как же можно отмечать как праздник день его смерти!

Дама была твердолоба, как орех, хоть и мнила себя гуманисткой. Но кто же, интересно, «дед»? В 98-м разговоры о Сталине поутихли, с портретами его на демонстрации ходили уже не стыдясь, человеческая гниль и пакость снова полезли наружу, от прекраснодушия перестройки почти ничего не осталось, и интеллигенция потихоньку поуявля, приуныла, заматалась. Мы получили поделом: нечего воображать, будто нравственность обретается с наскоку, штурмом, а не воспитывается долгой-долгой работой. На смену перестроечной, немного взвинченной восторженности (не забыть аплодисментов в великолепном зале по поводу выскочившего у Разгона слова «зона» – какое же горе неизбывное, въевшееся в плоть,

за ним стояло, ведь сорок лет миновало с его «зоны») – на смену ей пришли бесхребетность, суета, бескрылость. По законам усталой психики, так, видимо, и должно быть.

Но кто же тот 90-летний, *неуставший*?

Оказалось, Лев Разгон.

Я послала ему открытку. И спустя несколько дней пришел ответ:

«Дорогая Женя! Спасибо за поздравление. Мне было легче прожить 90 лет, нежели 2–3 последующих дня. Два с лишним месяца валялся по больницам да санаториям.

Но – оклемался.

Спасибо за память. С радостью и нежностью вспоминаю наш семинар. И с радостью слежу за Вашей работой, стараюсь не пропускать Ваши публикации.

Здоровья и счастья Вам.

Лев Разгон».

Как узнала я позже, уже из нашего разговора в Москве, в его крошечной квартирке на Малой Грузинской, он и в самом деле их читал, за петербургской критикой следил, ибо был литератором, и слова эти вовсе не были данью проходной вежливости. И за публикациями Жени Ермолина тоже следил, в свои-то без малого девяносто! И почему умнеем мы только тогда, когда ничего не исправить, времени не вернуть... Звонить ему надо было, писать, советоваться с ним, ведь мы-то, я-то все им написанное читали, втайне гордились знакомством с ним, а никому в этом случае не нужная щепетильность, трижды проклятая, удерживала. Ведь жизнь-то не беспределна.

И ему знакомство с нами, привязанность наша – тоже были нужны. Были, были, были... Категория прошедшего времени!

В Москву я попала в октябре 98-го. В тот единственный день, когда я там была, Разгон вернулся с целодневного заседания комиссии по помилованию, и на нем буквально лица не было. Внешне он немного сдал. Но так же, как и восемь лет назад, крепко меня обнял, что очень меня удивило: ну и сила у 90-летнего! И, держа меня за плечи, немного отставил от себя и сказал, энергично качнув головой: «Не изменилась!»

О себе он мало говорил – не тот был у него характер, он больше расспрашивал. Но когда я спросила о здоровье, сказал, что инфарктов было у него уже несколько, но каждую неделю, по три дня, он ездит на заседания этой комиссии. Выма-

тывают они его, сознался он, страшно. Убийцы, грабители, насильники, – читать про их дела, так волосы шевелятся. «Но без этого я не могу, – сказал он. – А потом вот не сплю».

А времени, сознался он, совсем не остается... «Почти не читаю, да и не тянет ничего читать из современных книг. Вот Володю Шарова знал с детства, маленьким еще мальчишкой, а попробовал читать его «Старую девочку» – и не смог. Какая-то фальшивка, по-моему, а не литература. Может, это оттого, что я такой древний?»

Я в ребятишек маленьких верю, сказал он. В первоклашек. Они, дай Бог, другими вырастут. Я долго жил, всякого навиделся и о конце литературы слышал сотни раз. Но вот, – пожал он плечами, – все-таки пишем мы с вами что-то, читают нас...

Он подарил мне на прощание свою книжечку, вышедшую в российско-израильском издательстве, – «Позавчера и сегодня», воспоминания детства и юности, те самые, что писались им в лагере для дочери, а потом потерялись. И отыскались через тридцать три года! Тетрадку вернул хозяину кто-то, к кому она случайно попала. Истории эта похожа на чудо: как человек прочитал в журнале какой-то рассказ Разгона, понял, что тетрадка, лежащая у него дома, – разгоновская, и вернул ее хозяину. «Но здесь ее почти не знают, – с этими словами он протянул ее мне – прочитайте, может, что-то тронет...»

Уже в дороге, в поезде, я прочла в этой книге слова, в сущности, ключевые для Льва Разгона. «И не получил я никакого удовлетворения, когда из дел в архиве КГБ узнал, что комиссар государственной безопасности Бельский, мучивший, пытавший мать моей первой жены Софью Александровну и ее мужа Ивана Михайловича, сам был замучен и расстрелян своими дружками-помощниками. Нет, не возлюбил я никого из них и не простил, и не прощу никогда. Но месть меня не насыщает, не радует, не нужна она мне. И меня тошнит от отвращения и горя, когда по телевизору вижу трупы, трупы, трупы людей, убитых из мести, злобы, зависти – всего, что сопутствует якобы «самоопределению народов», «национальному самосознанию» и прочей лабуде для дураков. Чума на оба ваши дома!»

И далее: «С тоской думаю: неужели, чтобы утратить жажду мщения, выработать в себе отвращение к убийству, надобно стать – подобно мне – стариком, прошедшим весь крестный

путь испытаний, какие могли выпасть на долю человека нашей эпохи?»

...Помню, как выходила я из дома, где жил Разгон. Поздний-поздний вечер, непроглядная тьма, голые деревья. Ничего особенного он не говорил – так, не очень-то и долгий разговор: усталость читалась в каждом жесте Разгона, и я посидела полчаса, не больше. Но ощущение после разговора с ним не забуду никогда. Я ведь тоже весь день в делах, бродила-ездила по Москве и изрядно устала, но незаметно усталость исчезла. Как освежающе действует на душу общение с человеком абсолютной нравственной чистоты и доброжелательства!словно ветерок с моря вдохнешь. Ни мелочных мыслей, ни торопливости – ничего хоть сколь-нибудь унижающего человеческое достоинство не было в Разгоне.

И невозможно представить себе, что это он, Лев Разгон, человек, добрый совершенно органически, видел собственными глазами, например, то, что описал он в рассказе «Перед раскрытыми делами». К ним в камеру Лубянской тюрьмы, написано там, вернулся с допроса некий студент-«террорист» (прозванный так в своем институте из-за красного цвета любимой рубашки), «сел на нары, взял в руки клок своей пышной шевелюры, и она отделилась так свободно, как будто ее даже не приклеивали к черепу».

А сокамерница Постолювской – жены Павла Петровича Постышева – рассказывала ему, что для нее, Постолювской, чекисты изобрели особый допрос-развлечение, поименованный «цирком». «Постолювскую притаскивали в большой кабинет, где уже находилось шесть-семь молодых людей с жокейскими бичами в руках. Ее заставляли раздеться совершенно донага и бегать вокруг стола посредине комнаты. Она бегала, а эти ребята, годившиеся ей в сыновья, в это время подгоняли ее бичами, добродушно выкрикивая поощрительные слова». Ну и так далее. Почти каждую ночь.

И неверующая Постолювская, пишет Разгон, каждую ночь, стоя в углу камеры, молилась, чтобы ее не вызвали на очередной допрос.

Это его, Льва Разгона, озверевший конвоир «празднично», весело и торжествующе, под дулом винтовки, заставил лечь в глубокую лужу, и, «медленно сгибая колени, – написано в рассказе «Тюремщики», – я опустился в лужу, приложив щеку к

какому-то бугорку в ней, и закрыл глаза. Господи. Как бы так лежать и дальше и не вставать...»

Ему, конвоиру, «было приятно, что он может убить человека, что стоит ему нажать курок, и сразу же исчезнет целый человек со всем миром мыслей и чувств, от этого конвоира не зависящих».

А дальше... Началась короткая, прощальная наша переписка. Я держу в руках несколько его листков, и каждое письмо беззвучно кричит: его, писавшего, уже нет, нет – и никогда не будет. Лев Эммануилович, дорогой!.. Боже мой, как привыкла я за этот последний год мысленно с вами советоваться, о чем-то рассказывать вам по телефону, писать вам, о литературе ли, о жизни, о делах обыденных, о, будь она неладна, политике, и сколько всего хотелось бы сказать вам, и именно сейчас, в эту минуту, – а впереди пустота. Как обрыв.

Я написала ему о его книге – книге, скажу прямо, одной из лучших, которые мне довелось за последнее время прочесть. (Действительно, – этого, правда, я уже ему не писала, – при том, что в стране, даже в элитарных журналах, печатается пропасть нечитаемых вещей, повесть Разгона, глубоко человеческая, трагическая, местами веселая, полная поразительно точных зарисовок жизни еврейского местечка в Белоруссии, повесть, написанная в Устьвымлаге и дописанная в 1993-м в Москве, никому, кроме узкого круга друзей-литераторов, не известна. Он не пробивал ее в печать, он не расталкивал других, он не организовывал на нее рецензии, а издала ее маленькая частная фирма. Он был Львом Разгоном.) Послала две вырезки из петербургских газет со своими небольшими статьями – вдруг да будут интересны. И хорошо бы добиться, написала я, чтобы книжечку издали в России, ведь никто ее тут не знает. В Питере мне сказали, что, во-первых, нужна рукопись книги, а во-вторых, с его собственноручными исправлениями. Перепечатывать ее в том виде, как она издана, нельзя – просто по законам авторского права.

Ответил он не сразу – через несколько недель.

«Дорогая Женя!

Вот с каким огромным опозданием отвечаю на Ваше милое письмо! Что поделаешь! «Но старость – это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Я и погибал, но тихо и как-то застенчиво. Ле-

жал в больницу, потом отсиживался дома и теперь – так же застенчиво – вступаю в жизнь.

Вот Вам, дорогая Женя, и ответ на многие Ваши вопросы. Конечно, мне никогда не найти рукописи моей книжечки и уж, во всяком случае, навряд ли способен что-нибудь «дописать».

Спасибо Вам великое за очень добрые слова о книге. Мне это крайне важно. Тем более, что московские журналы ее не заметили. Вот только в Италии ее перевели, издали и даже похвалили. Что меня в итальянцах очень поразило. Ну, а я руководствуюсь старой поговоркой: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

Я и делаю. Работаю в комиссии по помилованию (трачу на это 3 дня в неделю), иногда ко мне приезжает телевидение, и я отвожу душу, загаженную Зюгановым и К°. Иногда меня возят на какой-нибудь вечер, и я там выступаю в роли свадебного генерала.

17 (декабря. – Е.Щ.) Всероссийский съезд «Мемориала». Событие это для меня важное – в некотором роде, я стоял у его истоков. Бываю и на собраниях того, что называется «демократической коалицией». Словом, для человека, которому почти 91 год, я веду жизнь востребованную и активную. Чем и доволен.

С удовольствием и радостью прочитал газетные вырезки с Вашими сочинениями. Ну, «Приличный разговор...» – это совершенная прелесть! А определение антисемитизма, как канализации внутри человека вообще должно быть помещено во все словари. И о Тынянове – хорошо и свежо, хотя об этом человеке уже написаны горы книг.

Всей душой радуюсь за Вас, за то, что работаете и не приходится Вам быть клерком в каком-нибудь офисе. В СПб., в его литературной среде, есть люди, к которым питаю любовь и уважение. Тем из них, кто меня помнит и знает, – привет и наилучшие пожелания.

А Вы, Женечка, не забывайте меня и изредка посылайте пару строк.

Сердечно обнимаю.

Ваш Лев Разгон».

Письмо это тронуло меня какой-то беззащитной своей интонацией. И сейчас трогает тем же. Старый, больной чело-

век, переживший столько, сколько другим на сотню жизней хватит, – и никаких жалоб, и одиночество, и предчувствие близкого конца, и работа, изматывающая душу, и доброжелательство – до бесконечности. И – никакого тщеславия, даже тени его, даже намек на него.

В ответ я описала обычную свою житейскую суету и – самое главное – написала, что здесь, в Питере, ищу хоть какую-то возможность книгу его переиздать. Пусть в приложении к журналам, пусть с помощью спонсоров, но она должна увидеть свет, и не крошечным тиражиком, а серьезным.

«Дорогая Женя! Рад был Вашему письму, рад тому, что Вы существуете, живете в СПб. и ведете обычную для бедного литератора трудовую жизнь. Все это мне напомнило очень далекое время, когда я был молод и охвачен верой в способность все охватить, со всем справиться. Но не имею права жаловаться даже на мои теперешние мафусаиловы годы. В больницу пока не попадаю, врачи обходят меня, а я их, и каждый день у меня занят. Три раза в неделю занимаюсь делами убийц, бандитов, грабителей и воров, которые подведомственны нашей комиссии по помилованию, начал пробовать работать с диктофоном (в возможность чего я не верил), что-то получается, и это будет просто смешно, если мне в мои почти 91 год удастся что-нибудь сочинить.

Спасибо Вам за ваши заботы обо мне. Меня это очень трогает. Конечно, я буду счастлив, если моя книжечка выйдет приложением или в любом другом качестве. В Москве очень плохо с изданием книг. Мое «Непридуманное», к которому я написал еще десяток других рассказов, уже полтора года лежит у одного издателя – человека вполне цивилизованного и к тому же писателя, – но у него нет денег для издания, и я его понимаю. Хотя в Москве издается все же много роскошнейших книг на самые разные темы. Но всеми этими делами надо заниматься, быть подвижным, а я больше сижу сиднем в своей квартирке.

А Вы продолжаете иметь какое-то отношение к «Неве»? Я не только петербургские, но и московские журналы не вижу и не читаю. А мне рассказывали, что в «Неве» публиковалась переписка двух моих друзей – Сёлика Меттера и Шуры Крона. Я их очень любил, они принадлежали еще к тому поколению, которое пользовалось не телефоном, а почтой. Я в свое время

послал Сёлику свою книгу «Один год и вся жизнь» о физике П.Лебедеве, и мне говорили, что в письме к Шуре Крону содержится суждение Меттера о ней. Может быть, Вам попадет-ся этот номер журнала, мне, конечно, интересно было бы прочесть.

А вдруг Вы покажетесь в Москве? Был бы счастлив повидаться и наговориться. Но Вы правы насчет предпочтения писем телефону. У меня – та же слабость. Поэтому помните, что я стану радоваться каждому Вашему письму.

Привет Вашим друзьям. Постарайтесь быть здоровой.

Сердечно обнимаю.

Ваш Лев Разгон».

Переписка Меттера и Крона была напечатана не в «Неве», а в «Звезде», и я долго пыталась отыскать у кого-нибудь из знакомых журнал. Но кто нынче журналы выписывает... Правда, мне твердо обещали его достать, и я написала, что в ближайшие дни вырезку из журнала пришло.

Нежданно пришло от Льва Эммануиловича еще одно, совсем коротенькое, письмо. Со стихотворением Кирилла Ковальджи, члена комиссии. «Во-первых, – написано в письме, – очень оно мне нравится, а затем – очень точно рассказывает о работе нашей комиссии». «Шлю это стихотворение Вам – для удовольствия».

Ныне оно известно, но последние строчки, посвященные Булату Окуджаве, хотелось бы напомнить:

Вот – курил, на локоть опершись,
кто же знал, что сам ты на краю?
Мы, убийцам продлевая жизнь,
не сумели жизнь продлить – твою!

За столом оставлен стул пустой,
фотоснимок с надписью простой.
Заседает без тебя комиссия,
воскрешать – была б такая миссия!

...А тут наступил март 99-го, и в «Московских новостях» вышел очерк Льва Разгона о сталинских временах. Поразительно, подумала я, ему же, Разгону, почти девяносто один, а какая ясность мысли и памяти, какое удивительное чутье к слову...

Очерк был мало того что прекрасно выстроен (редкое, доложу вам, в болтливые наши времена дело), он в первую очередь лишен был даже тени злобной, самоупоенной мстительности. Он был оптимистичен, да-да! Ибо не о Сталине говорил – тут-то все ясно, – он о жизни рассказывал, о молодости, о литературе, о любви, об искусстве, о том, что всё минуется – одна правда останется.

Меж тем Льву Эммануиловичу и в самом деле стукнул девяносто один год. Как будто назло всему и вся он пережил своих палачей, это не они дожили до девятого десятка, а он. Поздравляя его, я написала, что жизнь отняла у нас многие праздники, но этот – 1 апреля, его день рождения, – у нас остался.

«Дорогая Женя!

Спасибо за письмо, за поздравление, за сознание, что в Питере живет свой и родной человек.

И, конечно, спасибо за множество чрезмерно лестных слов о моем рассказе. Вообще-то я наговорил в магнитофон полсотни страниц на приблизительную тему. Но газета загорелась трезвой мыслью сделать из этого статью к 5 марта. Я согласился с радостью, они сделали статью в 16 страниц текста. Сделали очень профессионально, со вкусом, и я был доволен. И читателям «МН» очень понравилось.

Я подумал о том, что употребил уйму времени и сил, чтобы рассказать о страшных годах моей жизни. Но ведь в ней были и веселые, хорошие дни! И почему я не написал о лучших годах моей жизни, когда я работал в Детгизе, дружил с Гайдаром, Паустовским, Фраерманом, Лоскутовым, Юрой Германом и Сёликом Метгером... И хорошо знал Олейникова, Хармса. Но, вопреки мнению Ваших милых друзей, мне не 50 и не 60, а целых 91 год. Конечно, удивительно, что, отняв у меня здоровье, судьба мне сохранила память. И если случится чудо, то я наговорю все, что помню об этих замечательных людях.

Спасибо Вам, Женечка, за заботы о переписке Шуры с Сёликом. Каждый из них был интереснейшим и умнейшим человеком, общение с ними было для меня радостью.

Не переутруждайтесь изданием моей книжки. Положитесь на волю Божью и забудьте про это.

Хорошо, что Вы много работаете. Я считаю, что меня держит только моя работа – при всей ее психологической нагрузке.

При всех условиях постарайтесь быть здоровой. Несмотря на все горести, которым я искренне соболезнаю.

И не забывайте меня.

Обнимаю Вас.

Лев Разгон».

«И не забывайте меня»...

А с командировкой у меня так и не вышло: кто нынче не бедный, а из гуманитариев – так каждый, за редким исключением.

Правда, наконец-то я раздобыла у добрых своих друзей номер «Звезды» с перепиской Меттера и Крона, с согласия хозяев вырвала из него несколько страниц – и послала Льву Эммануиловичу.

«Милая Женя!

Спасибо Вам великое за все: за письмо, за ласку, за ксерокс (почему-то он решил, что я выслала ему ксерокс переписки Меттера и Крона. – *ЕЩ.*). Мне бесконечно интересно было читать переписку людей, с которыми много лет дружил. В этих письмах – их характеры, человеческие связи, литературные оценки. Много для меня было вновь. Я – как и все общие друзья – очень переживал ссору Сёлика с Юрой Германом. Ссору глупую и ничтожно-унизительную. Но я не решался об этом спросить ни Меттера, ни Крона, – том, как она закончилась, я узнал только сейчас из письма.

Я, конечно, очень ценю отзыв Меттера о моей книге. В свое время он мне позвонил и посоветовал написать по книге киносценарий. «Очень у тебя, сволочь, хорошо диалоги получаются, так и ложатся на экран...» Но я был благоразумен. Никогда не писал сценариев, пьес, стихов и доносов.

Спасибо за трогательные заботы о переиздании моей книжки. Но – ей-Богу! – не стоит. Кроме всего прочего – староват для этого... Я уже перешел биологический порог, и надобно о душе подумать... Кстати, из-за этого пишу Вам на машинке одним пальцем. Нормально, ручкой, я уже почти не могу. Какой же из меня литератор, если я – буквально – «не владею пером»...

А на машинке я еще могу стучать и с удовольствием думаю, что смогу отвечать на Ваши письма.

Скучаю по Питеру, надеюсь, что Вы спроворите себе командировочку в Москву.

Я Вас обнимаю и желаю счастья.

Ваш Лев Разгон».

Письмо стало последним. И эти слова, сейчас звучащие совершенно по-другому, – последним пожеланием от него... «Когда человек умирает, изменяются его портреты...»

Позвонив в Москву через несколько дней – в начале мая, – я узнала, что у него случился очередной сердечный приступ и к телефону он подойти не может. А потом настало лето, жаркое, душливное, душашее. Через месяц Наташа, его дочь, сказала мне, что он в больнице и что сердце у него работать отказывается. Измученное, наболевшее, перетруженное сердце с пятаю рубцами от инфарктов.

Отказало оно 7 сентября.

И никогда больше его такой радостный, свежий голос не отзовется в телефонной трубке, словно только о тебе он и думал, только твоего звонка ждал... Увидеть лицо Разгона в гробу, с закрытыми глазами, мертвое, было нестерпимо – как ножом по сердцу резанули. Не встанет, не отзовется, не ответит...

Нет, это неправда, что его больше нет. Этого не может быть. А куда же делась его невероятная доброта? Его тепло? Его безграничная сострадательность – дар Божий?

Я не знаю, верующим ли он был человеком, – и если да, то пусть простят мне его единоверцы, – но по душе он был настоящим христианином. Судьба порой бывает щедра и посылает нам людей, отмеченных печатью немислимой, неправдоподобной совестливости. А если совестливость сочетается с талантом, с умом, с прозорливостью... Кто из нас, кому посчастливилось встречать таких людей, вправе роптать на жизнь?

Только бы, только бы его не забыли... Он не был ни великим писателем, как Солженицын, ни великим ученым, как Лихачев. Он был великим Человеком, и сила его заключалась именно в его человеческом – человеческом – авторитете. И не будет больше у нас никогда человека, пережившего ад сталинских лагерей – и вышедшего из них, как из огненного горнила, незапятнанным, бесконечно сердечным, бесконечно отзывчивым.

Понимавшего, наконец, что всё на свете мерится одной-единственной меркой – меркой милосердия.

Он умер.

Царство ему Небесное.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 3

Лев Разгон вспоминает и размышляет

Из книги «Плен в своем Отечестве»

Перед раскрытыми делами... 13
Жена Президента 43
Костя Шульга 52
Тюремщики 89

Из книги «Позавчера и сегодня»

Отец 159
Мать 164
Братья – друзья 169

Последние публикации

Мне не везло со Сталиным 178
Жил как думал 190
Выжить – это был способ противостоять режиму
и рассказать все 195
Спасая души, мы строим храмы. А надо бы построить
тюрьму 198

Лев Разгон дает интервью

Станислав Рассадин. Примиритель 203
Анна Строй. «И милость к падшим призывал...» 211
Отто Лацис. «Я напиваюсь каждый день 5 марта» 218
*Елена Кольвовска. «Общество забывает, что был
37-й год»* 227
Рада Полищук. Из цикла бесед «Дорогая моя столица» .. 233

Современники о Льве Разгоне

Даниил Данин. Старость тоже проходит 249
Лидия Либединская. Рыцарь праведник 254
Анатолий Приставкин. Песенка о Льве Разгоне 259
Кирилл Ковальджи. Век Льва Разгона 266
*Александр Городницкий. Единственный свидетель
уходящего столетия* 270

<i>Борис Жутковский. Дуэль</i>	275
<i>Юлий Крелин. Он избыл свою миссию на земле</i>	279
<i>Алексей Букалов. Сны о Пушкине</i>	285
<i>Борис Володин. Разгон и Данин – в своем Отечестве</i>	289
<i>Лазарь Шерешевский. На подступах к Разгону</i>	298
<i>Марк Розовский. Через тернии</i>	301
<i>Евгения Альбац. Немного о любви</i>	304
<i>Эдварда Кузьмина. Загадка Разгона</i>	312
<i>Евгения Щеглова. «И не забывайте меня...»</i>	317

Марлен Михайлович Кораллов, составитель

ПЛЕННИК ЭПОХИ

Памяти Л. Э. Разгона

Редакторы В. П. Кочетов, Э. Б. Кузьмина
Корректор Ю. М. Гизатулина
Художник Д. А. Сенчагов

ИД № 05507 от 1.08.2001.
Подписано в печать 18.02.2002. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 10,5. Тираж 1000 экз. Заказ 74
Отпечатано с готовых диапозитивов
ООО «Информполиграф»
111123, Москва, ул. Плеханова, 3а.

Просветительско-издательский центр «Звенья»
103051 Москва, Малый Каретный пер., 12

Сколько людей обязано его дару, его хрупкой прочности, не назидательной исторической поучительности. Единство этих людей, не исчисляемое никаким тиражом, – безусловно, лучшая, безгрешная часть человечества, искупающего вину времени, общие грехи и прегрешения.

Я всегда любовалась Львом Эммануиловичем, его невредимой статью, стройным силуэтом, зрелищем облика и лица, расточительно осеняющего читателя и собеседника неопровержимым доказательством всегда сохраняемых доброты, ума, благородства.

Белла Ахмадулина



«ЗВЕНЬЯ»